



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

1/2010

Журнал
«Семь искусств»

Январь 2010

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2010

Журнал «Семь искусств»

Январь 2010

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое
редактирование Изабеллы Побединой

Ганновер
Издательство «Общества любителей еврейской
старины»

Содержание

Мирон Я. Амусья	
Виталий Лазаревич Гинзбург (1916-2009)	4
Марк Перельман	
Эдвард Теллер – злодей и изгой американского научного сообщества	19
Александр Избицер	
О Т.Л. Фидлер	30
Йеѓуда Векслер	
Драма апостазии	64
Валерий Койфман	
Живопись – неболтливое искусство	129
Люсьен Фикс	
Марк Шагал в Вашингтоне	160
Игорь Иванченко	
«Славянские традиции-2009»	166
Александр Гордон	
Поверх испанских барьеров	188
Владимир Ляховицкий	
Его Величество Случай	209
Борис Кушнер	
Метафора жизни	234
Серж Хазанов	
Стихи	267
Елена Матусевич	
Рассказы	282
Владимир Матлин	
Из России с надеждой, в Россию с любовью 288	
Семен Резник	
Роман века	356
Об авторах	360



Мирон Я. Амусья

**Виталий Лазаревич Гинзбург
(1916-2009)**

(Ни дня без открытия!)

*Казалось бы, я должен был
ассимилироваться. Но это совершенно не
так, я даже помыслить никогда не мог и
не могу об отречении от своего народа.*

В.Л. Гинзбург, Автобиография [1]

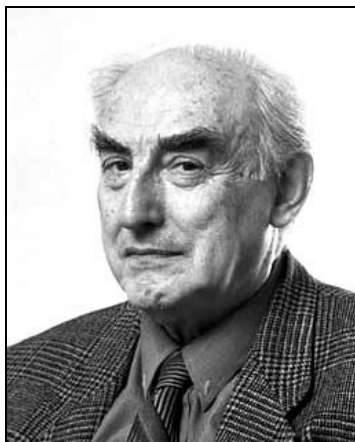
*Заниматься наукой, физикой, во всяком
случае, на сколько-нибудь высоком уровне,
совершенно невозможно..., не имея
мировоззренческих позиций, не
задумываясь о философских вопросах.*

В.Л. Гинзбург, Там же



та статья посвящена памяти великого физика и человека. В её основу положены, однако, только впечатления о нескольких встречах и беседах, и лишь вскользь упоминаются научные достижения, отражённые в многочисленных научных статьях (около 400) и книгах (10) – основном наследии большого учёного. Причина этого не случайна. Описание научных достижений В.Л. Гинзбурга, вехи его биографии уже содержатся в ряде статей. Появятся, уверен, и специально ему посвящённые книги. Он прожил длинную жизнь, стал автором множества важных научных результатов, создал большую школу, получил престижнейшие научные награды. Возникает вопрос – какое лично я имею право о нём писать? Я не биограф Виталия Лазаревича, не историк науки, не был его учеником. Мои собственные работы, наконец, мало пересекаются с тем, что

разрабатывал столь успешно Виталий Лазаревич¹. И, тем не менее, был круг вопросов, на мой взгляд, достаточно общих и интересных, которые привели к переписке, да и к разговорам – лично и по телефону. Последний раз я звонил к нему в июне 2009 г. Передо мною, как напоминание о живом, книги с его дарственными надписями, присланные незадолго до этого разговора [2-4].



Виталий Лазаревич Гинзбург

Он читал некоторое из того, что я писал по социально-политическим вопросам, нередко комментировал прочитанное, интересовался моим мнением по поводу происходящего в Израиле, обычно выражал поддержку. Касались мы и других вопросов – о еврействе, о религии, об объективной оценке труда научного работника, о справедливости в присуждения Нобелевской премии по физике. Именно обо всём этом я и расскажу в данной заметке. Намерен в основном говорить о тех вопросах, которые с ВЛ обсуждал лично. Конкретно, коснусь так называемого «плана Гинзбурга» урегулирования арабо-израильского конфликта, отношения ВЛ к своему еврейству

¹ Позволю далее в данной заметке Виталия Лазаревича Гинзбурга именовать ВЛ, хотя и не знаю, принята ли была эта аббревиатура среди его учеников и коллег.

[5] и еврейскости вообще, к религии [6], к Израилю и проблеме поселений и их жителей, к политической левизне и её роли в применении опять-таки к Израилю. Из других проблем опишу наше обсуждение того, почему и СССР и Россия имеют относительно малое число Нобелевских лауреатов по физике и роль индекса цитирования в оценке научного работника.

Естественен вопрос: имеет ли смысл, говоря о большом учёном, вообще обсуждать что-то, к его научной деятельности прямо не относящееся? Ответ даёт сам ВЛ: «Если мы хотим составить достаточно полное представление о человеке, то должны узнать о нём многое. Конкретно, хотелось бы узнать, во-первых, каково его мировоззрение, включая сюда отношение к религии. Во-вторых, интересны его политические взгляды. Далее, в-третьих, следует характеристика профессиональной деятельности» [1]. Данная статья касается главным образом, но не только, первых двух пунктов.

Однако начну с нашего знакомства, одностороннего и относящегося, насколько помню, к концу шестидесятых. Тогда я впервые увидел ВЛ «в деле»: он, уже академик, выступал в Новосибирске с пленарным докладом о сверхтекучести нейтронных звёзд. По ходу доклада во мне зрел протест. Сверхтекучесть, на мой взгляд, могла существовать лишь на поверхности этого объекта, но не в объёме, как утверждал докладчик. С нетерпением я ждал конца выступления, чтобы задать «разоблачительный» вопрос, а там – будь, что будет. К публичной порке я был готов.

Оказалось, однако, что «любопытных» – довольно много. Слово получил Р.З. Сагдеев, задавший «мой» вопрос, притом, в утвердительной и чинонепочитающей форме. «Ну, что сейчас будет!», – подумал я, ожидая испепеляющих молний. Однако ВЛ спорить не стал, сказал, что поверхностная сверхтекучесть даже интереснее, чем объёмная, и начал развивать эту идею в течение следующего получаса. Я был поражён. Происшедшее показалось мне признаком научной слабости. В быстрой перемене точки зрения я увидел лишь поверхностность. Поразило, что ВЛ не

нашёл, чем «испелить» своего оппонента². А я уже к тому моменту видел процедуру «испеления» в исполнении такого гроссмейстера этого дела, как великий Ландау. Не скрою, инцидент меня огорчил, а ВЛ – разочаровал. В стремительной перестройке я, увы, умудрился не заметить Мастера физики, способного взглянуть на проблему с разных сторон, при которой внимания заслуживают иные, а не только свой, подходы.

Я нередко посещал семинар ВЛ, и так случилось, что пару раз работы, казавшиеся мне просто неверными, встречали похвалу руководителя семинара. Для меня тогда естественной казалась другая обстановка: найти ошибку, «загрызть» докладчика было «делом чести, славы, доблести и героизма». А тут – академическое благодушие... Это теперь мне семинарский разнос не кажется научным достижением. Скорее, напротив. А тогда вывод мой был скор – слабы они, включая и руководителя семинара. Тут ещё попалось мне утверждение ВЛ в какой-то обзорной статье, что примерно 25 градусов по шкале Кельвина – наивысшая возможная температура сверхпроводника. И когда через пару лет, после открытия в 1986-м К.А. Мюллером и Й.Г. Беднорцем³ сверхпроводников при 35° К началось триумфальное шествие вверх по шкале температур – я вспомнил прогноз ВЛ. Ошибка в предсказании и здесь была мною необоснованно переоценена.

Но к концу восьмидесятых моё отношение к ВЛ было уже иным. Сдвигу способствовало много факторов. Субъективно очень важным было осознание того, что моя работа по «атомному тормозному излучению» следует по сути из идей переходного излучения, высказанных ВЛ и академиком И.М. Франком, Нобелевским лауреатом, за сорок лет до того. Я уже в полной мере оценил и понял, что значит предельная концентрация ВЛ на своём деле, когда буквально каждый день им делалось что-то новое – этаким принцип «ни дня без открытия», о чём уже тогда

² Лишь через много лет я подумал – а, может, не захотел оппонента «испелить»?

³ Нобелевская премия пришла к ним через год, в 1987 г.

свидетельствовал гигантский перечень его научных достижений. Да и лояльность к начинающим учёным и коллегам ценилась мною к тому времени весьма высоко.

Научную благожелательность и интерес со стороны ВЛ я почувствовал в полной мере и совсем недавно, когда в 2007, уже совсем немолодой и больной, он нашёл время и силы прочитать, разобраться, дать положительный отзыв, и принять к печати в своём журнале «Успехи физических наук» нашу с В.Р. Шагиняном и К.Г. Поповым обзорную, а значит – весьма длинную, статью о фермионной конденсации. Отмечу, что эта сравнительно новая идея в теории многочастичных систем встречается научной общественностью, мягко говоря, без всеобщего энтузиазма. Тем более, поддержка ВЛ стоит многого. Хорошо помню, как и в нашем, оказавшемся последним, разговоре, ВЛ спросил меня, чем я сейчас занимаюсь. Вопрос о том, любой атом, помещённый внутрь фуллерена – полый оболочки, состоящей из несколько десятков атомов углерода, взаимодействует с потоком фотонов, его заинтересовал. Он сразу увидел в проблеме перспективу. Заданные вопросы были под стать авторитету и без минимальной скидки на возраст – глубоки и точны.

Как я уже отмечал выше, наше знакомство было, однако, связано не только и не столько с наукой, сколько с другими делами. В 2002 г., в разгар террористической войны против Израиля, помощь бандитам пришла с несколько неожиданной стороны – 125 учёных Западной Европы призвали прервать научные связи с Израилем в наказание за преследование террористов. Отношение к бандитам со стороны властей мне казалось непонятно мягким, а призыв разорвать научные связи с Израилем на фоне ежедневных атак террористов был настолько чудовищным по своей мерзости, что ни о каком поиске оправданий для учёных Израиля не могло быть и речи. Следовало не оправдываться, а атаковать. Этому послужил открытый и достаточно широко опубликованный затем наш ответ западным

коллегам «Мы обвиняем»⁴. Мы упрекали этих 125 учёных и им сочувствующих в прямой и близорукой поддержке террора, которая отзовётся и в их странах. Сила документа решающим образом определялась не столько текстом, сколько именами подписантов, среди которых был ВЛ, Е.Г. Боннер и академик Е.Л. Фейнберг.

В сентябре 2002 г. я был в Москве, на встрече лауреатов премии А. фон Гумбольдта. ВЛ получал её, в порядке исключения, не в Бонне, а в Москве. К моменту этой встречи мой скепсис в адрес ВЛ давно перешёл в стойкое восхищение им как большим учёным и личностью, что, увы, не всегда совпадает. Он выступил с докладом об основных проблемах современной физики. Такой доклад требовал знания и понимания всей физики в целом, что уже почти не встречается. Даже крупные учёные ограничивают себя рамками непосредственной работы.

Встреча с ВЛ поразила меня и в другом отношении. Узнав, что я знаком с ситуацией в Израиле не понаслышке, он начал разговор словами: «Что это у вас эти левые с ума посходили и отбились от рук?» Я попытался ответить, и получил рекомендацию «что делать», которую, лишь слегка упрощая и огрубляя, можно передать словами «Да наплюньте вы им полную харю!». Несколько ошарашенный, поскольку встреча была далеко не тет-а-тет, я ответил: «Виталий Лазаревич, у меня уже не хватает слюны!»⁵. Вскоре точку зрения ВЛ на «детскую болезнь левизны» и способ её лечения я его словами передал слушателям в интервью радио РЭКА.

Последовавшие разговоры на Гумбольдтовской конференции показали, что ВЛ следит за происходящим в Израиле с большим вниманием. Степень заинтересованности явно не объяснялась только тем, что одна из внучек ВЛ живёт в Израиле. Уместно напомнить, что ВЛ был в этой стране несколько раз, что первой его

⁴ Текст был составлен автором данной статьи и проф. М.Е. Перельманом.

⁵ См. пародию на Маяковского в книге Архангельского «Парад бессмертных»: «А у меня уже не хватает слюны. Шлите почтой: Нью-Йорк, Маяковскому!»

международной премией, принесшей деньги, так необходимые для существования в России периода экономических реформ, или попросту грабежа, была присуждённая ему в 1994 г. престижнейшая израильская премия Вольфа.

Проблема взаимоотношения с буйными соседями Израиля, его выживания во враждебном окружении волновала ВЛ. Он не видел возможности мирного сосуществования с палестинскими арабами, о чём и писал [1]: «Допустить такую возможность в ближайшем будущем (или делать вид, что они её допускают) могут только совершенно безмозглые банкроты, добившиеся в своё время пресловутых соглашений Осло». И сегодня, к сожалению, вполне актуально сказанное ВЛ в начале 2004: «Слепота, безответственность, преступная наивность – вот характерные черты этих "прогрессивных либеральных левых интеллектуалов" XX века. Могли бы наши современники чему-то научиться, усвоить элементарные уроки истории! Но нет, поддерживают явного бандита Арафата, уличенного в казнокрадстве, лжи, организации террора. Оправдывают, по сути дела, террористов, всех этих талибов и шахидов, которых колонизаторы, империалисты, сионисты вынуждают якобы делать свое черное дело. ... Любые уступки Арафату и ему подобным только ухудшат ситуацию, обернутся новыми жертвами. Разве сторонники этой обанкротившейся политики уступок и соглашательства не должны отвечать за свои действия?».

Лишь имя бандита изменилось за пятилетку, а суть безмозглой поддержки со стороны людей, заинтересованных материально или бескорыстных, так называемых «полезных идиотов» – нет...⁶

Решение проблем взаимодействия Израиля с окружением ВЛ видел в чётком разделении «мы здесь – они там», т. е. в создании «двух государств для двух народов». Он полагал, но был в этом не уверен, что именно

⁶ Увы, не изменилась во многом и политика правительства Израиля, изо всех сил пытающегося доказать миролюбие Израиля мировому сообществу, страдающим «слепотой, безответственностью, преступной наивностью».

«поселенцы» есть препятствие к такому решению, а потому, считал он, изолированные посёлки следует убрать. При этом забота о «втором государстве» не должна касаться Израиля – это дело «собратьев в богатых арабских странах».

Однако вопрос о судьбе поселений ВЛ считал для себя, тем не менее, открытым. Неуверенность ВЛ отразилась в посланном мне письме: «Но вот мне недостаточно ясен вопрос о "поселениях" и т. п. Поэтому и пишу, и хотел бы узнать Ваше мнение». В ответ я, сам и совместно с М.Е. Перельманом, объяснили неправильность его отношения к данному вопросу, равно как вредность и невозможность реализовать идею «Два государства для двух народов». В более поздних разговорах его отношение ко всем жителям Иудеи и Самарии стало иным. Мы же с Перельманом, буквально отвечая на вопросы ВЛ, написали статью «Коротко о поселениях и поселенцах». Нам удалось убедить его, что эти жители ни в малейшей мере не есть препятствие миру вокруг и внутри Израиля, и что свою землю Израиль отдавать не должен, да и на этом пути мира не получишь. Мне казалось, что подобные доводы ВЛ убеждали. Проблема земли Израиля волновала не только ВЛ. В этой связи вспоминаю то, что вычитал у крупнейшего израильского физика Ю. Неемана: «Я рассказал Лифшицу⁷ о различных планах мирного урегулирования. Вдруг у Лифшица вырвалось: "Нельзя нам отдавать ни пяди земли!" Мне запомнилось это "нам"» [2].

Характерно, что отношение к Голанским высотам у ВЛ с самого начала было иным. Эту проблему он знал лучше. Он ясно понимал беспочвенность требований Сирии в этом вопросе, поскольку Сирия владела Голанскими высотами всего с 1944 по 1967 – маловато для того, чтобы считать земли исконно своими. Вот что писал ВЛ в [1]: «Я сам там был и видел развалины большой древней синагоги. Почему же это «исконная сирийская земля»? Сирия напала на Израиль, была разгромлена и потеряла Голанские высоты. ... Её потеря – плата за агрессию».

⁷Имеется в виду академик Е.М. Лифшиц.

Безопасность Израиля тесно связывалась ВЛ с проблемой справедливости мироустройства. Но его позиция определялась и ощущением им своего еврейства. Человек абсолютно нерелигиозный, ВЛ, тем не менее, еврейство глубоко ощущал и говорил о нём открыто. Очень точно это отражено в словах, вынесенных в эпиграф. Он также писал: «Ярким проявлением у меня еврейского национального чувства являются стыд и негодование, когда я сталкиваюсь с евреем негодяем и, вообще, отрицательной личностью. Одновременно меня радует, если достойный человек является евреем. Так, я очень рад, что Эйнштейн был евреем, да и немало других выдающихся людей». Уместно вспомнить, что ВЛ был членом президиума Еврейского конгресса России.

Кстати, ВЛ признавал и огромную роль иудаизма в сохранении еврейского народа в течение тысячелетий вне своего государства, высоко оценивал роль синагог как объединяющего еврейский народ начала. В ответ на моё замечание, что я не дорос до атеизма, ВЛ ответил, что иногда, чисто эмоционально, завидует верующим, поскольку с искренней верой жить легче. Эту точку зрения понимаю и принимаю. В то же время, ему казалось, что в Израиле роль религии очень велика, и он считал, что во имя равноправия с неверующими, её необходимо существенно ограничить. С этой позицией согласиться я не мог, и приводил контрдоводы. А ВЛ не только говорил и убеждал, но умел слушать и изменять своё мнение даже в научных вопросах.

Отношение к своему народу и происхождению со стороны крупного, широко известного человека – непростой вопрос, в особенности, если этот человек – не религиозен. Тем более что на Западе этническое происхождение подменяется обычно принадлежностью к определённой религии. Помню, как удивляло моих знакомых иностранцев, когда я говорил о своём еврействе, отмечая в то же время, что отнюдь не следуя строго канонам иудаизма.

Знаю сам, да и читал, о ряде известных учёных, и не только учёных, которые старательно обходили публичное обсуждение темы своего еврейства вообще и выдающегося

вклада евреев в мировую культуру в особенности. Свои успехи они видели в независимости от этнического происхождения случайной комбинации генов, т. е. своей личной особенностью. Так, в беседе М. Гелл-Манна и Ю. Неемана с Р. Фейнманом, тот отрицал, что среди знаменитых физиков непропорционально много евреев. «Возьмите венгров, тоже маленький народ. А из него вышли и Ю. Вигнер и Э. Теллер», – говорил Фейнман. Оказалось, он не знал, что оба упомянутых им – еврей⁸. Кстати, Фейнман не разрешал поместить своё имя и биографию в книгу, посвящённую евреям – лауреатам Нобелевских премий, считая саму классификацию лауреатов по национальности надуманной.

Отмечу, что другой знаменитый физик в своей книге – автобиографии умудрился не коснуться «дела врачей», хотя ему, еврею по матери, было в то время больше двадцати лет, и ничего об этом деле не знать он просто не мог. ВЛ же и этой позорнейшей страницы в истории сталинщины в СССР не обошёл. Вполне ощущая, куда сегодня дует общественный ветер в России, он счёл нужным не только сказать, но и написать: «К огромному счастью, Великий Вождь не успел доделать задуманное и умер или был убит 5 марта 1953 г. Этот день многие в бывшем СССР (мы с женой, во всяком случае) до сих пор отмечают, как большой праздник».

Можно подумать, что проблемы Израиля, и еврейство суть какие-то мелочи, о которых в применении к знаменитому учёному и упоминать то не надо. Так сказал мне однажды очень известный российский писатель: «Что вы, Мирон, всё время носитесь с этими провинциальными проблемами?». Я ответил, что, коль они провинциальны, то почему не уходят десятилетиями с первых страниц газет, новостных блоков радио и ТВ, представляют предмет занятий ведущих политиков крупнейших стран мира. Да что, десятилетия – эта «провинция», этот «провинциальный» народ был объектом внимания тысячелетия. То, что зарождалось здесь, на территории сегодняшнего Израиля

⁸ Об этом мне рассказал проф. Ю. Неeman

определило ход дальнейшей истории фактически всего человечества.

В этой статье я хочу рассказать также об одном не чисто научном вопросе, в котором пересекается с ВЛ. Речь идёт о так называемом «индексе цитирования», т. е. числе ссылок на данного автора в научной литературе как важной и объективной характеристике исследователя. Ни я, ни ВЛ этот индекс не изобрели. Он известен давно, но лишь использование персональных компьютеров и сети Интернета сделало его легко доступным. Я увлёкся этим индексом, когда выяснил, сколь просто с его помощью можно отделить заведомого авантюриста от приличного учёного. Затем расширил поиск и обнаружил, что значительное число учёных, избранных академиком РАН в 2008 г. имеют очень низкий индекс цитирования, просто выдающийся вниз, на фоне своих западных коллег. Хотя понимал, что этот индекс имеет свои недостатки и его не стоит абсолютизировать, обнаруженный результат показывал – неладно что-то в Российской академии наук. Однако для того, чтобы сказать об этом открыто, нужна была моральная поддержка человека авторитетного, чей собственный индекс цитирования – вполне высок, а авторитет и личная порядочность – безупречны.

И вот, читая раздел «Трибуна» журнала «Успехи физических наук», я набрёл (случайно!) на статью ВЛ, где он писал: «Отделение физических наук РАН слывет, если не ошибаюсь, одним из самых «приличных». И что же могу сказать об отборе кандидатов в этом Отделении, где я много раз был членом экспертной комиссии. Не помню случая, чтобы кто-нибудь поинтересовался *Индексом цитирования у кандидата*⁹ и имело место обсуждение его работ. Все делается в спешке и только непосредственно перед выборами». И в личном разговоре с ВЛ выяснилось, что учёт индекса цитирования для оценки вклада учёного он считает необходимым, хотя, разумеется, отнюдь недостаточным.

⁹ Выделено мною – МА.

Хочу затронуть ещё один важный вопрос, касающийся оценки научных достижений, более точно – Нобелевских премий по физике. Почти после каждого присуждения раздаются голоса, утверждающие, что и на этот раз Россию, как и ранее СССР, на «пиру наград» обнесли. Проще всего на эту тему промолчать, слушая, как совсем непричастные, абсолютно не знающие принципа награждения, завещания Нобеля, механизма отбора кандидатов и выбора лауреатов рассуждают о «злых кознях» американского научного лобби, о запретах получать премии со стороны партийных бюрократов в СССР, и прочей чепухе. Сказать неприятную правду всегда труднее, чем промолчать. Она, эта правда, требует определённой смелости, как и открытое сообщение о своём еврействе. С другой стороны, вероятно прав был Е. Евтушенко, когда писал «Мне говорят – ты смелый человек. Неправда, никогда я не был смелым. Считал я просто недостойным делом унижаться до трусости коллег».

Я получал приглашения номинировать на Нобелевскую премию в течение ряда лет, ВЛ, как выяснил в разговоре с ним, гораздо дольше. Оказалось, что его взгляды на причину недодачи близки к моим. Сформулировав шутливую теорему, что получение Нобелевской премии по физике есть лишь проблема дожития, ВЛ чётко и открыто отрицал обвинения в адрес Нобелевского комитета по физике в какой-то антисоветской или антироссийской предвзятости. Моя точка зрения встречала у ВЛ понимание. Я же полагаю, что основная причина малого числа советских или российских Нобелевских премий заключается в качестве работ. Ведь недостаточно первым сказать весьма неконкретное «э». Необходимо, чтобы это «э» обросло конкретным содержанием. Существенно сказываются и в общем малые затраты на научный поиск и на науку в целом в России, да и СССР. Свою важную и негативную роль играет и почти традиционная недоброжелательность коллег-соотечественников, и многолетняя традиция несвободы, которая неизбежно сковывает и научную фантазию страхом ошибиться.

Эйнштейн говорил, что бывают моменты в истории страны и народа, когда общественная деятельность учёного становится важнее его профессиональной. Многочисленные интервью, появление дискуссионной «Трибуны УФН», борьба с лженаукой и анти-наукой, с попыткой Русской Православной церкви проникнуть в школу показывают, что ВЛ сложившуюся в России ситуацию понимал, и отмалчиваться считал для себя неподходящим. Ему было что сказать «народу и городу», и все возможности для этого, совсем немалые у Нобелевского лауреата, он использовал очень эффективно буквально до самого конца своей жизни. Не менее важно, правда, чтобы «народ и город» слушали и слышали, что ему говорят.

Вместе с другими девятью академиками, включая Нобелевского лауреата Ж.И. Алфёрова, ВЛ написал письмо президенту России против клерикализации российского общества, против рассмотрения теологии как науки, против попыток вернуть православный «Закон Божий» в среднюю школу. Несмотря на все звания подписавших, письмо это удалось опубликовать с трудом. Оно стало объектом полемики и жёсткой критики в обществе. Но ВЛ был борцом, и твёрдо отстаивал свои убеждения. Результат не замедлил сказаться: в июле 2007-го православное общественное движение «Народный собор» потребовало от прокуратуры Москвы привлечь ВЛ за «возбуждение религиозной вражды, оскорбление многих десятков миллионов христиан России». Это была неправда – ВЛ никого не оскорблял и вражды не возбуждал, хотя в выражениях бывал и резок.

Отмечу, что ВЛ считал и Израиль государством, где роль религии чрезмерна и создаёт угрозу гражданским правам неверующих. Он, однако, отчётливо понимал, что в конкретных условиях существования Израиля, как и во всей истории еврейского народа, религия играла особую и сберегающую нацию роль. Я с близкого расстояния подобной угрозы правам неверующих не вижу, а потому с представления ВЛ о засилье религии в Израиле не соглашался.

Хочу упомянуть ещё об одном, далеко не несущественном аспекте деятельности ВЛ. В 1998 году по его инициативе при Президиуме РАН была создана Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Она включала известных учёных. С 2006 г. ими издаются сборники «В защиту науки». Разумеется, лже- и псевдонаука существуют во всём мире. Но особо они расцветают там, где доминирует закрытая, строго централизованная внеконкурсная система финансирования, причём особенно в периоды социально-экономических потрясений. Именно на волне голодных лет расцвёл Лысенко – несмываемый позор Советской науки. По сравнению с ним мелочью кажутся и пресловутые «торсионные поля» недавнего времени, и ловкий проходимец Петрик – автор патента на очистку воды от всего и много-много другого. Отмечу, что созданная по инициативе ВЛ комиссия работает с большой энергией. Неплохо бы её сделать международной – ведь по своим экономическим последствиям даже лысенковская афёра меркнет по сравнению с мифическим антропогенным глобальным потеплением, на посиделки с обсуждением которого собралось в середине декабря 2009 г. в Копенгагене 120 (!) глав государств – просто мировой парад по случаю выхода в свет «короля» в «новом наряде», однако без мальчика, способного во всеуслышание сказать «король гол».

Наше близкое знакомство с ВЛ было кратким, в основном по моей вине, но для меня чрезвычайно важным и стимулирующим. Именно поэтому позволю себе закончить данную заметку теми же словами, что и поздравление главному редактору «Успехов физических наук» Виталию Лазаревичу Гинзбургу в связи с девяностолетием журнала: *Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,/ я радостью скручен, как вьюгой,/ что мне с командиром таким довелось/ шаландаться по морю юнгой*¹⁰.

Иерусалим

¹⁰ С. Кирсанов

Литература

- [1] V.L. Ginzburg, *On superconductivity and superfluidity. A scientific Autobiography*, Springer, (2009). *Автобиография* (Приложение к Нобелевской лекции, 2003) Прислана с надписью ВЛ «Это главное!» с указанием разделов, в основном обсуждающихся в данной статье.
- [2] В.Л. Гинзбург, Об атеизме, религии и светском гуманизме, Москва, ФИАН, 2009.
- [3] А.М. Блох, Нобелевская премия - популярно обо всём, Москва, БуКос, 2008.
- [4] В. Каждая, Диакон бесстыжий или как делают антисемитом, Москва, 2008.
- [5] В.Л. Гинзбург, *Несколько замечаний об атеизме, религии и еврейском национальном чувстве*, Сетевой альманах «Заметки по еврейской истории», № 23, 2002
- [5] В.Л. Гинзбург, *Заметки об атеизме, науке и религии в современном мире*, Сетевой альманах «Еврейская старина», № 8, 2002
- [7] Ю. Нееман, *Политика без иллюзий*, Иерусалим, 1988.



Марк Перельман

Эдвард Теллер – злодей и изгой американского научного сообщества



В начале XX века из среды венгерского еврейства вышла удивительная череда выдающихся физиков: Лео Сциллард (1898-1964), премия Эйнштейна 1959, Денни Габор (1900-1979), создатель голографии, Нобелевская премия 1971, Юджин Вигнер (1902-1995), Нобелевская премия 1963, Джон фон Нейман (1903-1957), создатель функционального анализа, математической экономики, архитектуры компьютеров и т. д., Эдвард Теллер (1908-2003), «отец» американской водородной бомбы. К их числу можно было бы присоединить более старших: Теодора фон Кармана (1881-1963), «отца» современной аэро- и гидродинамики, и Дьёрди фон Хевеши (1885-1966), создателя метода «меченых атомов», Нобелевская премия по химии 1943-го. (В Австро-Венгрии евреи могли получать дворянские титулы, отсюда и приставки «фон».)

Все они составили славу американской науки и не восполнимую потерю науки и всего общества Венгрии – наглядный пример следствий антисемитизма в жизни страны! Этот исход в какой-то мере повлиял на ход мировой истории. Журнал *Нэйчур* писал в статье «Двадцатый век был сделан в Будапеште» – тут очевидное преувеличение, но зерно истины в нем содержится.

В этой связи вспоминается такой эпизод, рассказанный выдающимся израильским физиком Ювалом Неэманом. Как то он оказался где-то с двумя знаменитыми

физиками, нобелевскими лауреатами, Р. Фейнманом и М. Гелл-Манном. Разговор почему-то зашел о национальных достижениях и Фейнман сказал, что они не только у евреев, вот, мол, Венгрия – малая страна, а сколько дала науке, и назвал те имена, с которых мы начали! Гелл-Манн и Неэман расхохотались: все перечисленные им гении из Венгрии как раз евреи!

Среди этих людей, пользовавшихся уважением всего научного сообщества, особое место занимает Эдвард Теллер. Об отношении коллег к нему я узнал при таких обстоятельствах.

В 1970 г. в Киеве проходила большая международная конференция по физике элементарных частиц. Поскольку на Южном Кавказе была холера, пробираться через карантин было нелегко (я вброд перебрался через речку Псоу, пограничную между Абхазией и Россией, в километре от карантинного поста). В Киеве оргкомитет поместил нас, нелегалов, за городом, в Феофании, в новой гостинице Института физики. Туда же, подальше от журналистов, был поселен А.Д. Сахаров и почему-то несколько иностранцев.

Моими соседями оказалась супружеская американская пара, Джекоб и Рут, физик и социолог, а когда мы выяснили, что все наши деды родом из Одессы, только их – махнули в Штаты, а мои – в Тифлис, то отношения установились почти родственные. Еще более они укрепились, когда я объяснил, что известный физик Эндрю Захаров и не менее известный диссидент Андрей Сахаров – одно и то же лицо и представил их Андрею Дмитриевичу.

Поскольку это были первые американцы, с которыми довелось разговаривать, а иностранцев вокруг было столько, что «искусствоведов» в штатском на всех явно не хватало, то говорить можно было относительно свободно. Из русского языка предков у них сохранилась лишь одна волшебная фраза: «Водка мит селедка», которой они, как то вместе и со мной, успешно пользовались. Вот так все мирно текло (они понимали, что о политике говорить не стоит), пока я безо всякой задней мысли не сказал, как

интересно было бы сравнить ход мыслей Сахарова и Теллера по термоядерным реакциям...

Рут как будто взорвали изнутри: она прошипела, а затем почти прокричала кучу слов, явно нецензурных, среди которых я уловил лишь несколько выражений на идише и громогласное «БОЙКОТ». Чуть успокоившись и видя, что я не все понял, она сказала, что поминать Теллера в приличном обществе – это дурной тон, а она, мол, как то продефилировала мимо него, демонстративно отвернувшись (у меня не хватило смелости спросить, заметил ли это он). Джекоб был менее эмоционален, хотя и согласен с женой – он не раз сталкивался с Теллером по работе.

Поскольку о существовании «левых» – в нашем теперешнем понимании – интеллектуалов я почти ничего не знал, то недопонимание таковым и осталось, ругань в «Правде» мы давно привыкли понимать наоборот. Но со временем я узнал многое о Теллере и о его столкновениях с так наз. «общественным мнением».

Эдвард Теллер родился 15 января 1908 в Будапеште в преуспевающей, но ассимилированной еврейской семье. Его математическая одаренность была заметна с детства: он учился в частных школах, но учебе мешали политические перипетии в новом государстве, и навсегда сохранились впечатления от вакханалии коммунистического переворота и его подавления в 1919 г.

В 1926 году Теллер едет в Германию, в Карлсруэ, изучать химическое машиностроение, но через два года перевелся, не закончив курс, в Мюнхенский университет: учить физику. (Любопытно, что попытки получить практическую специальность в кажущейся тогда весьма перспективной химической технологии предпринимали также Сциллард, Вигнер и фон Нейман, но у всех интерес к физике преодолел соблазн более надежных и доходных занятий.) В Мюнхене Теллер попал в автомобильную аварию и потерял правую ступню. А научившись пользоваться протезом, он переводится в Лейпциг, где тогда преподавал В. Гейзенберг.

В 1930 г. Теллер защищает под его руководством диссертацию и начинает работать в Гёттингене. Его тогдашняя книга «Молекулярный ион водорода» до сих пор цитируется в работах по молекулярной физике.

В 1934 году Теллеру удалось эмигрировать в Данию и устроиться в Институт Нильса Бора (в том же году он женился на «Мици», Августе Харкани). В Копенгагене он познакомился и подружился с Л.Д. Ландау и с Джорджем (Георгием Антоновичем) Гамовым, бежавшим из СССР. Гамов вскоре переехал в Университет им. Джорджа Вашингтона в Вашингтоне и пригласил туда Теллера, который приехал в 1935 году, а в 1941 году получил гражданство США.

В Вашингтоне Теллер и Гамов тесно сотрудничали и сформулировали так наз. правила Гамова-Теллера, перспективный тогда вариант бета-распада, внесли фундаментальный вклад в теорию ядерных взаимодействий, теорию термоядерного синтеза, физику высоких плотностей энергии и ряд других областей. А затем – и это оказалось главным – они увлеклись исследованием ядерных процессов в астрофизике. Так что к началу Второй мировой войны Теллер уже входил в группу ведущих физиков-ядерщиков.

В 1939 г. Ган и Штрассман открыли явление ядерного деления. Теоретически стала ясной возможность расщеплять атомное ядро, в результате чего могла высвобождаться громадная энергия. Теллеру, как и ряду других физиков, было ясно, что самая разрушительная сила, когда-либо известная человеку, может попасть в руки Гитлера. Их опасения усиливались и тем, что немецкая ядерная программа возглавлялась самим Гейзенбергом.

Беженцы из Европы – Сциллард, Вигнер, Теллер – яснее других осознавали грядущую опасность: они просили Альберта Эйнштейна обратить на это внимание президента Ф.Д. Рузвельта. Так был организован, под руководством Роберта Оппенгеймера, Манхэттенский проект, в котором, в числе других известных ученых, в 1941 году начал работать и Теллер: они должны были преодолеть смертельную опасность и создать атомную бомбу раньше, чем это сделают немцы.

Уже в 1940 г. Теллер рассматривает возможность использования энергии ядерного взрыва для инициирования процесса термоядерного синтеза. В идеальном варианте он пройдет как объединение четырех ядер водорода в ядро атома гелия, это тот механизм, который, через ряд промежуточных процессов, обеспечивает свечение звезд. (Цикл соответствующих реакций был разработан Г. Бете, а одна из ключевых работ в этом направлении была опубликована Теллером вместе с Р. Оппенгеймером.) Теллер надеялся, что в Лос-Аламосе будут активно изучаться оба эти явления. Но создание даже простейшего устройства по расщеплению оказалось таким сложным, что исследование синтеза ядер было прекращено. Здесь, в частности, ему довелось развеять страхи некоторых физиков и, в основном, не-физиков, боявшихся, что при ядерном взрыве необратимая цепная реакция может охватить всю атмосферу (вспомните недавние страшилки в СМИ о «неизбежной катастрофе» при пуске Большого адронного коллайдера в Женеве).

С окончанием войны возникла проблема: что делать дальше с ядерными секретами? Многие ученые, либералы и идеалисты по определению, и среди них Н. Бор, считали, что все данные должны быть переданы в ООН и раскрыты всему миру: ну как можно что-то скрывать от своего верного союзника СССР?

При этом большинство физиков, участников ядерного проекта, с радостью освободились от своих «военных» обязанностей и вернулись к чистой науке – они считали, что с окончанием войны пропала и необходимость совершенствовать оружие. Среди них был и руководитель Манхэттенского проекта Р. Оппенгеймер: в молодости он был близок к социалистическим кругам, некоторые связи, возможно, сохранились.

Но не все были столь же уверены в перспективах всеобщего разоружения, мира и благоволения между странами, в том, что потенциальный противник, СССР, также прекратит все разработки. И с окончанием войны Теллер вернулся к проблемам термоядерных реакций с надеждой создать «супер», водородную бомбу. Работал с

ним вместе и Клаус Фукс, талантливый английский (тогда) теоретик, эмигрант из Германии, который, как потом выяснилось, был убежденным коммунистом, идейным и главным осведомителем СССР.

С этим связана история, могущая послужить сюжетом героико-комического детектива. Дело в том, что разрабатываемый ими первоначальный проект водородной бомбы, названный «трубой», был таков: в длинную трубу помещаются дейтерий и тритий (тяжелый и сверхтяжелый изотопы водорода), а в виде крышки трубы должна браться атомная бомба, урановая или из плутония. Бомба взрывается, и распространяющаяся ударная волна должна вызвать термоядерный синтез с образованием ядер гелия, усиливающийся по ходу трубы.

С началом Корейской войны в 1950-м коммунистические иллюзии Фукса развеялись (он был все же арестован, отсидел 10 лет в Англии, переехал в ГДР, работал как физик и стал там членом Академии). Но сведения в СССР о провале проекта «трубы» уже не поступали, и работа по нему продолжалась – успех «цельнотянутого» проекта атомных бомб как бы требовал доверять агентурным разработкам.

Так что, насколько можно судить, следующий проект бомбы с тремя основными ее компонентами: 1). «Слойка» А.Д. Сахарова, 2). Оболочка из дейтерита лития (Li^6D , знаменитая «лидочка») В.Л. Гинзбурга и 3). Радиационный обжим Сахарова-Гинзбурга-Зельдовича – был разработан независимо в СССР и притом не позже, чем в США.

Интерес в США к усовершенствованию ядерного оружия проявился лишь в 1949-м, со взрывом первой советской ядерной бомбы (за границей ее назвали «Джо-1» – по английскому варианту имени корифея всех наук). Только тогда президент Г. Трумэн распорядился о начале работ в лабораториях Лос-Аламоса над оружием синтеза.

Теллер понял, что коллеги в Лос-Аламосе не хотят заниматься следующим поколением ядерного оружия, и нужно организовывать независимую лабораторию. Он сумел убедить в этом Конгресс, и Комиссия по атомной энергии

открыла в северной Калифорнии Ливерморскую лабораторию. Теллер был в ней консультантом, а затем стал ее директором.

В 1952 году первое громоздкое сооружение, прообраз водородной бомбы, было успешно взорвано на одном из островков Тихого океана. Теллер почувствовал себя оправданным, но Оппенгеймер и многие другие ветераны Манхэттенского проекта продолжали считать, что если не заниматься этим страшным оружием, то и в СССР им не займутся – о существовании советских программ в закрытых городах вроде Сарова они и не подозревали! Между двумя фракциями ядерщиков возник глубокий разрыв.

Еще большие разногласия между Теллером и бывшими друзьями и коллегами возникли при обвинениях Роберта Оппенгеймера (помните пресловутого сенатора Дж. Маккарти?). Сам Теллер ни в чем не обвинял Оппенгеймера, но когда после проверки благонадежности Оппенгеймера его допуск к секретным работам был аннулирован, большинство физиков обвинило в этом Теллера.

Показания перед сенатской комиссией Теллер давал 28 апреля 1954 года. На официально заданный вопрос: «Считаете ли вы, что д-р Оппенгеймер нелоялен по отношению к Соединенным Штатам?» Теллер сказал: «...я всегда полагал и полагаю сейчас, что он лоялен по отношению к Соединенным Штатам».

Но ему был задан и более сложный вопрос: считает ли он, что «Оппенгеймер представляет собой угрозу для национальной безопасности?»

Теллер ответил так: «В большом числе случаев мне было чрезмерно трудно понять действия д-ра Оппенгеймера. Я полностью расходился с ним по многим вопросам, и его действия казались мне путанными и усложненными. В этом смысле мне бы хотелось видеть жизненные интересы нашей страны в руках человека, которого я понимаю лучше и поэтому доверяю больше. В этом очень ограниченном смысле я хотел бы выразить чувство, что я лично ощущал

бы себя более защищенным, если бы общественные интересы находились в других руках».

Вот эта фраза и сделала Теллера изгоем в американской научной среде: их давнее противостояние по вопросу о термоядерном оружии было известно, но сообщение правительству мнения Теллера об Oppenгеймере сочли неэтичным, хотя никто не сомневался в том, что Теллер честно выразил свое личное отношение к Oppenгеймеру. Отметим только, что, в отличие от большинства физиков, Эйнштейн, по-видимому, никак не выразил своего мнения об этом инциденте, хотя Oppenгеймер оставался директором Института в Принстоне, где работал Эйнштейн, и они повседневно встречались.

Теллер, по-видимому, счел ниже своего достоинства оправдываться и что-либо объяснять широкой публике. Как заметил Сахаров после единственной и краткой беседы с ним в 1989-м: «Как я понял, основное, что им движет – принципиальное, бескомпромиссное недоверие к СССР». Еще до той встречи Сахаров писал в своих воспоминаниях: «Как мы должны смотреть на это трагическое столкновение двух выдающихся людей сейчас, через призму времени? Мне кажется, что с равным уважением к обоим. Каждый из них был убежден, что на его стороне правда, и был морально обязан идти во имя этой правды до конца: Oppenгеймер – совершив то, что потом посчитали нарушением служебного долга, а Теллер – нарушая традиции хорошего тона научного сообщества». И далее Сахаров, по сути дела, подтверждает реальность опасений Теллера.

Сам Теллер пояснил свою позицию лишь много позже, по время празднования его 90-летия, в статье «Наука и мораль»: «Вторую мою опубликованную работу в физике я сделал совместно с моим хорошим другом Л. Тиссой. Вскоре после нашего сотрудничества в Лейпциге он был арестован венгерским фашистским правительством как коммунист. Он потерял возможность найти работу в науке, и я порекомендовал его моему другу Льву Ландау в Харькове. Несколько лет спустя Тисса посетил меня в США. У него больше не было никаких симпатий к коммунизму.

Лев Ландау был арестован в СССР как капиталистический шпион! Для меня значение этого события было даже больше чем пакт между Гитлером и Сталиным. К 1940 г. у меня были все причины не любить и не доверять СССР». (По каким-то причинам Теллер, говоря о присутствовавшем на юбилейном собрании Тиссе, не упомянул о том, что такие же сведения он ранее получил от Г. Плачека, известного чешско-американского физика, так же успевшего уехать из Харькова перед разгаром «Большого Террора»).

Думается, что дальнейшие события доказали правоту именно Теллера, а не Оппенгеймера.

И после создания водородной бомбы Теллер, заслуженно именуемый ее «отцом», продолжал укрепление военного потенциала США – бомба ведь была и у потенциальных или, скорее, реальных противников. Так, Теллер инициировал программу «Полярис», которая привела к созданию таких боеголовок, ракеты с которыми можно было запускать с подводных лодок. Здесь же, в Ливерморе, уже во времена Эйзенхауэра он обосновал техническую невозможность переговоров с Советским Союзом о взаимном запрете на ядерные испытания. Затем он инициирует работы над мощными лазерами, планируя в программе «Эскалибур» (по названию волшебного меча короля Артура) создать лазер космического базирования как надежный щит от вражеских ракет (эта работа продолжается и сейчас с переменным, как мы знаем, успехом).

В 1970 годах Теллер снова попал в заголовки газет с развитием идеи разработки ядерного синтеза как альтернативы другим видам энергии. В 1980-х о нем снова писали, когда он выступал за разработку СОИ, стратегической ракетной системы обороны и сумел убедить президента Р. Рейгана и большинство членов обеих палат Конгресса выделить на ее реализацию, начиная с 1986 г., огромные средства. В широких либерально настроенных (так наз. «левых») общественных кругах Запада за Теллером прочно закрепилась репутация милитариста и фанатичного сторонника гонки вооружений.

Эдвард Теллер скончался 15 января 2003 года на 97 году жизни. Он был почетным доктором большинства

ведущих американских и европейских университетов, членом Национальной АН США, Американской академии искусств и наук, многих зарубежных академий и научных обществ и учреждений, был удостоен престижных научных премий и других наград. Титул «отца» американской водородной бомбы останется за ним навсегда, как и у А.Д. Сахарова – «отца» советской бомбы.

Теллер всегда был сторонником Израиля – не на словах, а на деле. Он многократно, начиная с 1966 г., посещал нашу страну, консультировал правительство по проблемам развития военной техники. Говорят, что именно ему принадлежит инициатива разработок в Израиле БПЛА – беспилотных летательных аппаратов, которые вышли на первое место в мире. Возможно, есть у Теллера и другие заслуги пред государством Израиль, о которых все еще нельзя говорить.

В связи с описанным конфликтом вновь встает вопрос об ответственности ученых за использование их открытий и разработок.

Где-то я читал, что в 1904 году собрание германской научной общественности обратилось с приветствием к английской ассоциации по развитию науки, где наряду с обзором достижений за XIX век писалось, что наконец-то развитие науки сделало войну невозможной – изобретено ведь страшное оружие массового поражения: «пулемет»!

До начала Первой мировой, почти плавно перетекавшей во Вторую мировую, оставалось еще десять лет...

Но Вторая мировая закончилась в Тихоокеанском регионе так быстро только и только благодаря шоку от ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. По оценкам штабов без этих ударов она продлилась бы на много месяцев, если не лет с высадками в Японии, последующей партизанской войной и с неисчислимым количеством жертв в ней. Кстати, рекомендацию о нанесении этих ударов дал комитет ученых под председательством Оппенгеймера и с

участием трех нобелевских лауреатов: Лоуренса, Комптона, Ферми.

Давняя мечта о том, чтобы сделать войну (во всяком случае, большую) невозможной благодаря развитию науки, частично – можно думать – оправдалась: концепция «гарантированного взаимного уничтожения» при известном количестве ракет и боеголовок на Западе и Востоке сделали на 60 с лишним лет мировую войну невозможной (локальные войны этим не затрагивались).

И в этом – несомненная заслуга и Теллера: сейчас я знал бы как ответить идеалистам-американцам на нелепый бойкот самого ответственного и наиболее проницательного ученого их страны.



Александр Избицер

О Т.Л. Фидлер

**Светлой памяти Тамары Лазаревны Фидлер
(17 ноября 1916-3 апреля 2009)**

1.



достоверение А.К. Глазунова

Ленинград, 24 июня 1927 года.

Сим удостоверяю, что малолетняя Тамара Фидлер обладает ярким художественно-музыкальным дарованием, рано определившимся. У неё несомненные пианистические данные. Передача её отличается вдумчивостью и тщательностью технической отделки. У Тамары Фидлер изумительный абсолютный слух, и с первых творческих опытов она обнаруживает удивительный вкус и чувство формы.

Ректор Ленинградской Консерватории Александр Глазунов.

Ни одна из драгоценных граней таланта Т. Фидлер, удививших и изумивших А.К. Глазунова, не только не потускнела в течение грядущих долгих лет, но, напротив, каждая из них достигла своего ярчайшего сияния – чему стали свидетелями сотни и сотни тех, кто соприкоснулся с её творчеством уже в последние десятилетия ушедшего века. Своё девяностолетие Фидлер встретила в Торонто (Канада), и юбилей этот был отпразднован её учениками, коллегами и поклонниками концертом в Петербургской Филармонии.

<...> Её выступления... были всегда сенсацией, всегда чудом, всегда потрясением. Ибо мастерство, являемое Фидлер, было не просто высокого или даже очень

высокого уровня – оно было уровня воистину запредельного, воистину трансцендентного, вызывающего в памяти пианизм великого Иосифа Гофмана; о мастерстве же сугубо ансамблевом не приходится и говорить... А забудет ли кто-нибудь из её студентов не просто блестящий, но прямо-таки устрашающий в своей недосыгаемости показ проходимых в классе произведений, сочетающийся с неизменной доброжелательностью и внушением достижимости вершин?! <...>

Игорь Урьяш. Из Вступительного слова к концерту, посвящённому 90-летию Т.Л. Фидлер (Малый Зал Санкт-Петербургской Филармонии)

Добавлю к этим словам, что, слушая Т.Л. Фидлер, различить границу между «воистину запредельным мастерством» её и её же уникальным искусством интерпретатора – было невозможно.

Анатолий Павлович Никитин¹ который, как правило, направлял своих студентов в класс камерного ансамбля Т.Л. Фидлер, сказал о ней:

Фидлер – гениальная пианистка, гениальный педагог.

Впрочем, подобные слова вряд ли могли прозвучать в присутствии самой Тамары Лазаревны. Она бы сильно смутилась и, вероятнее всего, её реакция на них была бы таковой: «О-го-го!!! Ничего себе...».

2.

Школа и Семья

То, чему стал свидетелем легендарный ректор Консерватории, было слиянием, по Платону, и природы, и выучки (*αυτὴ περὶ πρῶτος καὶ τροπῆς*). Редчайшим даром природы был, е. г., феноменальный слух девочки. В том Глазунов смог убедиться, когда, в частности, «взял» на рояле обоими локтями (!!!) т. н. «кластер» – после чего

¹ А.П. Никитин – выдающийся виолончелист, в течение 45 лет возглавлявший виолончельную группу оркестра Петербургской Филармонии (ЗКР), профессор Петербургской Консерватории. О нём см. очерк Л.Е. Гаккеля – <http://www.musicalolympus.ru/rus/fund/nikitin.html>

Тамара безошибочно определила, какие из нот в этом звуковом месиве были выпущены. Но, как видим, её игра уже тогда выявила и особое музыкальное воспитание, и некую превосходную школу фортепьянной игры, основы которой ребёнку удалось постигнуть к своим десяти годам.

То была школа Листа/Рейзенауэра.

Альфред Рейзенауэр, немецкий пианист, композитор и педагог, был одним из двух учеников Листа, которые на рубеже 19-20 столетий делили между собою «фортепьянный Олимп»²<http://7iskusstv.com/2010/Nomer1/Izbicer1.php> - ftn2.

С 1900 г. Рейзенауэр начал преподавать в основанной ещё Ф. Мендельсоном Лейпцигской Консерватории (*Königlich-Sächsisches Konservatorium der Musik zu Leipzig*), которую вскоре возглавил.

В числе последних воспитанников Рейзенауэра в Лейпциге была Цецилия Фидлер, завершившая курс обучения в 1907 году, за несколько месяцев до кончины учителя. Превосходная пианистка, Цецилия Моисеевна впоследствии выступала в ансамблях, в т. ч., с виолончелистами Семёном Матвеевичем Козолуповым и Леопольдом Витольдовичем Ростроповичем.

² В противоположность другой легенде, Морицу Розенталю, Рейзенауэр оставил очень немного граммофонных записей, одна из которых представляет собою особую ценность. Это – фортепьянная транскрипция Листа песни Шопена «Желание» ("Chants Polonaises", no. 1), исполняя которую, Рейзенауэр сознательно имитировал игру своего учителя. Пианист сделал на звуковом ролике надпись: *Nach persönlichen Erinnerungen an Franz Liszt (Из личного мемуара о Франце Листе)*.

О Рейзенауэре говорили, что его исполнительский стиль был чрезвычайно близок листовскому. Коли так, то этой имитации можно вполне довериться, и, ergo, мы обладаем кажущейся нереальной возможностью услышать самого Листа.

3.

Ко времени рождения дочери Ц.М. Фидлер была профессором Саратовской Консерватории. Она начала заниматься с Тамарой, когда той исполнилось шесть лет.

В Ленинграде, куда переехала семья Фидлер, Цецилия Моисеевна стала преподавать в Музыкальном Техникуме. Поступив туда в класс матери, Тамара вскоре начала выступать публично. Свои первые концерты она сыграла в двенадцатилетнем возрасте: после сольного отделения в Москве (Филармония им. Моцарта) последовало исполнение *Первого Концерта Бетховена* в Большом зале Ленинградской Филармонии. Оркестром дирижировал Николай Андреевич Малько. Через три года пятнадцатилетняя юница поступила в Ленинградскую Консерваторию, в класс Леонида Владимировича Николаева.



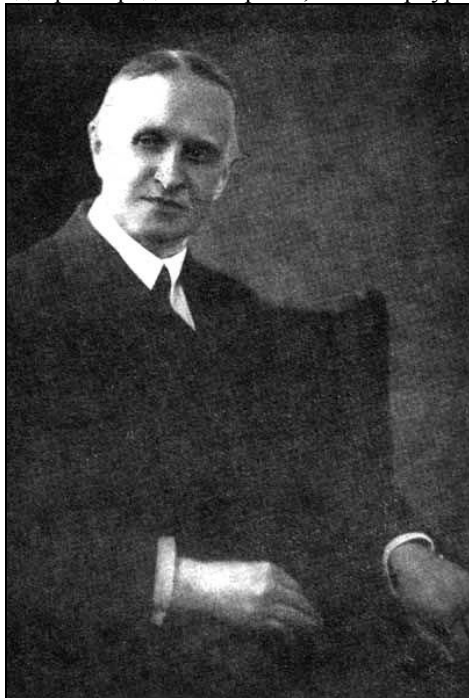
Ц.М. Фидлер

4.

Приходя на урок [к Николаеву], надо было принести произведение в готовом, продуманном виде. Весь класс присутствовал на уроках. Концерты класса проходили при полном зале в Консерватории. Ежегодно давались концерты пианистов школы Николаева в Филармонии, в Капелле. Леонид Владимирович был человеком огромной эрудиции и

феноменальной памяти. Когда Леонид Владимирович детально занимался с учеником каким-либо куском произведения, некоторые не выдерживали и говорили, что они теряют свою индивидуальность. В ответ они слышали: «Если она так мала, то туда ей и дорога!»

Т. Фидлер. Из радио-интервью, С.-Петербург, сер. 1990-х.



Л.В. Николаев (1 (13) августа 1878, Киев – 11 октября 1942, Ташкент)

Залы, где давались концерты класса Л.В. Николаева, были традиционно заполнены публикой до отказа. События эти с нетерпением ожидались, а впоследствии долго оставались предметами горячих обсуждений и ярких воспоминаний. Один из таковых концертов состоялся в Большом зале Ленинградской Филармонии 15 апреля 1938 г. В нём приняли участие, в т. ч., Г.М. Бузе, Н.Е. Перельман, В.Х. Разумовская, С.И. Савшинский, П.А. Серебряков. Третье, заключительное отделение открыла Т.Л. Фидлер,

исполнившая *Интермеццо Брамса, Гавот Николаева и 12-ю Равсодию* Листа. Заключил же концерт фортепьянный дуэт В.В. Софроницкий – Д.Д. Шостакович (*Вариации на тему из 4-х нот для двух фортепьяно* Л.В. Николаева).

Слова Фидлер о тех студентах, которые опасались утратить свою индивидуальность, опровергают расхожее суждение о методе Николаева-педагога. Поскольку каждый выдающийся исполнитель из плеяды учеников Леонида Владимировича обладал неповторимым исполнительским почерком, то в представлении многих возникла иллюзия, что Николаев только тем и занимался, что откупоривал ту или иную т.н. «творческую индивидуальность», а затем всячески потакал ей. Как видим, Николаев терпеливо обучал дисциплине, «школе», требуя не чувственно-интуитивного, но мыслительного, аналитического подхода к сочинению («надо было принести произведение в готовом, продуманном виде»). А уж остальное зависело от ученика.

5. Конкурсы

В 1935 г., Фидлер приняла участие во Втором всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, проходившем в Ленинграде. Она стала финалисткой и должна была получить одно из трёх лидирующих мест. Её соперниками за призовые места стали Яков Флиер и Мария Гринберг, награждённые в итоге, соответственно, Первой и Второй премиями.

Однако в день, когда определялись победители, Л.В. Николаев был выведен из состава жюри и помещён под домашний арест. Это событие стало следствием того, что, начиная с 1934 года, Кремль и Лично встали на стражу, как сейчас бы сказали, «традиционной сексуальной ориентации» советских граждан, принявшись изолировать от советского народа сексуальных вредителей, ориентированных в этом отношении нетрадиционно. Ученица арестанта никак не могла стать лауреатом – Фидлер был вручён Диплом.

Следующий Всесоюзный Конкурс музыкантов-исполнителей с участием Т. Фидлер состоялся в конце 1937 г. В своём обзоре Эмиль Гилельс написал:

Во главе ленинградской группы участников конкурса стоит пианистка Фидлер (ученица проф. Николаева). Исполняемые ею вещи звучат всегда интересно и своеобразно (подчёркнуто мною – АИ). Очень сложная и глубокая по мысли вторая часть *Сонаты* Бетховена оп.111 была сыграна ею превосходно.

«Вечерняя Москва» 26 декабря 1937.

Но тот конкурс стал ареной противоборства двух «группировок» – московской и киевской. Это не осталось секретом, т. к., внезапно продырявился покров, скрывавший «подковёрных» борцов – достоянием гласности стала записка, своеобразный договор сторон: «Вы поддерживаете нас, мы – вас».

Фидлер вновь был вручён Диплом.

Больше в конкурсах солистов Фидлер не участвовала.



Класс Л.В. Николаева в 1936 г. Слева направо. Стоят: М.Л. Минц, С.Н. Корц, Э.А. Якубович, У.М. Дубова-Сергеева, К.Ф. Гринасюк, В.П. Иванова, Б.Г. Гольц, А.А. Гинце. Сидят: Р.Х. Андриясов, Т.Л. Фидлер, Л.В. Николаев, И.В. Буткевич, Т.С. Самойлович, А.Л. Соковнин, А.Е. Геронимус.

Как уже видит читатель, – и ещё увидит впоследствии – уже в те годы талант исполнителя и его достижения не были определяющими при раздаче премий на конкурсах. Правда, в ту пору нарыв «музбизнеса» только-только начинал вызревать. Минует ещё три с небольшим десятилетия, прежде чем летом 1974 г., в Москве, он не прорвётся наружу, обозначив для пианистов конец славной истории Конкурса им. Чайковского.

До того, как Т. Фидлер завершила курс у Л. Николаева (1938 г), её учитель убедился ещё в одном её таланте – преподавательском, поскольку нередко поручал ей заниматься со своими учениками. Результаты были впечатляющи, и Николаев посоветовал Тамаре Лазаревне закончить аспирантуру, после чего планировал назначить её ассистентом в своём классе.

Фидлер поступила в аспирантуру к Владимиру Владимировичу Софроницкому, по завершении которой, в 1941-м, осталась в Консерватории в качестве не утверждённого ещё официально ассистента Л.В. Николаева.

Выдающаяся по таланту пианистка, уже имеющая имя в Москве и Ленинграде. Будучи не только превосходной пианисткой, но и всесторонне одарённым музыкантом высокой культуры, Тамара Фидлер является также отличным педагогом, ансамблистом и легко и успешно справится с любой задачей в области музыки

Л.В. Николаев. Из заключительного отзыва. 1941 г.

Весной 1941 г. Фидлер приняла участие в концертах аспирантов и молодых педагогов Консерватории, прошедших в Москве и Киеве.

6. В Ташкенте

5 сентября 1941 г. в Ташкент прибыл эвакуационный поезд с коллективом Ленинградской Консерватории.

В противоположность подавляющему большинству учителей и студентов, расселённых в непосредственной близости от здания Консерватории, Л.В. Николаев был поселён ректоратом на самой окраине города. Пожилой человек

проделывал путь на работу и обратно на велосипеде. В городе было голодно, у Николаева развилась дистрофия.

Н.Е. Перельман рассказывал мне, что однажды Николаев, не удержав на велосипеде равновесия, упал в слякоть. Из-за сильных ушибов он оказался прикованным к постели. Вскоре Леонид Владимирович стал жертвой брюшного тифа, эпидемия которого охватила тогдашний Ташкент. Врач Николаева, Вениамин Львович Левинзон, стал быстро добиваться успеха. Леонид Владимирович начал поправляться и с радостью принимал у себя в больничной палате многочисленных посетителей. Однако 11 октября 1942 г. он скончался от внезапного осложнения – менингита.

«Обидно было, что буквально через несколько месяцев в Ташкенте стали появляться сульфамидные препараты, которые смогли бы спасти жизнь Леонида Владимировича», – писал Александр Львович Соковнин, ученик Николаева.

Первого ноября, на концерте памяти Л.В. Николаева, состоялось последнее публичное выступление Фидлер-солистки. На афише она ещё числится аспирантом. Мы подошли к ответу на вопросы, во-первых, почему столь самобытная, «выдающаяся по таланту пианистка» (Николаев) оставила стезю сольного исполнительства, а во-вторых, как могло произойти, что та, кому Леонид Владимирович, фактически, завещал свой фортепьянный класс, не стала преподавателем рояля на кафедре сольного фортепьяно даже по окончании аспирантуры.

Под формальным предлогом – аспирантура была Фидлер завершена – ректор консерватории изгнал её из вуза. Ташкент военного времени был городом бесхлебным, и П.А. Серебряков, уволив Фидлер, «на законном основании» лишил её продовольственной карточки. С той поры и до конца эвакуации три женщины – Тамара, её мать и её тётя – стали, как тогда говорилось, «жить на одну карточку», которую получала Цецилия Моисеевна.

Там же, в Ташкенте, закончил десятилетку по классу виолончели Бениамин Фёдорович Морозов. Он был вызван с товарищами-выпускниками в военкомат, откуда их привезли на вокзал для отправки на Сталинградский фронт. Однако к тому часу эшелоны уже были переполнены, и молодым людям дали недельную отсрочку.

В Консерватории уже существовал военно-морской факультет, подобный факультету Московской Консерватории, готовившему дирижёров и инструменталистов для войск сухопутных. Вскоре после начала войны студенты военно-морского факультета были отправлены на фронт, где многие из них погибли. Остальных музыкантов направили в Ташкент, где для восстановления факультета был произведён внеочередной набор. Инструменталисты-выпускники Десятилетки автоматически, без вступительных экзаменов были зачислены на факультет. Так Б. Морозов стал студентом Консерватории. После соответствующей, в т. ч., военной подготовки факультет планировали вновь отправить на фронт – чего, в итоге, не произошло.

Спустя некоторое время, на этот факультет была принята аккомпаниатором Тамара Фидлер. Знакомство с Б. Морозовым стало началом творческого, а вскоре и семейного ансамблей.



Б.Ф. Морозов

К тому времени у Тамары Лазаревны уже был опыт читки с листа, столь необходимый как для работы в

дирижёрских классах, так и для игры в камерных ансамблях. Она вспоминала о годах своей юности:

Большую роль для меня сыграла встреча с преподавателем аккомпанемента Музыкального Техникума Марией Афанасьевной Федотовой, которая пробудила во мне интерес к искусству ансамбля. Под её влиянием я начала посещать вокальные классы, где аккомпанировала... всем подряд. Научилась играть с листа и разбираться в незнакомом материале различных стилей.

Из радиопередачи.

По возвращении в Ленинград Т. Фидлер некоторое время вела в Консерватории класс т.н. «общего фортепьяно», затем – класс аккомпанемента и, наконец – камерного ансамбля. С той поры, в течение почти пяти десятилетий она совмещала концертную деятельность ансамблиста с преподаванием камерного ансамбля в Консерватории.

8. Ансамбли

Разумеется, нелепо в разговоре о содружествах такого рода сосредотачиваться лишь на исполнителе фортепьянной партии. К тому же, понять особенности каждого из ансамблей трудно потому, что в одних случаях сохранились записи, а в других – таковых сделано не было; в одних случаях тот или иной ансамбль играл долгие годы, а в других – оказался событием, относительно кратковременным.

Последнее касается дуэта *Михаил Вайман – Тамара Фидлер*. В течение шести лет их выступления были радостными событиями в музыкальной жизни послевоенного города.

М.И. Вайман обучался в классе профессора Юлия Ильича Эйшлина. Помимо этого, он находился под профессиональной и едва ли не отцовской опекой Натана Перельмана, до войны выступавшего в дуэте с Мироном Полякиным. Наконец, те из ещё живущих музыкантов, которые играли с Т.Л. Фидлер, а также множество её учеников, помнящих методы её работы, с лёгкостью вообразят себе, сколь существенное влияние на становление

Михаила Израилевича оказывала в те годы его работа с Фидлер, которая, к тому же, была и старше, и опытнее его. Консерваторская среда, как водится, пристально следившая за успехами (а также и за поражениями) своих, как сейчас бы сказали, «звёзд», наблюдала, сколь быстро зрел талант юного скрипача. В итоге, в самом начале 1950-х Вайман стал лауреатом двух крупных международных конкурсов. Хотя провести границу между степенью влияния на молодой талант одного или другого наставника невозможно, но молва тесно связала профессиональный взлёт М. Ваймана с именем Т. Фидлер – что произошло, разумеется, без малейшего участия самой Тамары Лазаревны, наделённой чрезвычайной скромностью и тактичностью. Увы, суждение молвы, склонной к категоричности и преувеличениям, вызвало ревность Эйдлина.

Когда Тамара Лазаревна ушла в декретный отпуск, Эйдлин стал озвучивать коммюнике, что две такие фамилии, как *Вайман и Фидлер* не могут соседствовать на одной афише. Это прозвучало в нужном месте и в нужное время – на дворе стоял 1952 г. Слова Эйдлина возымели эффект, и когда Фидлер, дав рождение Танечке³ возвратилась к работе, Вайман уже играл с другой пианисткой.



На этом снимке М. Комиссаров и Т. Фидлер – на фоне портретов двух неопознанных композиторов XX в. – предположительно, мастеров камерного жанра.

³ Татьяна Вениаминовна Морозова (1952-2009).

Впрочем, в итоге образовалось два новых, превосходных дуэта, каждый из которых, да простится мне истёртая фраза, составил яркую, незабвенную страницу в истории исполнительства Ленинграда: Михаил Вайман – Мария Карандашова и Марк Комиссаров – Тамара Фидлер.

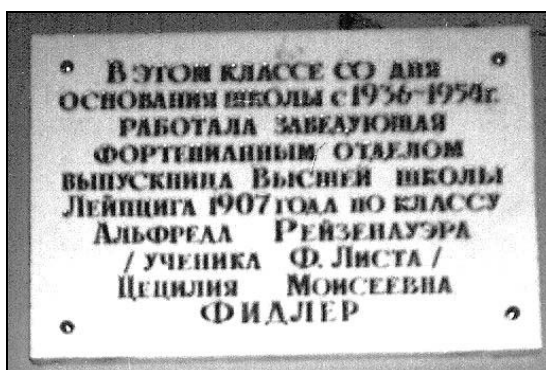
Скрипачка Нелли Бердичевская, ученица и коллега Фидлер, собрала ряд записей этого дуэта, начиная с Венгерского танца № 1 Брамса (транскрипция Й. Иоахима).

Сотрудничество Фидлер с Комиссаровым длилось пятнадцать лет и было запечатлено множеством грамзаписей. После выступления с М. Комиссаровым на Конкурсе им. Венявского (1957 г.) Фидлер получила диплом «За лучший аккомпанемент». (Диплом этот долго носил в своём кармане Д.Ф. Ойстрах, который, по рассеянности, отдал его владелице лишь много лет спустя).

Д.Ф. Ойстрах и сам, подчас, играл с Т.Л. Фидлер. Впервые это произошло во время его гастролей в Ленинграде, когда скрипачу понадобились репетиции с роялем для предстоящего выступления в Филармонии с Концертом Брамса. С ним стал репетировать пианист, который его не устроил. Тогда администрация Филармонии обратилась к Фидлер – и репетиции прошли, как говорится, «на высоком творческом и идейном уровне».

В 1954 г. скончалась Цецилия Моисеевна Фидлер, немного не дожив до своего 70-летия. С 1936 г. она возглавляла фортепьянный отдел только открывшейся тогда Школы-десятилетки для особо одарённых детей. В конце 1940-х – начале 1950-х на фортепьянном отделении трудились учителя, каждый из которых, по словам Леонида Евгеньевича Гаккеля, был гением детской фортепьянной педагогики: Лия Ильинична Зелихман, Александра Яковлевна Жуковская, Клара Ефимовна Столяр, Раиса Ильинична Шапиро-Савшинская, Эсфирь Израилевна Штейнбок.

Неоценимую помощь в формировании этого воспитательного коллектива Цецилии Моисеевне оказало сражение Кремля с безродными космополитами. В результате сколь самоотверженной, столь и неравной битвы, некоторые из поименованных выше безродных космополиток были низринуты с консерваторских высот в лощину Десятилетки. Лощина сия непрестанно курилась, испуская клубы дыма – чуть ли не весь педагогический состав (за исключением, пожалуй, Ц.М. Фидлер) питал слабость к «Беломорканалу».



Дуэт Бениамин Морозов – Тамара Фидлер выступал многие десятилетия, исполнив в бесчисленных концертах едва ли не весь существующий репертуар для виолончели и фортепьяно. Ряд исполнений сохранился в грамзаписях – в т. ч., несколько сонат Бетховена, Соната Рахманинова, Соната Р.Штрауса.

А.П. Никитин вспоминает:

Исполнение в Филармонии Б. Морозовым и Т. Фидлер Сонаты Рахманинова я не забуду никогда. Едва ли не самое трудное здесь – достичь баланса в звучании инструментов. Редко, кому это удаётся. В основном, верное соотношение зависит от исполнителя партии рояля – очень сложной, с чрезвычайно насыщенной фактурой. Рояль у Тамары Лазаревны звучал как великолепный, совершенный оркестр, он бушевал и неистовствовал, но чудо заключалось

в том, что при этом ни одна нота виолончели не была заглушена.

К сожалению, рецензенты нечасто отзывались на концерты камерной музыки и, в частности, на выступления ансамблей с участием Фидлер. Потому мне представилось уместным привести полностью один из таковых откликов.

Ансамбль высокого класса.

Сонатные вечера с пианисткой Тамарой Фидлер и виолончелистом Бениамином Морозовым привлекают особое внимание ленинградских любителей музыки. Каждое их выступление – весомый вклад в концертную жизнь города, свидетельство больших достижений его музыкально-исполнительской культуры. Продуманность программы, тонкий и безупречный вкус в подборе произведений присущи этому дуэту. С редким проникновением в суть авторского замысла Фидлер и Морозов воспроизводят характер, стиль, мельчайшие штрихи композиции в произведениях разных веков и направлений. На одном из последних концертов присутствовавшие в зале словно переносились в разные музыкальные эпохи: от строгой, этически возвышенной бетховенской классики к тончайшему интеллектуализму пьес Фантазии Шумана, к взволнованному, лирико-драматическому миру музыки Франка. Совершенству ансамбля помогают индивидуальные качества обоих инструменталистов. Тамара Фидлер давно и хорошо известна в музыкальном мире нашей страны, как одна из лучших учениц выдающегося советского педагога профессора Л.В. Николаева, воспитавшего плеяду замечательных пианистов. Её игре свойственны активная внутренняя энергия при подчёркнутой глубине и строгости интерпретации, непреклонная ритмическая точность и, одновременно, свобода романтических тембровых «сдвигов». Особо следует сказать о высокой культуре звукоизвлечения, столь осмысленного, что нередко даже начальные звуки исполняемой пьесы сразу же погружают слушателя в мир поэтических, одухотворённых художественных образов музыки. Говоря об искусстве Морозова, воспитанника прославленной школы профессора

Александра Яковлевича Штримера, следует в первую очередь упомянуть о великолепном, сильном, будто несущемся в пространстве голосе виолончели. Звуки его, кажется, вмещают всю красочно-выразительную шкалу возможностей этого инструмента. В лице Т.Фидлер и Б. Морозова мы имеем сонатный дуэт высочайшего класса, их игра – достойная примера школа ансамблевого мастерства.

С. Левин, доктор искусствоведения. Ленинград. «Советская Культура», 19 декабря 1981 г.

Позволю себе обратить особое внимание на слова о «редком проникновении в суть авторского замысла», об умении воспроизвести «характер, стиль, мельчайшие штрихи композиции в произведениях разных веков и направлений», а также о том, что «присутствовавшие в зале словно переносились в разные музыкальные эпохи...». По отношению к ансамблям с участием Фидлер эти наблюдения исполнены особого значения и подлинности, а подобные слова тогда ещё не девальвировались от раздачи направо и налево. Т.Л. Фидлер и её партнёры обладали тем редчайшим искусством «звукового перевоплощения», которое я бы сравнил с актёрской игрой, свойственной очень немногим мастерам театральной сцены, способным добиться волшебных преобразований без помощи декораций, костюмов и грима.

Мне пришлось однажды быть на концерте, где один известный виолончелист, желая вызвать у публики эффект смены «времен и стилей», перед исполнением каждого из опусов надевал на себя рубашки различных цветов и фасонов. Это «приспособление» оказалось весьма удачным, поскольку публика смогла отличить Бетховена от Стравинского, исключительно благодаря разнообразию гардероба интерпретатора.

9. Театр и музыка

В последние годы своей жизни Д.Д. Шостакович всё больше разочаровывался в современном ему театре. Зачастую он испытывал горечь от постановок, популярных в широких театральных кругах и модных в среде элитарной –

особенно тех, в которых постановщики якобы делали современными якобы устаревших классиков, но в действительности принижали или даже губили замыслы великих драматургов, взамен являя свету свои т. н. «яркие творческие индивидуальности». Так, например, узнав, что принц Датский в спектакле Театра на Таганке выходит на сцену в джинсах и с гитарой, Дмитрий Дмитриевич предпочёл не ходить в театр и остался дома. Он отдал присланный ему билет на спектакль своему близкому другу И.Д. Гликману, гостившему у него в те дни. (Сам Исаак Давидович принуждён был досмотреть спектакль до конца единственно потому, что Григорий Михайлович Козинцев попросил его, по возвращении в Ленинград, высказать своё суждение о постановке).

Или, в другом случае, И.Д. Гликман записал в своём дневнике:

4 апреля [1973 г.], по инициативе Ирины Антоновны, мы втроём отправились в [Ленинградский] Большой драматический театр на спектакль «Мольер»... К сожалению, гениальный и умнейший Мольер выглядит в этой пьесе ничтожной фигурой. Непонятно, зачем Булгакову понадобилась лживая версия о кровосмесительном браке Мольера?

Дмитрий Дмитриевич всё приговаривал: **«Нет, нельзя ходить в театр. Можно ходить только на концерты».** («Письма к Другу», стр. 293).

И действительно – у Бетховена, Шопена, Бриттена или того же Шостаковича, звучащих во всём их величии в филармонических залах, было и есть несоизмеримо большее преимущество перед Шекспиром или Мольером, которым нередко случается быть погребёнными под театральными подмостками. Концертный зал был единственным убежищем для тех, – пусть и относительно немногих – кто в театре или кинозалах часто наблюдал, как лилипуты вяжут по рукам и ногам великанов, кто «виде[л] мощь у немощи в плену».

Какое счастье, что музыку «ставят» учителя, а не режиссеры, не то появилась бы Аппассионата на Таганке, Лунная на Фонтанке и т. д. и т. п.

Натан Перельман. «В классе рояля».

10. С «Танеевцами»

В 1946 г. студент Консерватории Владимир Овчарек создал струнный Квартет Ленинградской Консерватории в составе – В. Овчарек (первая скрипка), Григорий Луцкий (вторая скрипка), Виссарион Соловьёв (альт) и Владимир Познахирко (виолончель). Последнего вскоре сменил Бениамин Морозов. Впоследствии квартет стал именоваться Квартет Ленинградской Филармонии, а с 1963 г. – Квартет имени Танеева. В том же 1963-м Б. Морозов был взят Е.А. Мравинским в свой оркестр, и, после одобрения коллег по Квартету, перешёл на работу в ЗКР вторым концертмейстером виолончельной группы. С 1967 г. постоянным виолончелистом Квартета стал Иосиф Левинзон.

С 1948 г. Тамара Фидлер стала постоянным партнёром Квартета.

Когда человек выступает как солист, интерпретация – его личное дело. Но когда приходится играть в ансамбле, особенно с такой замечательной пианисткой, как Тамара Лазаревна, которая великолепно сама интерпретирует произведения, то тут нужно как-то лавировать. Надо иногда уступать, если какие-то могут быть расхождения, и, если отношения благожелательны, то всегда можно найти общий язык.

Владимир Овчарек. Из радиопередачи, посвящённой Т.Л. Фидлер.

Практически, все классические фортепьянные квинтеты, квартеты, трио и пр. – а также множество камерных сочинений XX в. – были сыграны в бесчисленных концертах – как в Питере, так и во время многократных гастролей, проходивших, по преимуществу, в Москве и Прибалтике (Рига, Таллинн, Тарту, Вильнюс). Фортепьянные квинтеты Дворжака, Шумана, Брамса,

Танеева, Шостаковича, Дивертисмент и Секстет Глинки были записаны на радио и/или на пластинки. С радио-записей удалось сделать копии.

Параллельно Т.Л. Фидлер выступала в концертах с В. Овчарком и Б. Морозовым – как с каждым в отдельности, так и вместе (Трио Ленинградской Филармонии). В частности, ими был сыгран в Большом Зале Филармонии т. н. Тройной Концерт Бетховена.

Мне было приятно, что Концерт этот я исполнял вместе со своими единомышленниками и друзьями-музыкантами Т.Л. Фидлер и В.Ф. Морозовым. [Как и с Тамарой Лазаревной], с Вениамином Фёдоровичем меня связывает очень большой творческий путь, потому что он около 20 лет играл в Квартете имени Танеева, и я очень высоко чту его как замечательного музыканта. Его знают очень и высоко ценят многие крупные музыканты не только Советского Союза, но и многих других стран.

В.Ю. Овчарек. Из радиопередачи, посвящённой Т.Л. Фидлер

В конце 1940-х в Москве проходил конкурсный отбор на Пражский международный конкурс Квартетов. Александр Михайлович Рывкин, легендарный альтист, не входил в состав жюри, но знал, что, согласно полученным баллам, ленинградский ансамбль стал лидером состязания. Однако лидер был смещён, а на первое место вышел Квартет женщин. Это стало результатом давления на жюри со стороны чиновников – о чём также знал Рывкин. Но и после этого ленинградцев в Прагу не пустили. Вместо них на конкурс поехал Квартет из Грузии, завоевавший на отборочном состязании последнее, 12-е место. Отчаявшись добиться справедливости на Земле, декан струнного факультета Ленинградской Консерватории Георгий Степанович Михалёв направил письмо в заоблачные инстанции. Кремль ответил, что решение выездной комиссии диктовалось необходимостью «продвигать национальные кадры». Тогда Михалёв и Рывкин написали

письмо Лучшему Другу Советских Квартетистов. Ответа они не дождались.

Спустя годы, Квартет получил призовое место в Варшаве, где проходил конкурс записей – им была прислана запись Квартета В.Е. Баснера. Сразу после этого Баснер был принят в Союз Композиторов.

В конце 1980 годов Т. Фидлер сыграла концерт в дуэте с Виктором Семёновичем Либерманом в Большом зале Петербургской филармонии. Основу программы составили сочинения С.С. Прокофьева. До своей эмиграции В.С. Либерман долгие годы был первой скрипкой оркестра Е.А. Мравинского, а ко времени упомянутого концерта состоял концертмейстером амстердамского оркестра Concertgebouw.



Планировавшиеся концертные поездки за рубеж с участием Т.Л. Фидлер традиционно отменялись. Однажды она была «снята» с рейса Ленинград-Лондон уже по своём приезде в Пулково.

11.

Вопреки перелому в судьбе, сделанному не столько Свыше, сколько «сверху», под шумок, на фоне отдалённых грохотов страшной войны, Фидлер, посвятив себя

ансамблевому исполнительству, смогла сберечь свои достоинства солистки. Сужу о том и по её исполнениям, и по её словам, сказанным мне однажды: «Чтобы хорошо играть в ансамбле, нужно научиться НЕ слушать партнёра». Для самой Тамары Лазаревны умение «не слушать партнёра» было абсолютно безопасным – настолько органично было для неё существование в ансамбле. Но такое отношение предполагает взгляд на камерный ансамбль как на несколько независимых монологов, сплетающихся воедино велением судеб. И уж, во всяком случае, оно избавляет пианиста от угодливого «обслуживания» амбиций, свойственных, подчас, скрипке, виолончели e tutti quanti при исполнении камерных сочинений.

В этом, думается, и проходит граница между игрой пианиста в камерном ансамбле – и аккомпанементом. О последнем М.В. Юдина говорила:

Здесь определённо присутствует женственная стихия подчинения солисту. Я, кажется, понимаю тайную пружину, психологический корень своего обожания вокалистки – именно подчинение, то есть блаженство, отдых и растворение. Это, разумеется, лишь частица всей суммы причин, почему я не могу жить без этой стихии.

М.В. Юдина. Статьи, воспоминания, материалы. Советский композитор. Москва. 1978, стр. 305

Камерный же ансамбль – по крайней мере, с точки зрения Т.Л. Фидлер – подобное подчинение исключает. Вместо него – «счастливое единение» независимых, равноправных стихий. Впрочем, приведённое выше размышление Юдиной, отмеченное свойственной Марии Вениаминовне печатью самобытности, признаюсь, не во всём ясно мне. По-моему, несправедливо было бы назвать фортепьянные партии в камерных вокальных сочинениях Моцарта, Бетховена, Шуберта etc. аккомпанементом. По крайней мере, не тогда, когда «аккомпанемент» звучал в исполнении, скажем, Джералда Мура или такой изумительной пианистки, подлинной королевы аккомпанемента, каковой была Софья Борисовна Вакман, Сófочка, под чьими пальцами даже, подчас, скромные

партии фортепьянного сопровождения в сочинениях, положим, Беллини или Глинки обнаруживали свою собственную «судьбу». При этом аккомпанемент переставал быть фоном, но, подобно рельефу, выявлял всю полифоническую конструкцию сочинения, сообщая ей красоту и стройность. Несомненно, Фидлер относилась к вокальному «аккомпанементу» так же, поскольку как-то упомянула о пианисте (не назвав его имени), который был способен исполнять самые виртуозные сочинения, однако не смог справиться с «простейшими» вступительными тактами к *Ständchen* Шуберта.

Вернусь к камерному ансамблю. Велик соблазн предложить прослушать различные исполнения одной и той же пьесы, чтобы «посравнить да посмотреть» общности и различия дуэтов-интерпретаторов. Но, памятуя заповедь О. Мандельштама «Не сравнивай: живущий несравним», предложу читателю/слушателю прослушать Финал Ля-мажорной Сонаты Бетховена для виолончели и фортепьяно ор. 69 лишь в исполнении дуэта Б. Морозов – Т. Фидлер.

Для меня лично это исполнение – образец Ансамбля, где оба исполнителя, не поступаясь ни единым бетховенским императивом, достигли идеальной совместности, искусства резкой смены контрастных настроений при сохранении единой пульсации, единого, «сквозного» движения, не препятствуя вольному потоку музыки, ограждённому берегами Классицизма; здесь стремительные шестнадцатые в *Allegro* исполнены рассыпчатым, искрящимся, жемчужным *non legato* – вместо столь соблазнительных и частенько слышимых в иных исполнениях журчащих *legatissimo* (исполняющихся вопреки воле Бетховена); здесь *staccati* над заключающими периоды четвертными нотами не гильотинируют звук рояля, но, будучи исполнены благородства и достоинства, наделяются звуковым «шлейфом» (напр., 2 мин. 13-14 сек.); здесь – та яркость и своеобразие, которые «не бьют по ушам» слушателя, но, лишённые нарочитости, сообщают исполнению редко достижимую, подлинную естественность. Здесь всё полно бетховенской сердечной теплоты и юмора. О техническом совершенстве и прозрачности фактуры – что

столь существенно при исполнении этой части, «где всё наруже, всё на воле» – я уже (как бы) и не упоминаю.

12. В Консерватории

Так же и в преподавании – те свойства педагога сольного фортепьяно, которые столь высоко ценили в Фидлер Николаев и Софроницкий, остались с Тамарой Лазаревной в её занятиях со студентами камерной музыкой. Счастливицы, принятые ею в свой, традиционно перенаселённый, класс, таким образом, обладали сразу двумя педагогами по специальному фортепьяно. Ибо Фидлер учила слышанию музыки и воплощению слышимого с не меньшей строгостью и тщательностью, с не меньшей мудростью и мастерством, чем обучали (или – должны были обучать) студентов их «основные» профессора. Более того – сказанное относится не только к пианистам, но и к тем скрипачам, альтистам, виолончелистам, флейтистам, кларнетистам etc., с которыми составляли ансамбли её студенты. Она досконально знала особенности игры на каждом из инструментов.

Тысячу и один раз писалось, говорилось, пелось и плясалось, что в искусстве не бывает мелочей, что деталь – едва ли не самое драгоценное в нём, что первый враг искусства – «почти». Ибо «почти вместе» означает не вместе, а «почти ритмично» есть неритмично. (Etc.). Фидлер не успокаивалась, пока не добивалась от студентов той или иной точности. Требования её к ученикам были чрезвычайно строги, а слух – беспощадным. Её контроль за малейшей ритмической, звуковой и пр. погрешностями (не желая терять времени понапрасну, она не любила на первых этапах работы прослушивать сочинение в целом, но непременно прерывала играющего «лёгкими аплодисментами», подчас, не дав ему сыграть и такта) способен был привести к отчаянию – причём, требовала она справиться со всем многообразием задач тотчас же, в её присутствии, не доверяя домашней работе ученика. В частности, она могла «увидеть слухом» причину, не позволяющую звуку лететь в

пространство с необходимой свободой – и устраняла эту помеху, обучая студента верно распорядиться своими мышцами.

Любой педагог согласится, что такой метод чрезвычайно рискован. Мне однажды пришлось испытать на себе, как попытка следовать Фидлер в подобной дотошности не привела к успеху одного из её подражателей. То, что было захватывающим процессом в занятиях с нею, становилось тупой зубной болью «в исполнении» иного из её ассистентов. Сама Тамара Лазаревна, по-видимому, обладала каким-то секретом, поскольку даже самых нетерпеливых учеников что-то удерживало от того, чтобы сдаться.

Её придирчивость основывалась на убеждённости, что ученику всё подвластно, и, кроме того, на занятиях витала какая-то невысказанная, скрытая атмосфера едва ли не детской игры. Говоря «это – не вместе, правда?» или «это – неритмично!» или «а почему здесь неровно?» и пр., она нередко улыбалась и даже разражалась своим неповторимым смехом, слегка склонив голову набок и заглядывая в глаза ученику или, в поиске поддержки своему наблюдению, обводя взглядом находящихся в классе студентов (коих всегда было предостаточно). Словно это она сама допустила ошибку, словно сама опять промахнулась, не попав мячом прямоком в корзину – и засмеялась над собой.

Требуемая Фидлер одновременность игры первых же совместных звуков была невозможна, если музыканты за секунды до этого не смогли ощутить единую для них пульсацию, исходящую от безмолвного нотного листа, но, с другой стороны, и общего пульса невозможно было достичь, вступив вразнобой. Т. о., преодоление одной трудности влекло за собою разрешение прочих разнообразных проблем.

Кстати сказать, опытное ухо с лёгкостью различит ансамбль подлинный от quasi-ансамбля, от формального совместного музицирования даже замечательных солистов. Всё дело – в совместности дыханий, вступлений, пульсаций,

музыкального мышления и пр., – всего того, что, как показывает практика, не столь легко и часто достижимо.

Прозанимавшись весь семестр первыми двумя страницами сочинения, оставшиеся страницы Фидлер уже доверяла студентам освоить самостоятельно: «Дальше – тот же Брамс!».

13. Рассудок и чувства

Во время занятий ей были свойственны предельная ясность и краткость мысли; поистине научная точность указаний. Она направляла усилия студента на непрестанное, самое внимательное «вчитывание» в разнообразные знаки, запечатленные композитором в клавише, воспитывала его умение, прежде всего, услышать увиденное в нотах – и осознать это. Чтением нотного текста, которое обязано быть предтечей его прочтения, она владела с мастерством, не устававшим восхищать.

Иные педагоги достигают внушительных результатов, апеллируя не столько к мысли, сколько к ощущениям студента. Но Фидлер к таковым не принадлежала. Чувства зыбки, они норовят измениться или даже вовсе испариться, но точно найденная мысль никуда из головы не исчезнет и, к тому же, станет источником самых разнообразных ощущений, открыв, заодно, простор для интуиции. Вот и Н.Е. Перельман советовал: «Сначала – думайте, а потом уже чувствуйте!». Впрочем, излишне говорить, что и думать нужно с умом.

Сколь предательским бывает чувство, читатель увидит из нижеследующей повести, не имеющей отношения, впрочем, к проблемам камерного ансамбля.

Роман Иринархович Тихомиров – в ту пору главный режиссёр театра оперы и балета им. Кирова – рассказал мне (передаю вольно, однако за содержание ручаюсь):

«Во-первых, запомните: никогда не спорьте с актёром, особенно если у него есть звание. Я как-то ставил в Кировском «Бориса Годунова». Репетирую сцену в Боярской Думе. Годунова поёт Борис Тимофеевич Штоколов. Я

прошу его сесть на трон. Он какое-то время сидит, но вдруг поднимается и говорит мне: «Я не стану сидеть!» – «Почему?» – «А я так не чувствую!». Если бы я настоял на мизансцене, то Борис Тимофеевич сразу после репетиции позвонил бы в Смольный – и меня в Кировском только бы и видели! Поэтому я сказал: «Повторим всю сцену сначала, а Вы, Борис Тимофеевич, пожалуйста, пойте стоя, коли Вы так чувствуете». Когда сцена закончилась, я сказал ему: «Это очень хорошо! Я-то раньше думал, что Вы, монарх, сидя в присутствии стоящих бояр, тем самым возвышаетесь над ними. Но Ваша трактовка глубже и оригинальнее. У Вас Годунов – царь демократический. Бояре стоят – и Вы стоите. На равных. И Вы, как демократ, теперь от артистов хора ничем не отличается. Так и оставим!».

На следующей же репетиции Штоколов сел на трон и не вставал с него до конца сцены».

Читатель, надеюсь, убедился в том, сколь прихотливы, сколь зыбки и переменчивы бывают чувства крупной, ищущей творческой личности!

Кроме того, необходимо заметить, что из-за значительной дистанции, отделяющей исполнителя от публики, даже опытному зрителю, подчас, сложно определить, что именно чувствует актёр. И.Д. Гликман рассказывал, что как-то он был на «Борисе Годунове» в Кировском театре, где сидел рядом с Д.Д. Шостаковичем. Когда Борис в Прологе сообщил залу, что у него «Скорбит душа...», Дмитрий Дмитриевич спросил шёпотом друга: «Как ты думаешь, его душа скорбит?».

14.

Т.Л. Фидлер избегала всяческого рода заклинаний, вроде «Играйте красивым (благородным, поющим и пр.) звуком!». Вместо этого она, зная секрет извлечения такого звука, добивалась его. Игра же самой Тамары Лазаревны отличалась богатейшей звуковой палитрой, особенности которой, боюсь, не в силах передать сохранившиеся записи. Но божественная красота этой палитры вряд ли забудется теми, кто игру эту слышал.

Иван Михайлов, коллега Фидлер (он, впрочем, настаивает, чтобы его называли Ваней Михайловым), ныне

преподающий в Консерватории, до сего дня находится под впечатлением от того, как Тамара Лазаревна в классе сыграла подряд несколько частей различных скрипичных Сонат Бетховена. Хотя перед нею были ноты, но создавалось впечатление, что Фидлер знала всю эту музыку наизусть – с таким совершенством ею были сыграны даже сложнейшие части. Несомненно, её память была безграничной. Например, ещё в конце 1940-х, в Москве, во время исполнения В. Овчарком и Т. Фидлер на конкурсе скрипачей Концерта Брамса в зале погас свет – и несколько последних страниц исполнители сыграли наизусть.

Никогда не произнеся фразу «Любите рояль!», она вызывала любовь к инструменту самым «прозаическим» путём – через ту же презренную технику, к работе над которой, в итоге, студент также начинал испытывать любовь – и, подчас, не без взаимности.

При всех своих обширных знаниях в различных областях, Тамара Лазаревна при работе над сочинением избегала каких-либо внемзыкальных аллюзий и параллелей. Напротив – глубина и разнообразие образов, запечатлённых в произведении, выявлялось ею в занятиях со студентами исключительно через звук, ритм, фразировку, штрихи, аппликатуру etc.

Частенько, занимаясь с Фидлер, мы убеждались в том, что ещё не умеем читать написанное автором – в т. ч., и потому, что находились, подчас, под влиянием каких-то иных трактовок, что глаза и слух наши уже были «замылены». Я вынужден привести один пример, чтобы избежать упрёка в голословии.

Однажды я готовился к прослушиванию в оперный театр, где моим «испытательным экзаменом» должна была стать игра на т. н. спевке Don Giovanni. Разумеется, я изучил уже клавиш вдоль и поперёк. Разумеется, мною уже были не однажды прослушаны и без того давно знакомые и любимые записи оперы, сделанные немецкими и австрийскими прославленными дирижёрами. Однако «я знал, я чувствовал заране», что Тамара Лазаревна откроет для меня что-то, упущенное и этими дирижёрами, и, разумеется, мною. «Моё предчувствие меня не обмануло!».

Началось всё с самого начала, с десяти тактов, предшествующих *Notte e giorno faticar*. Казалось бы, все четвертные ноты, выписанные Моцартом, должны дозвучать до конца, на *tenuto*. (Однако, согласно какой-то традиции, они обычно обрываются, не прожив своей «тенутной» жизни). Казалось бы, следующие за ними восьмые паузы также должны оставаться восьмыми паузами, в то время, как последующие триоли шестнадцатыми (соответствующие восьмой ноте) обязаны быть исполнены, как триоли (соответствующие одной восьмой). Вот и всё, что попросила меня выполнить Фидлер. Вот и всё, что не выполнялось даже такими дирижёрами, как Furtwängler, Fricşay et al. Что уж говорить обо мне, пребывавшем под чарами трактовок как этих, так и иных гигантов! Но, стоило мне исполнить замеченные Фидлер детали моцартовского письма, как вспыхнул комический эффект такой силы, что все присутствовавшие в классе захохотали – да и я сам из-за смеха не сразу смог продолжить игру. Лепорелло ожил каждой складочкой своего характера, и, к тому же, возникла атмосфера ночной, – сколь таинственной, сколь пугающей, столь и комичной – очередной любовной авантюры Дон Жуана. *Dramma Giocoso!* Но ведь всё это двести лет было в нотах. Это не было ни наваждением, ни иллюзией, ни фантазией. Однако драгоценность эта оставалась невидимкой из-за слишком хорошего знакомства музыкантов с различными интерпретациями, из-за «лишнего знания», ставшего преградой между Моцартом – и исполнителями/слушателями.

О подобных (бесчисленных) наблюдениях-открытиях Фидлер в камерной музыке, лишённой «программы», я говорить не стану – всё это раскрывалось перед её слушателями и учениками. Она была одной из немногих, способных научить обладателей ушей слышать – что, конечно, зависело и от самих обладателей.

Самый «изматывающий» урок с Фидлер, тем не менее, неизменно окрылял, в итоге вызывая в душе ученика подлинный катарсис – хотя хвалила она крайне редко, хотя ни тени лести ученику не было в её словах. Что до итоговых выступлений её студентов на экзаменах или в концертах, то,

как мне представляется, молчаливым откликом, читавшимся в её глазах, был – «Вы сыграли хорошо, но в следующий раз сыграете ещё лучше». Ибо сколь тщательно ни было бы подготовлена программа, у студента Фидлер всегда было ощущение, что даже итоговое выступление – лишь шаг на пути к совершенству, *Gradus ad Parnassum*.

15.

Как ей удавалось с полнейшей отдачей, без усталости, в течение, подчас, двух часов позаниматься с каждым из учеников (или с каждым ансамблем) – непонятно. Впрочем, студенты заранее знали, что даже если урок назначен на 4 часа дня, то ничего больше планировать на этот вечер нельзя. Их урок мог начаться и в 10 вечера, и позднее. Часто она оставалась единственным педагогом, из класса которого доносились звуки музыки, когда здание Консерватории уже было погружено во тьму. Тогда она возвращалась домой далеко за полночь. Разумеется, концентрация такой интенсивности нуждалась в разрядке. На моей памяти эти десяти- или двадцатиминутные передышки протекали следующим образом.

В середине какого-либо урока в класс заглядывает кто-то из студентов.

Фидлер (радостно): «О-о-о-о! Привет! (Из сумочки извлекается маленький блокнотик с расписанием). Так... В семь у меня должны быть Виталий с Ирой и Мишей. Но вряд ли все трое придут – у Иры вчера была температура 38, к вечеру упала, а ночью, где-то к двум часам, опять поднялась. А к Виталию приехали мама и бабушка, и он собирался показать им Гостинный Двор и Русский музей. Кстати, в котором часу музей закрывается, не помнишь? А ты можешь подождать до семи? Хотя, лучше не рисковать. В восемь тридцать... Лиля приходит всегда вовремя, но у неё уже три дня болит зуб. Что у меня с рукой? А, пустяки! Это я по глупости слишком долго копалась в огороде на даче и перекопала руку. Врач сказал, что скоро повязку можно будет снять. Кстати, всё забываю тебя спросить – как ты обычно готовишь фарш для... О-о-о-о! Привет! Заходи,

заходи. Что?.. Это только так кажется. В действительности, хотя темп в Весенней сонате у Рахманинова и Крейслера, действительно, сильно качается, но среднее, общее движение ими выдерживается безукоризненно. Вы послушайте внимательно... Ну, если вы оба сможете привести к такому балансу темп, то играйте свободно! На здоровье! Нет, посиди пока здесь или погуляй – я скоро закончу с Квартетом Мессиана, и часика через два... или три... а лучше – четыре можешь приходить. Или лучше, знаешь что, позвони мне завтра утром!».

Однажды мне пришлось быть свидетелем особого ритуала. В перерыве между уроками, о чём-то рассказывая мне, Фидлер из той же сумочки извлекла некий шарообразный предмет, обёрнутый доброй дюжиной белоснежных салфеток. Шаром оказалось громадное яблоко, покрытое алой кожей. Эту кожуру Тамара Лазаревна долго полировала первой из салфеток. Затем в ход пошла вторая салфетка, которая привела и без того сиявший фрукт, к ещё большему сверканию. То же было проделано с яблоком салфеткой № 3. После того, как вся дюжина (если не больше) этих салфеток была истощена, а само яблоко можно было показывать на ботанической выставке, поместив его за пуленепробиваемое стекло, Тамара Лазаревна достала маленький перочинный ножичек, которым принялась освобождать яблоко от многострадальной кожуры! Последнее, что я успел увидеть, была отрезанная тем же ножичком яблочная долька: не объяснившись, я пулей выскочил из класса, чтобы унять слёзы, ручьём хлынувшие из глаз моих.

16.

О кафедре камерного ансамбля и аккомпанемента, которой обладала Ленинградская Консерватория в годы преподавания Фидлер (я говорю о времени, предшествующем 1980-м годам – с кафедрой 1980-х и далее я, в целом, знаком не был), мог бы мечтать любой музыкальный вуз мира. В этих словах нет ни малейшего преувеличения, и это было ясно всем уже тогда. Помимо того, что все педагоги кафедры были музыкантами

большого таланта и опыта – и, притом, в большинстве своём, музыкантами концертирующими – но сама атмосфера была чрезвычайно доброжелательна для каждого из студентов, в чьём бы классе он ни учился. Удачно сыгранный кем-либо зачёт или экзамен, казалось, воспринимался каждым из педагогов собственной победой. Но это – тема особая, и если кому-нибудь придёт в голову воссоздать портретную галерею тогдашней кафедры, то, в случае удачи, перед читателем предстанет парад необыкновенных личностей, каждая из которых обладала своей неповторимой «физиогномией» – как в творчестве, так и в быту. Так было, на моей памяти, тогда, когда во главе кафедры находилась Мария Николаевна Базыкина, так оставалось и в течение нескольких лет после её безвременной кончины. Я же очень сожалею, что даже простое перечисление прекрасных и славных имён того уникального сообщества утяжелит мой, и без того затянувшийся, спич. Вынужден ограничиться фотоснимком, запечатлевшим лишь нескольких членов кафедры (конец 50-х – нач. 60-х гг.).



Слева направо. Сидят: И.А. Кугучёва, Р.С. Чернوبرова-Левина, М.В. Карандашова, А.М. Штример, М.Н. Базыкина, Ф.И. Фондаминская. Стоят: неустановленное лицо, Г.И. Ганкина, Т.С. Самойлович, Т.Л. Фидлер, С.Б. Вакман, неустановленное лицо (предположительно, лаборант кафедры), Т.А. Воронина

Она ни разу не пожаловалась на свою судьбу, ни разу не бросила упрёка в адрес кого-либо, не сказала ни единого дурного слова о своих коллегах. Музыкальный слух и понимание аудитории – было тем единственным, к чему она обращалась с концертной сцены.

А, кстати говоря, не пойму я, каков толк от публичных выяснений отношений, от смелых вызовов, бросаемых «музбизнесу» и прочим монстрам, давно присосавшимся к искусству, если подобные выпады, во-первых, заведомо безрезультатны и, помимо этого, часто напоминают «разборки» наследников тех, у кого некогда было теневое влияние – с теми, кто у власти сегодня?

Хотя в 1960-70-х годах Т. Фидлер неоднократно проходила конкурс на звание профессора, она ни разу этим званием наделена не была. Казалось, ей была уготована участь «вечного доцента». Однако этой «вечности» наступил конец, когда ректором Консерватории стал Владислав Александрович Чернушенко. А.П. Никитин вспоминает:

Как-то, в разговоре с Чернушенко, я сказал, что мне стыдно быть профессором в то время, как Тамара Лазаревна Фидлер до сих пор – доцент. И вскоре она, наконец, стала профессором.



Т.Л. Фидлер

В 1990-х Т.Л. Фидлер был вручён орден «Знак Почёта», а Б.Ф. Морозов стал Заслуженным артистом Республики.

О её уходе из вуза пишет Дмитрий Ерёмин: «Она по-царски ушла из консерватории, хотя могла бы до конца работать – с учениками бы проблем не было. Но как повезло тем, кто успел у неё учиться!».

Она совсем недавно ушла из жизни, пережив мать на несколько месяцев.

Я знаю немало пианистов, приезжавших из разных городов и весей в Торонто, чтобы позаниматься с Фидлер. Помогала она безотказно, с радостью и абсолютно бескорыстно – знание, что она по-прежнему необходима, было для неё достаточной наградой. Она была одним из тех редких учителей, о ком невозможно сказать «бывший».

Последние несколько лет Тамара Лазаревна тяжело болела и предпочитала никого, кроме членов своей семьи, не видеть. Исключение было сделано лишь для её подруги Фаины Брянской (Boston, USA), бывшей ученицы Фидлер, изумительного детского педагога, которая, к тому же, обладает искусством врачевания.



Т.Л. Фидлер и Ф.Д. Брянская

Брянская была способна облегчить многие физические страдания Тамары Лазаревны. В частности, Фидлер несколько десятилетий страдала от сильного артрита, на пальцах её образовались бугры – что причиняло ей боль при игре.

Врач в Петербурге, взглянув на её руки, не поверил, что она – пианистка. Но Фидлер спасло, в т. ч., её многолетнее «хобби» – она могла часами составлять различные варианты аппликатуры для того или иного пассажа, занося их столбиком в тетрадки. Поэтому, наблюдая и слыша, с каким совершенством Тамара Лазаревна справлялась с самыми сложными фрагментами какого-либо сочинения, никому не приходило в голову, что её вообще может что-либо стеснять.

За неоценимую помощь в написании этой статьи автор её сердечно благодарит Бениамина Фёдоровича Морозова, а также Нелли Исааковну Бердичевскую (Mannheim, Bundesrepublik Deutschland), Леонида Евгеньевича Гаккеля (Санкт-Петербург, Россия), Елену Медведеву, автора и ведущую радиопередачи, посвящённой Т.Л. Фидлер (Санкт-Петербург, Россия), Виссариона Ефимовича Соловьёва (Санкт-Петербург, Россия), Николая Николаевича Сомова (Toronto, Canada), Иосифа Зусьевича Фридмана (Edmonton, Canada).



Йеѓуда Векслер

Драма апостазии

Литературная редакция: Юрий Вайс

בס"ד

*Главное – чтобы именно мнение окружающих не
делать своей путеводной звездой и чтобы как в
жизни, так и в творчестве неуклонно идти своим
путем и не давать ни провалам стягивать себя вниз
ни руководить собой рукоплесканиям.*

Густав Малер

Оглавление

I. «Тернистый путь»

«Глухая чаша».

«Входной билет в европейскую культуру»

Цена апостазии

«Загадочное здание»

Эрзац иудаизма

II. Симфония жизни

Жизнь симфонии

«Из дней юности»

«Первозданный свет»

«Восходящая последовательность всего сущего»

«Небесная жизнь»

Трилогия безысходности

Veni creator spiritus

Прощание

Девятая

«Гиперсимфония»

III. Катарсис

IV. Приложение

I. Примечания музыковеда

II. Нотные примеры

1. «Тернистый путь»

Чем обязана Европа евреям? – Многим, хорошим и дурным, и прежде всего тем, что является вместе и очень хорошим, и очень дурным: высоким стилем в морали, грозностью и величием бесконечных требований, бесконечных наставлений, всей романтикой и возвышенностью моральных вопросов, – а следовательно всем, что есть самого привлекательного, самого обманчивого, самого избранного в этом переливе цветов, в этих приманках жизни, отблеском которых горит ныне небо нашей европейской культуры, ее вечернее небо, – и, может быть, угасает...

Ницше



врейский поэт Авром Суцкевер рассказывает в книге воспоминаний о Виленском гетто¹, что в 1943 году один из нацистских «искусствоведов» (да сгинет его имя), руководивший разграблением ИВО (Еврейского научно-исследовательского института) в Вильно и художественных музеев, так выразился о Марке Шагале: «Вот художник, который обьевреил все искусство Европы». Из Торы мы видим, что гой и заклятый ненавистник Израиля может сказать о евреях столь возвышенные и верные слова, что они ставят его в один ряд с величайшими пророками². Так и в этом случае: гой и заклятый ненавистник Израиля произнес те слова, которые поостереглись бы сказать (и тем более написать) искусствоведы (тем паче евреи). Но это дает нам право повторить эти слова и, слегка изменив их, применить к

¹ А. Суцкевер. Виленское гетто (идиш). Москва, изд. «Дер Эмес», 1946, с. 190.

² Мы имеем в виду Билеама (см. Бамидбар, гл. 23-24).

Густаву Малеру: «Вот композитор, который обьевреил всю симфоническую музыку Европы».

В самом деле: при сравнении творчества Малера и любого крупного композитора XX века, как правило, выявляется или влияние Малера (прямое или, по крайней мере, косвенное), или предвосхищение им позднейших новшеств. Незачем говорить о так называемой ново-венской школе (Шёнберг, Веберн, Берг): произведения ее представителей являются прямым продолжением (и развитием) музыкальных идей последних симфоний Малера (а Шёнберг буквально преклонялся перед Малером и, посвящая ему свое «Учение о гармонии», назвал его «священным»). Также излишне называть Шостаковича, музыка которого зачастую может вызвать подозрение в прямом подражании; но линейная полифония Хиндемита, особенности оркестровой фактуры Прокофьева, трагичность симфоний Онеггера – разве не обнаруживают явной связи с открытиями Малера? И не явно ли «отталкивание» Стравинского: намерение осуществить малеровские идеи, но иными средствами? Например: мистики природы «Весны священной» – от Третьей симфонии («Пробуждение Пана»), взгляда на мир детскими глазами «Байки про Лису, Петуха, Кота да Барана» – от последней части Четвертой, экстатичности «Симфонии псалмов» – от Восьмой...³ И сама «Симфония псалмов», и «Новые псалмы» Шёнберга, а позже – Тринадцатая и Четырнадцатая симфонии Шостаковича, Шестая и Восьмая симфонии Моисея Вайнберга – разве их жанр не был создан «Песней о Земле»? Разве не ясно, что в первом Скерцо из Десятой симфонии Малер предвосхитил метро-ритмические эксперименты Стравинского в «Весне священной», а в Скерцо Пятой – идею «Вальса» Равеля? А в появлении джазовых элементов в поздних сочинениях последнего – не напрашивается ли аналогия с пресловутыми «банальностями» и

³ Впрочем, в «Диалогах» с Робертом Крафтом Стравинский сам говорит об огромном впечатлении, которое произвел на него Малер-дирижер, о своей любви к его Четвертой симфонии, о том, что его собственный «Эдип» продолжает «немецкую линию», проходящую через Малера...

«вульгарностями» Малера? И разве первая часть той же Четвертой симфонии – не самый ранний опыт неоклассицизма?⁴

Но, в отличие от Шагала, в произведениях Малера отсутствуют явные обращения к еврейской тематике. Более того: то, что бросается в глаза, – это исконно (на первый взгляд) немецкое и христианское (правда, далеко не ортодоксальное). И наша задача – показать зияющее расхождение между подлинно еврейским мышлением Малера и избранным им образом жизни. Здесь – ключ к пониманию драмы его жизни и причин, приведших его к гибели.

«Глухая чаща»

*Именно мои «успехи» и доставляют мне
горе, потому что непонимание начинается
еще раньше, чем мне дадут что-то сказать.*

Малер

Есть словцо, что XIX век начался в 1789 году, а закончился в 1914-м. Если воспользоваться этим примером отсчета времени по событиям первостепенного значения, то можно сказать, что музыка XX века началась потенциально с 1888 года, года написания Первой симфонии Малера, практически – с 1889, года ее исполнения (закончившегося полным провалом), а фактически – с 1895, когда Рихард Штраус исполнил в Берлине три части Второй симфонии и прозвучали первые голоса одобрения. Три года Первая симфония пролежала, дожидаясь повторного исполнения, так что уже на этом примере видна принадлежность Малера к XX веку: написание произведений «в стол» стало в этом столетии типичным явлением. Правда, конечно, что и раньше случалось подобное: например, Моцарт так и не

⁴ См.: D. Pistone. G. Mahler et M. Ravel in: Neue Mahleriana. Essays in Honour of H.-L. de La Grange on his 70-th Birthday, 1997, где указываются линии, ведущие от Малера также к Эльгару, Пуччини и др. См. также: Berndt W. Wessling. Gustav Mahler. Prophet der neuen Musik. München, 1980; J.J. Sheinbaum. Timbre, Form, and Fin-de-siècle Refractions in Mahler's Symphonies (doctor's thesis), 2002.

услышал своей концертной симфонии для духовых инструментов и трех своих последних симфоний, Бетховен – своего скрипичного концерта, Шуберт – большей части своей инструментальной музыки. Но в те времена такое было все же исключением⁵. Однако в XX веке это сделалось почти правилом. Так и первое большое произведение Малера для четырех солистов, хора и оркестра (с еще одним дополнительным за кулисами) – «Жалобная песня» – было публично исполнено лишь через 21 год после написания, его первый вокальный цикл – «Песни странствующего подмастерья» – только через 12 лет после окончания в рукописи. Второй симфонии еще «повезло»: законченная в 1894, она была исполнена уже на следующий год (хотя, как упоминалось, лишь частично), однако Третья, написанная в 1896, шесть лет ждала своего первого исполнения (в полном виде), Пятая и Шестая – по два года каждая, Седьмая и «Песнь о Земле» – по три, Восьмая – четыре, а Девятая была впервые исполнена уже после смерти автора, через три года после своего создания. «Если бы Вы знали, какой "тернистый путь" выпал на долю мне как сочинителю; если бы видели все эти отказы, разочарования, даже унижения, непрерывно повторяющиеся вот уже десять лет, когда мне приходилось запирать в письменный стол произведение за произведением по мере того, как они возникали, когда я, если мне вопреки всем препятствиям удавалось поделиться ими, наталкивался на одно только непонимание...», – писал в 1895 году композитор в письме одному музыкальному критику, выражая благодарность за его положительный отзыв об исполнении первых трех частей Второй симфонии⁶. Лишь благодаря своей профессии дирижера Малер время от времени получал возможность исполнить свои произведения – иначе им пришлось бы ждать десятки лет, чтобы стать услышанными (подобно симфониям учителя Малера, Брукнера⁷). Но еще в 1878 году, при

⁵ В случае с Бетховеном – он сделал затем переложение этого концерта для фортепиано и сам исполнил его.

⁶ Г. Малер. Письма. Воспоминания. М., 1964, с. 167.

⁷ Правда, игнорирование произведений Брукнера имело не чисто музыкальную, а «музыкально-политическую» причину: Брукнер

окончании Малером Венской консерватории, дирижер отказался исполнять его первое симфоническое произведение, и пришлось срочно писать поверхностную фортепианную сюиту, которая именно по причине своей слабости получила первую премию. А затем – начались годы скитаний «странствующего подмастерья» – время, когда нужно было «все человеческое мужество, чтобы пойти против вражды и презрения»⁸.

В 1880 году Малер закончил «Жалобную песню» и представил ее на соискание «бетховенской премии», учрежденной «Венским обществом друзей музыки» для выпускников Венской консерватории. Жюри состояло из музыкальной элиты Вены: в него входили композиторы Иоганнес Брамс и Карл Гольдмарк, знаменитый музыкальный критик и музыковед Эдуард Ганслик, дирижеры Ганс Рихтер, Вильгельм Герике и профессор композиции Венской консерватории Иоганн-Непомук Фукс, директор консерватории Йозеф Хелльмесбергер... Даже спустя много лет Малер сетовал, что если бы это жюри присудило ему «Бетховенскую премию» в 600 гульденов, вся его жизнь приняла бы другой оборот и он не был бы «приговорен к этой адской жизни в театре»⁹. Однако «премию за лучшую композицию» получил господин, чье имя ныне знают лишь самые пытливые исследователи биографии Малера, а сам он был вынужден принять свой

был решительным сторонником Вагнера в «браминской» (то есть стоящей на стороне Брамса) Вене.

⁸ Г. Малер. Письма. Воспоминания, там же.

⁹ Там же, с. 533.

Однако стоит сказать слово оправдания: невозможно представить себе, чтобы то жюри «браминов» смогло увидеть это сочинение таким, каким оно видится нам в ретроспективе всего творчества Малера: оценить первые мощные побеги его стиля сквозь явное влияние Вебера и раннего Вагнера, своеобразие драматургии этого произведения с буквально кинематографическими сменами планов. Слишком решительно «Жалобная песнь» порывает с устоявшимися традициями, но и не является по-настоящему органически новым жанром: на взгляд того времени, она уже не кантата и не оратория, но и еще не опера – какая-то странная бесформенная фантазия...

первый ангажемент на должность второго капельмейстера в театре югославского города Лайбаха (нынешней Любляны). С этого началась его «беспрестанная борьба с ветряными мельницами»¹⁰ – борьба с ремесленничеством и посредственностью за истинное искусство, борьба, вызывавшая у его коллег в лучшем случае недоумение или насмешливую улыбку, а у него – отнимавшая все силы и время, которые он страстно желал отдать творчеству. «Часто, когда я сам загораюсь и хочу увлечь, воодушевить их, я вижу удивленные лица этих людей, вижу, как они с понимающим видом улыбаются друг другу. И на короткий миг моя бурлящая кровь застывает, и хочу навсегда убежать отсюда. Одно лишь чувство, что я страдаю ради моих великих мастеров, что, может быть, я все-таки смогу забросить хотя бы искру их огня в души этих бедных людей, закаляет мое мужество. В лучшие часы я даю себе обет сохранить любовь и все перенести – даже вопреки их насмешке», – так описывал Малер другу свою работу в опере¹¹. За 16 лет он переменял семь мест работы, мечась из страны в страну – правда, каждый раз завоевывая все более высокую ступень в иерархии музыкальной культуры: после Лайбаха – Ольмюц (ныне Оломоуц) в Чехии, за ним – Кассель в Германии, Прага (опять Чехия) и Лейпциг (опять Германия), затем – директорство в оперном театре Будапешта (Венгрия) и, наконец, должность первого капельмейстера в Гамбурге (снова Германия). Как правило, уход с предыдущего места работы сопровождался конфликтами и даже скандалами (за исключением Праги, откуда Малер должен был уехать вопреки своему желанию, принуждаемый ранее заключенным договором с Лейпцигом), близящееся окончание очередного ангажемента было связано с мучительными опасениями не найти нового; но более всего точила композитора постоянная боязнь, что «крылья [его творчества], которые постоянно бездействуют, в конце концов неизбежно отнимутся»¹². Прибывший в январе 1884 года на гастроль в Кассель Бюлов не обратил

¹⁰ Там же, с. 169.

¹¹ Там же, с. 111.

¹² Там же, с. 167-168.

никакого внимания на отчаянное письмо «какого-то там» второго дирижера; правда, спустя 9 лет он преподнес Малеру лавровый венок, украшенный надписью: «Пигмалиону гамбургской оперы», – но, тем не менее, при выборе своего преемника предпочел иную кандидатуру. Услышав в Будапеште «Дон-Жуана» под управлением Малера, Брамс, вопреки всем своим обыкновениям, выразил горячее восхищение и одарил его дружескими отношениями; Чайковский, прибывший в Гамбург для постановки «Онегина», был поражен талантом «неизвестного дирижера» и назвал его «просто гениальным»¹³; в 1892 году гастроль Малера в Лондоне с операми Вагнера и «Фиделио» имели бурный успех... Однако все время растущее признание Малера как дирижера заслоняло и умаляло ценность его собственного творчества. «Когда я сыграл ему мою "Тризну"»¹⁴, с ним случился припадок нервного ужаса; он заявил, что по сравнению с моей пьесой "Тристан" – просто гайдновская симфония, и жестикулировал при этом, как сумасшедший», – так с горьким юмором описывал Малер попытку познакомить Бюлова со своей музыкой¹⁵. Премьеры трех первых симфоний каждый раз вызывали скандал (и даже потом, когда репутация Малера как великого дирижера уже стала неоспоримой, при первом исполнении Четвертой в 1901 году в Мюнхене вспыхнули жестокие споры, а на ее премьере в Вене в 1902 году дело чуть не дошло до драки между сторонниками Малера и его противниками¹⁶). «Вокруг меня – глухая чаща, и я пробираюсь через нее, с треском ломая сухие сучья жалкого существования»¹⁷, – писал Малер своему другу только через год после окончания консерватории, и положение это не изменилось, в сущности, в течение почти всей его жизни.

¹³ П.И. Чайковский. Письма к близким. М. 1955, с. 506.

¹⁴ Так Малер сначала называл 1-ю часть 2-й симфонии.

¹⁵ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 149.

¹⁶ Там же, с. 471. То же самое произошло на первых исполнениях этой симфонии в Берлине и Франкфурте.

¹⁷ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 98.

Но тогда, в годы работы в Гамбурге, выход из этой невыносимой для Малера ситуации он видел в возвращении в Вену, и появившаяся в 1897 году надежда получить должность главного дирижера в венской придворной опере заставила его предпринять колоссальные усилия ради осуществления этой возможности. Впервые в жизни он решился поступиться своими принципами – в частности, запустить сложный механизм знакомств и протекций (подробней о том, чем он пожертвовал и чего ему это стоило, – ниже). Но желаемый успех был достигнут, и так началось десятилетие его триумфов в первую очередь как дирижера и постановщика, а затем постепенно пришло признание Малера и как композитора – сначала в Австрии и Германии, позже – во всей Европе. Наконец-то он испытал и личное счастье: в 1902 году за него вышла замуж «красивейшая девушка Вены»¹⁸, младше его на 19 лет, у него родились две прелестные дочки – Мария и Анна, или «Путцель» и «Гукерль» («Чистюлька» и «Глазастик», как он ласково называл их). Было покончено с материальной нуждой: его доходы позволили ему построить собственную виллу, позже – даже купить личный автомобиль... После переезда в Вену его собственное творчество получило мощнейший взлет, результатом которого явились семь законченных симфоний (включая «Песнь о Земле») и три вокальных цикла (в сопровождении оркестра).

Но... удивительный парадокс: если три симфонии, созданные в течение первых 15 лет его творчества – самого мучительного времени в жизни композитора, – каждая на свой лад выражают оптимистическую веру в конечное торжество добра и высшей справедливости, то произведения венского периода – казалось бы, поначалу счастливого во всех отношениях – одно трагичнее другого. Правда, не было недостатка во всевозможных атаках со всех сторон и по самым различным поводам; в конце концов оркестр Венской филармонии, где Малер, кроме своей работы в опере, стал главным дирижером, устроил ему форменную обструкцию,

¹⁸ Бруно Вальтер. Тема с вариациями. Воспоминания и размышления. Исполнительское искусство зарубежных стран, вып. 4, Москва, изд. «Музыка», 1969, с. 168.

в придворных кругах был изобретен повод избавиться от этого «тирана и диктатора», и, наконец, в 1907 году Малер был вынужден подать в отставку... Однако новым было то, что если раньше необходимость отстаивать свои позиции вызывала в Малере прилив новых сил и упрямой решимости бороться, то теперь его охватила странная апатия – настолько противоречившая его страстной натуре, своим импульсивным энтузиазмом оказывавшей воздействие даже на равнодушных ко всему музыкальных ремесленников, что вызвала почти панику у ближайших друзей композитора. Ранее «его жизнь казалась вечным круговоротом сил: он отдавал их искусству и от искусства получал их назад обновленными. В [первые] годы его директорства в Вене я всегда (...) видел его свежим, вдохновенным, заряженным энергией», – вспоминал Бруно Вальтер¹⁹. Теперь – «мы еще слушали в столь низко павшей придворной опере "Валькирию" (...) – может быть, самый совершенный спектакль с тех пор, как люди помнят этот театр: о таком воплощении оперы можно было только мечтать. Буря оваций бушевала вокруг Малера...», но – «публику благодарил усталый человек»²⁰. Сам повод для отставки был ничтожным, «но это была только капля, переполнившая сосуд», – пишет Бруно Вальтер далее. Незадолго до своего ухода Малер со свойственной ему меткостью дал ему наглядный пример своего положения. «Раскачиваясь на одних передних ножках кресла, он говорил: "Если бы я хотел остаться сидеть, мне было бы достаточно откинуться назад и прочно опереться: так я мог бы закрепить свое место. Но я не оказываю сопротивления и в конце концов сползу вниз"»²¹.

Из этих слов как будто бы следует, что Малер действовал вполне сознательно, отдавая себе полный отчет в своем поведении и следствиях, которые оно неминуемо должно было повлечь за собой. Иначе говоря, крах надежд, которые он ранее связывал с Веной, он принимал безропотно, словно признав его справедливость. В своем

¹⁹ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 469.

²⁰ П. Стефан. Могила в Вене – там же, с. 504.

²¹ Б. Вальтер. Густав Малер (портрет) – там же, с. 475.

последнем интервью перед отъездом из Вены он заявил журналисту: «Я сложил с себя должность, когда нашел, что она несовместима с моей совестью художника...» Не блеснула ли искра былой гордыни в этой обтекаемой формулировке? Но – затем последовало многозначительное добавление: «...Может быть, и другие обстоятельства сыграли свою роль, ускорив мое решение».

Что же так надломило его? И что означает это упоминание о «других обстоятельствах» – кроме художественных?

Нет никакого сомнения в том, что огромное воздействие оказала на него смерть его старшей дочери (названной именем его матери), всего лишь пяти лет от роду, в том же 1907 году, и начавшийся разлад в отношениях с женой. Но это было только началом бедствий, обрушившихся на Малера в последние четыре года его жизни, а создается впечатление, что еще раньше он уже был внутренне готов к ним. Несчастья не явились для него внезапно: он заранее предчувствовал их и принял с покорностью. Однако для того, чтобы объяснить это, нам необходимо еще раз проследить жизненный и творческий путь Малера – но уже в другой плоскости.

«Входной билет в европейскую культуру»

*Я считаю еврейскую расу прирожденным врагом
человечества и всего благородного на земле.*

Рихард Вагнер

Густав Малер родился в 1860 году в маленьком местечке Калиште в Чехии, но в самый год его рождения семья переехала в город Иглаву, где прошли первые 15 лет его жизни. 1875 год – начало его обучения в Венской консерватории сразу в трех классах: композиции, фортепиано и гармонии, одновременно – окончание иглавской гимназии экстерном, а позже – занятия в Венском университете.

Малер этих лет – многократно описанный в художественной и мемуарной литературе тип еврейского студента: первый ученик, неизменно получающий премии

при переходе на следующий курс, постоянно занятый побочными заработками, чтобы не быть обузой для родителей, проявляющий поистине безграничную доброту по отношению к друзьям-соученикам: делится с ними заработанными деньгами и посылками из дому, одному – отдает свое новое зимнее пальто, другому – оплачивает прокат пианино...

Одной из главных причин (а возможно, и самой главной причиной) того, что Малер начал «дурацкую художественную деятельность ради денег»²², была необходимость поддерживать младших братьев и сестер и больных родителей (которые умерли один за другим позже, в 1899 году), и за это он взялся, проявив потрясающую моральную мощь. Отречение от творчества, от малейшей личной свободы, полный контроль над своим временем, абсолютное самопожертвование... Чего это ему стоило, видно из его писем. «Каким чужим и одиноким кажусь я себе порой! Вся моя жизнь – сплошная тоска по дому»²³. Боль, отчаяние, гнев, горькая ирония, печаль... Одной только жалобы мы не обнаруживаем в известных нам письмах Малера, и это удивительно до чрезвычайности. Еврей, остающийся евреем, и к тому же отстаивающий свои художественные убеждения с непримиримостью, доходящей до яростной агрессивности, навязывающий свою волю эгоистичным и капризным артистам, прежде всего должен был бы столкнуться с антисемитизмом. Тем более – в Германии тех времен.

«Культе германской расы, возникший в Германии в начале XIX века, стал феноменом, не имевшим аналогий в других странах: среди различных вариантов европейского национализма, соперничавших в области возбуждения массовой экзальтации, ни один не принял подобную животную форму»²⁴. В немецкой метафизике сложилось новое отношение к христианству, которое, якобы, первоначально было «ответвлением благородного

²² Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 165.

²³ Там же, с. 133 – из письма к другу, Ф. Лёру, от 1886 г.

²⁴ Л. Поляков. История антисемитизма. Эпоха знаний. «Гешарим», Москва-Иерусалим, 1998, с. 180.

буддизма» (то есть, религией сугубо арийской), но позже – «искажено из-за своего смешения с догмами иудаизма» (как писал подхвативший эту выдумку Вагнер)²⁵, а как альтернатива ему – началось возрождение древнегерманского язычества. «Первооткрывателем» этого представления стал Шопенгауэр, оторвавший «новый завет» от «старого» и связавший его с буддизмом: «Подобно плющу, который в поисках поддержки обвивается вокруг грубо вырубленной подпорки, (...) но сохраняет свою собственную жизнь и красоту, (...) так и христианское учение, рожденное индийской мудростью, покрыло собой древний, совершенно чуждый ему ствол грубого иудаизма». Таким образом, по мнению этого философствующего невротика (оказавшего, тем не менее, огромное влияние на умы своих современников), первостепенной задачей было очищение христианства от «иудейского зловония», под которым он подразумевал веру в то, что Творец – добр, а человек обладает свободой воли²⁶.

Короче говоря, более чем за 100 лет до зарождения гитлеровского движения была заложена, фактически, вся основа нацизма. Германская избранность, прославление немецкого языка, воспевание германской крови и расы, возрождение древнегерманского язычества – вот темы, постоянно варьируемые в немецкой поэзии и философии XIX века. Мечта об объединении Германии, состоявшей из 32 мелких королевств и герцогств, лозунги «свобода» и «революция» парадоксальным образом приняли откровенно шовинистический характер. Как результат, эмансипация евреев, провозглашенная в начале века в период французской оккупации Германии, оказалась весьма шаткой и неоднородной. Так, если в Пруссии отношение к евреям оставалось более-менее либеральным, то в Саксонии до 1848 года продолжали действовать ограничения, принятые еще в средние века; в особенности в католических германских государствах возможность занять хоть сколько-нибудь заметный пост для еврея была исключена. Но та же самая

²⁵ Там же, с. 142.

²⁶ Там же, с. 224.

эмансипация сделала ассимиляцию евреев несравненно более легкой, чем в предыдущем веке, чем те и не преминули воспользоваться. К середине века евреи (как правило, крещенные) наводнили все так называемые «свободные профессии», в Берлине из них еще в 20-х годах возникла интеллектуальная элита, позже во главе зарождающегося социалистического движения также встали евреи-ренегаты (выкресты и атеисты). Но, в противоположность этому, в области финансов неограниченными монархами продолжали оставаться банкиры из семьи Ротшильдов, упрямо державшиеся за веру предков.

Однако антисемиты, как правило, не видели существенного различия между евреями различных вероисповеданий и убеждений. «Я еще никогда не встречал ни одного немца, который любил бы евреев», – писал в конце XIX века Ницше²⁷. Тем не менее, самыми яркими германскими патриотами оказывались именно ассимилированные евреи, а в своих высказываниях о традиционном иудаизме они стремились перешеголять самых отъявленных антисемитов-гоев. Их мазохизм может послужить темой небезынтересного исследования в области социальной психиатрии.

Ярчайшей фигурой, стоявшей в самом центре всех этих псевдофилософских, общехудожественных и узкомузыкальных, театральных и общественно-политических хитросплетений откровенно антисемитского толка, был Рихард Вагнер. Уникальным образом он был признан пророком не только в своем отечестве, но и во всей Европе, а для своих адептов он стал чем-то еще большим: своего рода священным идолом, вызывавшим благоговение,

²⁷ Там же, с. 222.

Себя-то Ницше считал исключением из этого правила, а в обосновании своего мнения едко обрушился на немцев. И правда: он ненавидел не евреев, а еврейство, обзывая христианство «зловонным иудаизмом (то есть неким химическим производным от иудаизма) с его раввинизмом и суевериями». – См.: С. Цвейг. Фридрих Ницше, гл. «Открытие юга» (Собрание сочинений в шести томах, Тула, «Гриф», 1994, т. 6, стр. 363).

служению которому было высшей честью, которую только можно было заслужить на земле, а отлучение от которого было горше смерти. И именно вокруг него еврейский мазохизм достиг наивысшего градуса.

Антисемитская ярость Вагнера выплеснулась впервые в 1850 году, когда он опубликовал пространную статью – настоящую диссертацию – под названием «Иудейство в музыке»²⁸. Избрав в качестве мишени Мендельсона-Бартольди и не обращая внимания на то, что тот был христианином уже во втором поколении, Вагнер выставил его в качестве образца всех ненавистных ему качеств еврея-художника: холодности, проистекающей от безразличия к проблемам остального человечества, чисто формального отношения к музыкальной форме и средствам музыкальной выразительности, недостатка естественности и т. п. и потому не способного «оказать на наши души того всеохватывающего воздействия, какого мы ждем от искусства». Чрезвычайно желчно описывая вырождение современной ему Европы, Вагнер утверждал, что причиной этого является «иудейское господство» во всех кругах общества, обладающих властью или сколько-нибудь сильным влиянием. Ту же самую причину он называл, говоря о кризисе в европейском искусстве: «Искусство иудаизировано... Самая неотложная задача состоит в освобождении от иудейского господства». Подготавливая почву для своей оперной реформы, Вагнер едко критиковал современную оперу, в которую некий «знаменитый композитор» привносит, якобы, черты «синагогальной службы» и «открывает нам специфику иудейства в музыке». «Из внимательного рассмотрения тех фактов, которые мы смогли узнать во время поисков причин нашего непреодолимого отвращения к еврейскому духу, вытекают доказательства *бесплодности нашей эпохи в области*

28 В оригинале – «Das Judentum in der Musik»; но, по нашему мнению, наиболее соответствует намерению автора тот перевод, который в свое время сделал В.В. Стасов: «Жидовство в музыке» (в статье, которая, впрочем, является чрезвычайно резким возражением Вагнеру).

музыкального искусства»²⁹. Читателю было совершенно ясно, что имелся в виду Мейербер (ведь Мендельсон не писал опер), однако в той работе имя его Вагнер так и не назвал, так как в то время Мейербер продолжал оказывать ему мощную поддержку, – и моральную, и финансовую, и практическую. (Зато уже на следующий год, 1851, в следующем трактате, «Опера и драма», излагавшем программу реформы оперы, Вагнер перестал себя ограничивать и, более не скрывая имени Мейербера, подверг его уничтожающей критике именно как композитора-еврея).

Для нашей темы важно, что Вагнер не видел никакого различия между евреями, остававшимися верными вере своих предков, и евреями, изменившими ей, так как в основе его подхода лежал не традиционный для Европы теологический принцип, а новый, основанный на идее врожденной дефектности определенных человеческих рас (в основном, еврейской, славянской и негритянской). «Образованные евреи, – писал он там же, – приложили все усилия, которые только можно себе вообразить, чтобы освободиться от характерных черт своих вульгарных единоверцев: во многих случаях они даже считали, что достижению их целей может способствовать христианское крещение, которое смывает все следы их происхождения. Но это рвение, которое никогда не приносило всех ожидаемых результатов, приводило лишь к еще более полной изоляции образованных евреев».

В заключение своего «трактата» Вагнер обратился непосредственно к евреям с совершенно недвусмысленной угрозой: «Подумайте о том, что существует единственное средство снять проклятие, тяготеющее над вами: искупление Агасфера – уничтожение!»³⁰. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Гитлер (да сгинет имя его!) увидел в Вагнере не только модель совершенного немца, но дошел даже до такого отождествления себя с ним, какое можно было бы назвать убежденностью в

²⁹ Курсивные выделения в цитатах – всегда автора цитаты.

³⁰ Цитаты из «Иудейства в музыке» приведены по ук. соч. Л. Полякова, с. 206-207.

перевоплощении³¹. Да и стиль его программного манифеста «Майн кампф» – это же стиль «Иудейства в музыке»: с такой же «убедительной» аргументацией, основанной главным образом на ругани и поношении!

В свете этого представляется, на первый взгляд, совершенно непостижимым, что среди исповедовавших культ Вагнера было столько евреев, и евреев выдающихся: директор пражского оперного театра Анджело Нойман (в 1884 протянувший руку помощи Малеру), получивший от Вагнера монополию на постановки «Парсифаля» вне Байрейта; пианист-виртуоз Йозеф Рубинштейн, выразивший абсолютное согласие с положениями «Иудейства в музыке» заявлением, что ему остается только выбор между самоубийством и искуплением «под сенью Учителя», и чья преданность Вагнеру в конце концов действительно выразилась в самоубийстве на его могиле; дирижер Герман Леви, сын раввина, которого Вагнер называл своим alter ego, – единственный, которому он доверил партитуру «Парсифаля»; знаменитый пианист Карл Таузиг и фабрикант Бернгард Лезер – творцы и исполнители проекта байрейтского театра; музыкальный критик Генрих Поргес, «старейшина вагнерианцев». И даже финансовыми делами попечительского совета в Байрейте заправлял еврей – банкир Кон. Волны этого мазохизма докатились даже до писателя Бертольда Ауэрбаха, твердо стоявшего, в общем, на позициях традиционного иудаизма: свое отношение к «Иудейству в музыке» он выразил в одном письме словами, которые можно резюмировать примерно так: «Что-то, безусловно, в том есть...»³².

³¹ См. там же, с. 213-214.

³² Там же, с. 210. Заметим, что примерно такими же словами германская интеллигенция реагировала на (казалось бы) необъяснимый успех гитлеровской пропаганды.

Л. Поляков объясняет это удивительное явление общим «неврозом эпохи», из-за которого вагнеризм так же, как позже гитлеризм, стал «общеевропейским феноменом» (там же, с. 216, 213). «Притягательность антисемитов для ассимилированных евреев может питаться из разных источников: в их глазах этот враг может казаться наделенным специальными полномочиями для

Тем не менее, необходимо признать, что вагнерианство было в то время огромнейшим соблазном, против которого в той или иной степени не устоял никто из настоящих музыкантов. Вагнер открыл новые широчайшие горизонты, указал перспективы синтеза различных жанров и даже видов искусства, доказав плодотворность этого направления собственным творчеством, чрезвычайно расширил выразительные и изобразительные возможности музыки... Неудивительно поэтому, что и Малер, также ассимилированный еврей, стал страстным вагнерианцем.

Еще в 1875 году, вскоре после поступления Малера в консерваторию, в Вену приехал Вагнер для постановки своих опер, и с этого времени начался великий раскол между «браминами» (сторонниками Брамса) и мгновенно возникшим и быстро распространившимся почти на всю Европу «Вагнеровским обществом». Так что еще с того времени Вагнер стал одним из кумиров Малера – наряду с Бахом, Бетховеном и Брукнером. Чтобы услышать, как тот дирижирует собственной музыкой, вскоре после окончания консерватории Малер «совершил паломничество» в Байрейт, и в течение всей своей жизни в своей дирижерской практике Малер декларировал «вагнеровское credo»: дирижирование есть искусство, а не ремесло. Во время же своей работы в оперных театрах Малер вел отчаянную борьбу за осуществление вагнеровского учения о

выдачи особого сертификата патриотизма или неиудаизма», – пишет он (там же, с. 210). Но на самом-то деле – причину того, что еврей, отошедший от Торы, испытывает необъяснимый страх и потому инстинктивно стремится заручиться одобрением тех, в чьих руках (как ему представляется) – сила, указывает сама Тора. Книга «Дварим» предсказывает, что за нежелание еврея служить Всевышнему наказанием ему будет служение ложным богам в изгнании: «И будешь служить там иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои» (28:64), трусость: «И в тех народах не обретешь ты покоя... и даст Г-сподь тебе там сердце пугливое, и тоску безысходную, и боль душевную» (28:65), а главное – невозможностью увидеть истину: «Поразит тебя Г-сподь безумием, и слепотой, и сердечной потерянностью, и будешь ходить наощупь в полдень, как наощупь ходит слепой во тьме» (28:28-29).

музыкальной драме как слиянии всех искусств в одном произведении при использовании всего комплекса выразительных средств каждого из этих искусств, возникающего под управлением единого руководителя. Книги Вагнера, переписка Вагнера были его постоянным чтением: «Какое бы мрачное настроение у меня ни было, оно исправляется, стоит мне только вспомнить о Вагнере!»³³.

Тем удивительнее, что, глядя на Вагнера (если можно так выразиться) «в упор», Малер не замечал его ненависти к евреям – то есть, в их числе и к нему, Малеру, самому. Более того, согласно воспоминаниям Бруно Вальтера (по-видимому, более трезво относившегося к Вагнеру), «Малер не переставал гневно защищать его от "филистерских упреков" в неблагодарности и неверности и объяснял его человеческие недостатки свойственной гению поглощенностью собственным творчеством»³⁴. Так стоит ли удивляться тому, что Малер игнорировал германских антисемитов, далеких от музыкального искусства?

Можно попытаться объяснить этот феномен особой позицией Малера как художника, стоявшего выше любой национальной принадлежности, – как еврейской, так и немецкой, – художника, который вполне мог бы сказать: «Мое отечество – "не мир, а искусство и собственная душа, которая носит в себе свое одиночество"³⁵». Этим он ярко отличался от очень многих своих единоплеменников, претендовавших на то, чтобы быть более немцами, нежели урожденные немцы. Например, Гейне: буквально захлебываясь от «любви» к Германии и всему немецкому, он к месту и не к месту расписывался в своей «немецкой» национальности. Различие между ним и Малером очень ясно проявляется на примере их отношения к собранию германского песенного фольклора «Волшебный рог мальчика». Малеру он был чрезвычайно близок по духу своей наивной поэтичностью, юмором, иной раз доходившим

³³ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 518.

³⁴ Там же, с. 442.

³⁵ Слова Б. Вальтера о Малере. Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 470.

до гротеска, трагичностью, спрятанной под внешней неприязнательностью (так же, как и поэзия Рюккерта). Поэтому в течение всей своей жизни он обращался к этому сборнику как к неисчерпаемому источнику текстов для своих вокальных произведений. Песни из «Волшебного рога» звучат в его Второй, Третьей и Четвертой симфониях, в вокальных циклах «Четырнадцать песен и напевов из времен юношества» и «Семь песен последних лет», а один из них – «Двенадцать песен из "Волшебного рога мальчика"» – целиком строится на текстах этого сборника. Однако у Малера никоим образом не акцентируется немецкое происхождение этой поэзии, которая, по его словам, «может быть названа не искусством, а скорее природой и жизнью – источниками всякой поэзии»³⁶. В отличие от него – для Гейне она была образцом именно немецкого духа: «Слышно, как в этих песнях бьется сердце немецкого народа. Здесь раскрывается вся его сумрачная веселость, весь его насмешливый разум. Здесь грохочет немецкий гнев, здесь посвистывает немецкая насмешка, здесь одаряет поцелуями немецкая любовь. Здесь, как жемчуг, сверкает неподдельное немецкое вино и искренняя немецкая слеза»³⁷.

Таким образом, раз у Малера «отсутствовала» национальность, его не должны были задевать выпады антисемитов: он мог считать, что они относились как бы не к нему. По той же причине его не трогали антисемитские эскапады Вагнера и Шопенгауэра, которых он горячо любил и ценил. Подобно тому, как в свое время Бетховен отстаивал себя перед знатью, Малер мог считать, что его гений ставит его вровень с этими великими новаторами духа, – тем более намного выше рядовых «арийцев».

Поистине, если человек упрямо отказывается видеть, ему никто не откроет глаза!

Однако если Малер не относил лично к себе ненависть антисемитов, то сами-то антисемиты направляли свою ненависть на Малера совершенно открыто. В течение

³⁶ Там же, с. 257.

³⁷ Генрих Гейне. Романтическая школа. Собрание сочинений в 10 томах, Москва-Ленинград, 1958, т. 6, с. 228.

всего своего творческого пути он и как дирижер, и (в особенности) как композитор постоянно подвергался их нападкам³⁸.

Поэтому представляется правдоподобным, что стремление Малера в Вену помимо художественных причин было порождено также его (пусть даже подспудным) желанием спастись от германского антисемитизма. К концу XIX века столица Австро-Венгерской империи превратилась в своего рода столицу еврейской (ассимилированной) интеллигенции. Достаточно лишь назвать имена Стефана Цвейга, Артура Шницлера, Франца Верфеля, Якоба Вассермана, Зигмунда Фрейда, Йозефа Пoppers, Гвидо Адлера, Арнольда Шёнберга, чтобы представить себе, каких высот достигла тогда культурная жизнь Вены благодаря евреям. Принято считать, что император Франц-Йозеф вполне лояльно относился к евреям (вплоть до того, что ему дали прозвище *Judenkaiser*) и что эта интеллектуально-художественная элита расцвела как бы под его эгидой. Однако приходится напомнить, что именно в период его правления были приняты жестокие декреты, направленные против евреев, остававшихся верными Торе. Приведем только один пример: зажигание субботних и праздничных свечей было обложено налогом, заплатить который в состоянии были лишь зажиточные семьи; если, вопреки императорскому декрету, в бедной семье исполняли эту заповедь Торы, то нередко находился соглядатай, который доносил об этом в полицию, являлись жандармы и отнимали в залог уплаты налога даже постельное белье! Этот пример раскрывает истинный смысл «иудафилии» Франца-Йозефа: его политика была направлена на ассимиляцию евреев: кнут – для исполняющих Тору, пряник – для ренегатов. Поэтому Малер не мог даже надеяться получить должность первого дирижера (тем более – директора) в католической столице все время, пока хотя бы чисто формально оставался некрещеным евреем.

³⁸ См.: Juliane Wandel. Die Rezeption der Symphonien G. Malers zu Lebzeiten des Komponisten. Peter Lang. 1999, Teil II, Kap. 3: Antisemitismus als Rezeptionsaspekt.

Так что здесь он стоял перед парадоксом (которыми и без того была переполнена его жизнь): чтобы ему как еврею можно было найти убежище в «либеральной» Вене от германского антисемитизма, приходилось окончательно распрощаться со своим еврейством (что должно было означать торжество политики Франца-Йозефа).

В свое время с присущим ему цинизмом такое разрешение проблемы Гейне назвал «входным билетом в европейскую культуру». Цинизм здесь проявился, в частности, в замене слова «карьера» словом «культура»: вдохновленный примером своего друга, Эдуарда Ганса, ценой крещения получившего кафедру философии в берлинском университете, Гейне рассчитывал на что-то подобное³⁹. Малер же и не скрывал чисто меркантильно-утилитарного характера подобного шага, но, видимо, все же колебался: в письме к другу от 14 января 1897 года, говоря о том, что путь в Вену прегражден «препятствием из препятствий» — его «еврейским происхождением», — он вообще умалчивает о возможности креститься, но указывает, что в качестве альтернативы Вене «рассчитывает поселиться на некоторое время в Берлине»⁴⁰. В другом письме, уже от середины февраля, он пишет следующие многозначительные слова: «Откровенно говоря, не знаю, должен ли я желать приглашения на эту должность, которая, возможно, *уведет меня в сторону* от моих собственных целей. Но тут я поступаю как настоящий фаталист, то есть

³⁹ Ему также принадлежит такая острота: «Если бы закон позволял воровать серебряные ложки, я бы не крестился». Он, получавший ежемесячное пособие от дяди-банкира, не мог бы прожить, не воруя, если остался бы евреем?!

⁴⁰ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 210-211. Очень примечательно, что Малер в тот момент был согласен даже на «уроки», «лекции» или что-нибудь в этом роде (там же) — лишь бы жить в Берлине.

Но это чрезвычайно удивительно, так как еще в 1880-1881 годах Берлин послужил ареной антисемитского хулиганства, предвосхищающего действия нацистских «штурмовиков», а с 1887 года партия воинствующих антисемитов уже была представлена в рейхстаге (см. Л. Поляков. История антисемитизма. Эпоха знаний, с. 232, 235-236). исп.

больше об этом не думаю и жду, пока вопрос не разрешится сам собою»⁴¹, – не потому ли, что в глубине души чувствовал, что совершает неправильный поступок? Но разве «этот вопрос» мог «разрешиться» без самого Малера?! В апреле того же года Малер упоминает, что приглашение в Вену внесло в его жизнь «прежде всего неслыханное беспокойство и ожидание борьбы», и снова выражает неуверенность, «подходящее ли это для меня место», но вместе с тем радуется, что едет «на родину», и назначает адресату свидание в Вене⁴². Значит, на самом деле «вопрос» практически уже «разрешился» – но то, что Малер снова и снова возвращался к своим сомнениям, показывает, как страдала в это время его еврейская душа... Примечательно также, что в последнем письме из Гамбурга, к своей давней, еще с лет учения в консерватории, приятельнице-скрипачке, он тоже написал о счастье вновь «обрести родину»⁴³ (подчеркнуто Малером). Похоже, он искал дополнительные доводы, чтобы убедить самого себя в том, что «Вена стоит мессы», и что его измена еврейской религии – шаг необходимый и оправданный.

Чем же встретила его «родина»?

Цена апостазии

*Я – тройне лишенный родины: как
уроженец Богемии – среди австрийцев,
как австриец – среди немцев
и как еврей – во всем мире.*

Малер

В том же 1897 году, в год приезда Малера в Вену, столица Австро-Венгерской империи стала первым и тогда еще единственным европейским городом, в котором всеобщие выборы привели к власти антисемитский список, в результате чего и бургомистром Вены стал отъявленный антисемит (который, кстати, был категорически против

⁴¹ Там же, с. 217.

⁴² Там же, с. 221.

⁴³ Там же, с. 222.

приглашения Малера и свое мнение в достаточно резкой форме высказал самому императору). Разумеется, это торжество антисемитов не было внезапным извержением вулкана: еще с 1895 года они уже имели большинство в венском магистрате⁴⁴, а в том же 1897-м 28 их депутатов прошли и в рейхсрат. Эти успехи можно объяснить только горячей поддержкой населения, 43 % которого голосовали за антисемитов.

С другой стороны, еще с 1867 года, когда Франц-Йозеф подарил своим подданным новую конституцию, были отменены все правовые ограничения, опирающиеся на различия в вероисповеданиях. Отныне евреям был открыт путь для овладения любой профессией, и в результате присутствие евреев в Вене стало чрезвычайно заметным. Несмотря на то, что в 1890 году евреи составляли всего 8,68 % от общего населения, все так называемые «свободные профессии» были наводнены ими: венские врачи, адвокаты, журналисты, писатели, музыканты, как правило, были евреями. Однако равноправие также сняло все препятствия для ассимиляции: уже в 1868 году новый закон объявил свободу для смешанных браков, и в результате всего этого Вена быстро заняла первое место в Западной Европе по количеству крещений⁴⁵. Но, как обычно в еврейской истории, именно быстро прогрессирующая еврейская ассимиляция, следствием которой стало «еврейское засилье» в Вене, парадоксальным образом породила вспышку антисемитизма, обратив симпатии нееврейского населения к антисемитской партии.

Так что, приехав в Вену из Германии, Малер попал из огня да в полымя.

Скоро, очень скоро ему это пришлось почувствовать на себе. Националистические и откровенно антисемитские

⁴⁴ Но император Франц-Йозеф дважды (в 1895-96 гг.) накладывал вето на избрание венским бургомистром представителя этой партии (см.: J. Pumpe. Die "Judenfrage" in Wien um die Jahrhundertwende в сб.: R. Ulm. Gustav Mahlers Symphonien. Entstehung. Deutung. Wirkung, 2000 (2-te Hrsg.).

⁴⁵ Еврейская энциклопедия. С.-Петербург, изд. Брокгауз-Ефрон; т. I, ст. «Австрия»; т. V, ст. «Вена».

газеты объявили ему открытую войну. Пресловутая «Райхспост» 14 апреля писала: «В нашем номере от 10 апреля мы привели заметку о личности вновь ангажированного оперного капельмейстера Малера. Уже тогда мы имели представление о происхождении этого виновника торжества и потому остереглись привести что бы то ни было кроме голых фактов об этом неподложном еврее. То, что в Будапеште его так приветствовали газетенки, только подтвердило наше представление о нем...»⁴⁶. «Дойче цайтунг» так реагировала на избрание Малера: «Неужели, кроме Малера, нет другого первого – и именно христианского – дирижера?!», а «прогрессивная» газета «Нойе фрайе прессе» лицемерно жалела «бедную Вену», страдавшую от «политического либерализма с целью проведения политики интеграции». «Иудейское владычество в Придворной опере» – таков был заголовок статьи в той же «Дойче цайтунг», критиковавшей «дирижерское искусство г-на Малера». Когда Малер «осмелился» сделать ретуши в Пятой и Девятой симфониях Бетховена (кстати сказать, в полном соответствии с указаниями Вагнера), начался скандал, тут же переросший в борьбу «за нашего Бетховена», за «истинно немецкое» искусство⁴⁷. Забегая вперед, надо сказать, что подобные нападки преследовали Малера до конца его дней, не оставляя в покое ни его дирижерскую деятельность, ни его творчество – «специфически иудейское», – ни его личность. Газета «Аллдойче тагеблатт», отзываясь на известие о смерти «бывшего дирижера Придворной оперы и Филармонии» – «бравого парии, от иудейства пришедшего к власти», – писала, что его поклонникам она «еще раз дала прекрасный повод отвесить славный подобострастный поклон перед

⁴⁶ Цит. по: A.L. Ringer. G. Mahler und die “condicio judaica” в сб.: G. Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts. Bonner Schriften zur Musikwissenschaft. Referate des Bonner Symposiums 2000, 2001, S. 260.

⁴⁷ Лучшее доказательство того, насколько лицемерным было возмущение этими «искажениями замысла Бетховена», – факт, что после ухода Малера его преемником был избран «ариец» Ф. Веингартнер, также убежденный сторонник ретушей.

Иудейством», а о личности покойного – что он «был, без сомнения, иудейским патриотом и все время, пока жил, жил лишь для Иуды». Произведения же его она именovala «культурным курьезом» и считала «явным преувеличением» мнение, «что они, якобы, должны быть переданы грядущим поколениям»⁴⁸.

Спрашивается, что же Малер выиграл, крестившись?!⁴⁹

Но этого мало: за свое отступничество он еще заплатил тем, что после искусства было ему самым дорогим: семейным счастьем.

*Все самое лучшее и великое мне всегда
приходится встречать в женщинах.*

Малер

Три женщины сыграли заметную роль в жизни Малера. С первой из них связан «любовный эпизод», относящийся к 1884-1885 годам, который послужил толчком к написанию «Песен странствующего подмастерья» и Первой симфонии⁵⁰. Второй была Анна Мильденбург – певица, в 1895 году (в возрасте 23 лет) принятая в гамбургский оперный театр, которым руководил тогда Малер. На первой же пробе он оценил ее выдающееся дарование и стал уделять ей особое внимание, найдя в ней внимательную и преданную ученицу. Она, как позже вспоминала, «верила ему, верила той прекрасной, безусловной верой, возникновение которой нельзя объяснить и причин которой нельзя назвать; такая вера живет, пока время и обстоятельства не приведут ей на смену осознанную волю идти вместе к единой цели. Благодаря

⁴⁸ Все вышеприведенные цитаты из немецких и австрийских газет – по: J. Wandel. Die Rezeption der Symphonien G. Malers zu Lebzeiten des Komponisten., Teil II, Kap. 3: Antisemitismus als Rezeptionsaspekt, S. 231-233.

⁴⁹ Заметим, что Гейне тоже просчитался, рассчитывая получить в Германии какие бы то ни было выгоды от своего крещения, но, в отличие от Малера, его эмиграция во Францию отодвинула для него проблему вероисповедания на самый задний план.

⁵⁰ См.: Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 188, 121-122.

моей вере, моему инстинктивному чувству все, что он делал, было для меня единственно верным и истинным»⁵¹. Естественно, что очень скоро отношения ученика и ученицы превратились в гораздо более близкие: Мильденбург стала невестой Малера. Но... не более того: до брака дело так и не дошло. Причина этого приоткрывается в воспоминаниях композитора Йозефа-Богуслава Фёрстера, который в те годы был ближайшим другом Малера. Женатый на очень высоко ценимой Малером певице гамбургской оперы, он ясно понимал (и в особенности ясно увидел однажды, когда Малер посетил их дом), что тот тосковал «по нежному женскому сердцу, которое было бы готово во всякое время разделить с ним радость и горе». Однажды он прямо заговорил с Малером об этом, но тот, явно смутившись, сначала попытался отмолчаться, а потом сказал, что на свете нет такой женщины, которая согласилась бы стать его женой. «Я не мог ни понять его, – пишет Фёрстер, – ни согласиться с ним», и тогда Малер высказался более определенно. «Прежде всего, – сказал он, – подумайте о том, что я не выношу вида неопрятной, непричесанной, небрежно одетой женщины. Затем: одиночество для меня важнее всего, все в моем творчестве зависит от него. Таким образом, моя жена должна согласиться, чтобы я жил далеко от нее: например, она в первой, а я в шестой комнате с отдельным входом. Она должна согласиться и с тем, чтобы появляться у меня в установленное время, всегда со вкусом одетой и красивой. Наконец, она не имела бы права не только обижаться на меня, но и вообще замечать какую-либо отчужденность, холодность или упадок настроения, если иной раз у меня просто не будет ни малейшего желания видеть ее. Короче говоря, она должна бы обладать качествами, которых не найдешь у самой лучшей и самоотверженной женщины»⁵².

Обладала ли ими Анна Мильденбург? Малер, безусловно, вызывал у нее глубокое восхищение и был крайне важен для нее как учитель музыкального искусства,

⁵¹ Там же, с. 408.

⁵² Там же, с. 374-375.

но, по всей видимости, она не была готова самозабвенно поступиться своими чувствами и художественными интересами ради того, чтобы дать ему возможность творить свободно. Сохранилось письмо Малера, в котором он пытается ей объяснить, что значит для него сочинение музыки, – в ответ на ее жалобу, что он уехал на слишком долгое время, оставив ее одну. «...Но я тебе уже писал, – внушает ей Малер, – что работаю над большим произведением. Неужели ты не понимаешь: это требует человека целиком, и часто уходишь в работу так глубоко, что для внешнего мира как бы умираешь... Становишься, так сказать, только инструментом, на котором играет вселенная. Я уже часто объяснял тебе это, и ты должна все принять, если и в самом деле понимаешь меня. Знай, что это должны были запомнить все, кому приходилось жить со мною... В такие минуты я больше не принадлежу себе. Создатель такого произведения терпит страшные родовые муки, и нужно, чтобы прошло немало часов, прежде чем в его голове все уляжется, придет в порядок и потом забродит. В эти часы и становишься рассеянным, погружаешься в себя, умираешь для внешнего мира... Моя симфония должна стать чем-то таким, чего еще не слышал мир!»⁵³. Впрочем, и после разрыва они остались добрыми друзьями: уехав в Вену, Малер прислал ей письмо о своем дебюте в качестве главного дирижера Придворной оперы, а в 1898 году Мильденбург была ангажирована в ту же самую венскую Придворную оперу и пела в ней до 1917 года, стяжав себе мировую известность. Когда в 1907 году Малер был вынужден подать в отставку, то, кроме общего письменного обращения к «уважаемым сотрудникам по Придворной

⁵³ Там же, с. 201.

Если верить воспоминаниям Альмы Малер (состоящих, впрочем, в основном из сплетен и злословия о других включая Малера и рождественских сказочек о себе самой), то инициатива в разрыве с Мильденбург исходила от самого Малера, утомленного чрезмерными притязаниями певицы на исключительное место в его жизни, для нее же – это было связано с очень сильными переживаниями. (См.: A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe. Wien, 1949, S. 20, 43.).

опере», он написал Мильденбург отдельное письмо, в котором подчеркнул, что для него она занимает *«совсем особое место»*⁵⁴.

Но, спрашивается, как к этому относилась молодая жена, Альма Малер?

«Прекрасная, утонченная женщина, воплощение поэзии. Взгляд загадочно-глубоких глаз как бы проникает в недостижимые сферы мечтаний: сказочные глаза, окутанные таинственной, манящей грустью»⁵⁵, – так описывает ее Фёрстер, также переехавший из Гамбурга в Вену. Исполнилось его предсказание Малеру, высказанное во время их разговора о возможности брака: что едва только Малер влюбится, как тотчас забудет все свои «условия». Из писем к Альме до женитьбы видно: он искренне полагал, что нашел в ней родственную душу, перед которой может раскрываться полностью, не опасаясь даже тени непонимания. В ней сконцентрировалось для Малера все, что он считал себе родным, воплотилось «все, что принадлежит мне и чему принадлежу я» (как он писал ей из Львова в начале 1903 года): «Так сладко иметь Родину, и этой Родиной лишь *один* человек может быть для меня: Ты!»⁵⁶. Однако Фёрстер так и не смог избавиться от сомнений: «...Умела ли она заботиться об этой душе, проникать в нее, вливать в нее восторг, умерять снедающий эту душу пламень, взлетать вместе с нею ввысь, поддерживать ее в часы уныния и усталости?..»⁵⁷.

В качестве иллюстрации понимания Альмой Малер музыки ее мужа и его самого приведем лишь три примера. В

⁵⁴ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 279.

⁵⁵ Там же, с. 387.

⁵⁶ A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 284. Альма приводит свидетельство о том, что перед отъездом в Америку Малер сказал их общей знакомой: «Я же беру мою Родину с собой: мою Альму, моего ребенка. (...) Альма принесла мне в жертву десять лет своей молодости. Никто не знает и не сможет когда-нибудь узнать, с какой абсолютной самоотверженностью она подчинила свою жизнь мне, моему делу. С легким сердцем я совершаю с ней мой путь». – Ibid. S. 411.

⁵⁷ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 387.

первой части Пятой симфонии она услышала... только малый барабан⁵⁸. Ужасающий «топот чугунный», которым начинается вторая (как, впрочем, и первая) часть самой страшной из симфоний Малера, Шестой, в интерпретации Альмы – изображение игр их маленьких дочек на песочной площадке. Написание «Песен об умерших детях» вызвало у нее суеверный страх, а когда через три года, в 1907 году, действительно умерла от скарлатины и дифтерита их старшая дочь, Альма обвинила мужа в том, что это он «накликал несчастье»⁵⁹.

В начале пребывания Малера в Вене усиленно распространялись слухи о его чудовищной развращенности: что он, мол, не пропускает ни одной хористки, и т. п. Уже выйдя замуж за Малера и убедившись, что до женитьбы он вел жизнь настоящего аскета, Альма так и не смогла полностью избавиться от подозрений – в частности, относительно отношений ее мужа с Анной Мильденбург (о которой она неизменно пишет в своих воспоминаниях с нескрываемой неприязнью). «Малер и я были очень ревнивы друг к другу, – признается она. – Вначале я – больше, чем он. Я ревновала его к его прошлому, которое я, в моей неосведомленности, считала очень предосудительным. Он ревновал меня к моему будущему...» (как мы увидим, не без основания), и без ложной скромности Альма заключает: «...И это я теперь могу понять»⁶⁰.

А она – как она воспринимала необходимость для ее мужа полностью отрешаться от мира ради сочинения музыки, когда много времени подряд он проводил в

⁵⁸ A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 95: «Я побежала, громко плача, домой. Он пришел после меня. Долго я не хотела говорить. Наконец, я сказала, всхлипывая: "Ты же написал симфонию для ударных!"».

⁵⁹ Ibid. S. 91-92.

Вызывает крайнее удивление, что до конца своей очень долгой жизни (она дожила до 1964 г.) г-жа Альма продолжала считаться экспертом № 1 по музыке Густава Малера и что ее одобрение исследований или интерпретаций его произведений считалось высшей апробацией.

⁶⁰ Ibid. S. 79-80.

специально построенном для него «рабочем домике», вдали от всех? И как она относилась к его долгим отлучкам?

Косвенный ответ мы получаем из его писем. В первой половине 1907 года Малер много времени провел в гастрольных поездках, и в письмах, которые он слал жене, впервые возникают мотивы меркантилизма. Никогда до тех пор тема заработка не возникала в его письмах – несмотря на необходимость помогать многочисленным родственникам и по временам настоящую нужду. Но теперь Малер особо останавливается на том, как много денег платят ему за концерты: он словно утешает жену тем, что его отсутствие обернется большим прибытком. И – *nota bene!* – он просит ее написать ему хоть несколько строк своей рукой (вместо присылки телеграмм) и робко упрекает за молчание⁶¹. В письмах же друзьям из Нью-Йорка, куда он вместе с женой направился после ухода из Придворной оперы, финансовая тема уже становится лейтмотивом, имеющим даже оттенок некоторого хвастовства.

Для понимания этой метаморфозы следует остановиться на одном из них: письме к профессору Гвидо Адлеру от 1 января 1910 года. Дело в том, что еще осенью того же рокового 1907 года Малера настигло новое несчастье. Врач поставил диагноз, приведший Малера в ужас: тяжелое заболевание сердца. Потрясение, испытанное им, имело своей главной причиной паническую боязнь за свое музыкальное творчество. Он получил строжайшее предписание радикально изменить образ жизни: тщательно избегать перегрузок, остерегаться сделать даже один лишний шаг. О длительных прогулках и восхождениях в горы, во время которых он привык обдумывать новые сочинения, теперь не могло быть и речи. «Я – как морфинист или пьяница, которому вдруг сразу запретили предаваться его пороку... Я не умею работать за письменным столом. Для внутреннего движения мне

⁶¹ См.: Г. Малер. Воспоминания. Письма, с. 271, 275, 277. Этот мотив вообще достаточно типичен для писем Малера к жене, которая отвечала ему лишь изредка и весьма скупой (см. A. Mahler. *Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe*, S. 291, 299, 304, 326, 329, 341, 347, 357, 388).

необходимо движение внешнее... Сознаюсь Вам, что эта беда (...) – самая тяжелая из всех, постигших меня. Я должен начать новую жизнь, словно совершенный новичок», – писал он Бруно Вальтеру⁶². Тем не менее, уже в декабре он отправился в свою первую поездку в Америку для работы дирижером в Метрополитен-опере, в которой, однако, он провел только два сезона и принял руководство нью-йоркским симфоническим оркестром. Лето 1908 года он провел в своем любимом Тоблахе (вместе с женой), где закончил «Песнь о Земле», а осенью снова отправился в Америку. Летом следующего года он снова отдыхал в Тоблахе (работая над Девятой симфонией) – но уже без жены – и осенью снова уехал в Нью-Йорк. Друзья Малера, видевшие его во время этих летних каникул, были поражены переменами, происшедшими в нем, – и физического, и (в особенности) душевного характера. В результате в среде его венских друзей распространились очень встревожившие их слухи о страшных перегрузках, на которые Малер идет в Америке, роковым образом отражающихся на его здоровье. Именно об этом откровенно написал ему Гвидо Адлер – друг Малера еще с юности, – упрекая в том, что он ради денег занимается деятельностью, недостойной его как художника и губительной для его здоровья.

Ответ Малера производит, в общем, впечатление несколько жалкое: именно его чересчур многословные заверения, что все обстоит как нельзя более прекрасно, вызывают подозрения, что действительность – совсем иная. Он хвалится, что чувствует себя «бодрее и лучше, чем когда-либо за много лет», тем, что имеет в своем полном распоряжении первоклассный оркестр, работает в зале, превосходном в акустическом отношении, каждый день после репетиций «отлично отдыхает» (в отличие, якобы, от того, что было в Вене) и вообще занимается «почетной артистической деятельностью». Затем он заявляет, что нуждается в «известной роскоши, жизненном комфорте» и тем самым старается оправдать свою работу в Америке, которая, по его словам, предложила «не только

⁶² Там же, с. 290, 292.

деятельность, соответствующую моим склонностям и способностям, но и щедрую плату за нее». От этого Малер переходит к главному вопросу: опровержению предположения Адлера об отрицательной роли, которую играет во всем этом Альма. Прежде всего, он упрекает своего адресата в нанесении ей «большой и незаслуженной обиды» – в то время как «она имеет в виду *только* мое благо»: «у нее только одно серьезное стремление: чтобы ближайшей целью, ради которой я напрягаюсь, – но не *перенапрягаюсь* [подчеркнуто Малером], как в Вене, – была независимость, дающая мне возможность посвятить себя творчеству». Покупку автомобиля (которая изумила венских друзей Малера) он, видимо, также относит к сфере своей потребности в «известной роскоши, жизненном комфорте»: он утверждает, что купил автомобиль вовсе не только для жены, что сам он ездит в нем «так же охотно, как она, и даже с еще большим удовольствием». В заключение Малер снова заверяет Адлера в том, что его жена для него «не только храбрый и верный товарищ и спутник» во всех духовных устремлениях, «но и (редкое сочетание) умный, рассудительный домоправитель, который помогает мне экономить, несмотря на все удобства, которые нужны для поддержания моих физических сил; ей я буквально обязан благосостоянием и порядком». И в самом конце письма, говоря о дружеском отношении и уважении, которое он сохраняет к Адлеру, и посылая «сердечный привет» его семье, Малер вдруг – словно вспомнив об этом (или словно ему еще раз напомнили об этом) – опять возвращается к «обиде», нанесенной его жене, и заявляет, что она нанесена и ему самому⁶³.

К сожалению, все написанное в этом письме было весьма далеко от полной правды. В письме к Бруно Вальтеру Малер куда более откровенно изобразил положение дел: его «огромная нагрузка (напоминающая венские времена)» позволяет делать «только четыре дела: дирижировать, писать музыку, есть и спать», оркестр – «бездарный и флегматичный», на который «приходится

⁶³ Там же, с. 313-316.

терять очень много сил»; правда, есть единственное утешение: «публика здесь очень любезная и относительно более порядочная, чем в Вене»; ему снова предлагают дирижировать в Метрополитен-опере: «они платят столько денег, что я, вероятно, не устою»⁶⁴. Однако и здесь Малер слегка приукрасил действительность: берлинский журналист, посетивший несколько концертов Малера в конце сезона 1909 года, отметил, что большинство публики приходило после начала и уходило раньше окончания исполнения музыки⁶⁵. С начальством у Малера отношения сложились нисколько не лучшие, чем в Европе: его постоянно раздражала и бесила «демократическая форма» правления, типичная для Америки, позволявшая людям, совершенно далеким от искусства (например, «дамскому комитету»), вмешиваться в его работу и диктовать свои условия. «Потогонная система», общепринятая в те времена в американском производстве, царила и в музыкальной жизни: так, летом 1910 года новый менеджер Филармонии (которого, кстати, взяли на эту работу по настоянию самого Малера) убедил управлявший ею «комитет» увеличить число концертов с 45 (о которых уже была достигнута договоренность с Малером) до 65. Это означало, что в течение летнего отпуска Малер должен был просмотреть (и изучить) 73 партитуры 70 композиторов (!), однако на просьбу Малера соответственно увеличить его гонорар «комитет» ответил отказом. В конечном счете этот концертный сезон не был доведен до конца: в феврале 1911 года острый приступ болезни заставил Малера прервать выступления и вернуться в Европу, куда его привезли в самом плачевном состоянии.

А что касается Альмы Малер, то на самом-то деле она была чрезвычайно недовольна их жизнью в Нью-Йорке. В одном интервью (которое немедленно было перепечатано в ряде американских и германских газет), данном корреспонденту нью-йоркской газеты в то время, когда

⁶⁴ Там же, с. 309-311.

⁶⁵ H.-L. De la Grange. Mahler and the New York Philharmonic: The Truth Behind the Legend in: On Mahler and Britten. Essays in Honour of D. Mitchell on his 70-th Birthday, 1995, p. 66.

Малер лечился в санатории под Парижем (в начале мая 1911 г.), она сказала: «Вы не можете представить себе, сколько г-н Малер выстрадал! В Вене мой муж был всемогущ: даже император не диктовал ему, что делать. А в Нью-Йорке, к его изумлению, десять дам обращались с ним, как с марионеткой. Он надеялся, тем не менее, что тяжелая работа и успех освободят его от его мучителей». Но в высшей мере показательно, что всего за несколько дней до этого драматического заявления сам Малер в своем интервью венскому журналисту сказал нечто совершенно противоположное: что он «никогда не работал так мало, как в Америке» и «не был там принуждаем ни к какой чрезмерной работе – ни физической, ни умственной»⁶⁶. Не случайно, поэтому, Малер был так многословен в своем письме к Адлеру: не хотел ли он переубедить не только своего адресата, но и самого себя? (К тому же, и в этих его настойчивых утверждениях совсем нетрудно обнаружить непоследовательность и противоречия!)

Все это – симптомы растущего разлада в семейной жизни Малера. Поэтому не стоит особенно удивляться тому, что всего лишь через полгода после написания письма к Адлеру произошло событие, которое не только полностью опровергло все старания Малера представить в розовом свете положение дел, но и чуть-чуть не закончилось для него полной катастрофой. Вообще-то совершенно непостижимо, как человек с больным сердцем был до тех пор в состоянии столько работать? Вероятно, он держался лишь величайшим усилием воли; новое же бедствие совершенно надломило его и, без сомнения, стремительно приблизило конец его жизни⁶⁷.

⁶⁶ Там же, с. 67, 72.

⁶⁷ См. там же, с. 72-73: «Хотя, конечно, это утверждение трудно доказать научно, но любой психологический фактор мог ослабить сопротивляемость Малера болезни».

Что же касается вопроса, почему Малер шел на сверхчеловеческую нагрузку, уже зная, что тем самым он приближает свой конец, то ответ на него, кажется, содержится в чрезвычайно любопытном разговоре, состоявшемся еще в 1904 г., о котором вспоминает Альма: «Однажды на прогулке я сказала: "Я

Летом 1910 года, после возвращения в Австрию, Малер узнал, что Альма ему изменяет. Попытка откровенного разговора с ней полностью лишила Малера душевного равновесия: далекая от раскаяния, она предъявила ему целый «каталог» обвинений в нанесении ей бесчисленных обид за все время их супружеской жизни. Короче говоря, по ее словам, он сам же и был виноват в ее неверности! Отныне, если Малер хотел продолжать совместную жизнь, он должен был примириться с необходимостью «делить» жену с ее любовником, угнетаемый мыслью, что она ждет его смерти, чтобы выйти замуж за того, кого любит⁶⁸.

Однако это несчастье имело еще одно следствие: выявление в полной мере еще одного аспекта цены, которую Малер должен был заплатить за право быть руководителем музыкальной жизни Вены. А именно: потери не только физического, но и душевного здоровья.

люблю в мужчине только достижения. Чем больше достижения, тем больше я должна любить его". Малер: "Так это же прямая опасность для меня, потому что когда придет кто-то, кто превзойдет меня..." – "Тогда я должна буду любить его", – ответила я. На это он, улыбаясь: "Ну, пока что мне нечего беспокоиться. Я не знаю ни одного, кто превосходит меня"» (A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 93).

⁶⁸ H.-L. De la Grange. Mahler and the New York Philharmonic: The Truth Behind the Legend, p. 72.

О разводе же не было и речи: Малер не представлял себе жизни без Альмы и без дочери, а его жена, по всей видимости, не желала лишать себя в будущем отчислений за исполнение малеровской музыки. «Так играли мы – из побуждения щадить его – оба эту комедию до самого конца» (A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 217). См. также Jörg Rothkamm. Adagio aus der X Symphonie in Fis-Dur. Werkbetrachtung und Essay in: R. Ulm. Gustav Mahlers Symphonien. Entstehung. Deutung. Wirkung, S. 312-313, где приводятся цитаты из писем Альмы к ее любовнику и из ее дневника: из них ясно видно ее непоколебимое спокойствие в этот напряженнейший момент ее семейных отношений. И чрезвычайно любопытно упоминание Альмы о том, что именно тогда Малер вдруг принялся читать Священное Писание (A. Mahler. Ibid. S. 218).

Всю жизнь я сочиняю музыку только на одну тему: «Как я могу быть счастлив, если на земле еще страдает хоть одно существо?»

Малер

Еще в 1908 году, когда Малер чрезвычайно тяжело переживал необходимость радикально изменить образ жизни, чтобы сберечь свое сердце, Бруно Вальтер советовал ему обратиться к психиатру или, по крайней мере, почитать соответствующую литературу. Тот реагировал очень резко: «...Вы попали Бог знает куда, но только не в "противника"! Что мне до этой души? И до ее болезней? Где я должен ее лечить?..» Отрицая предположение Вальтера об «ипохондрическом страхе смерти», Малер признался все же, что, встав «лицом к лицу с Ничем», он «сразу потерял всю ясность и безмятежность, которых достиг раньше», однако энергично отверг предложение обратиться к специалисту-медику: «Разве с этими настроениями нужно бороться так, как Вы думаете, – то есть оружием какого-нибудь психиатра?.. Нет никакой пользы в том, что Вы мне говорите про врачей!»⁶⁹

Если Малер не желал и слышать о возможности восстановления душевного равновесия методами психиатрии даже после того, как тень смерти легла на всю его жизнь, то неудивительно, что и годом раньше, когда при нем называли имя Фрейда и заговорили о его исследованиях, Малер не проявил никакого интереса. «Реакцией Малера было мгновенное молчание: тема психоанализа его не интересовала, а затем он сделал лишь одно безапелляционное замечание, сопровождаемое отстраняющим движением руки: "Фрейд... Он исследует все только с одной предвзятой точки зрения: чтобы излечивать"»⁷⁰.

⁶⁹ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 291-292.

⁷⁰ В присутствии своей жены Малер не хотел уточнить, что эта «предвзятая точка зрения» означала особое внимание к сексуальной жизни пациента. См.: A. Stuger. Die Symphonien G. Mahlers. Eine musikalische Ambivalenz. 1998, S. 337, Anmerkung 206.

Но именно такая категоричность как раз и свидетельствует об обратном. Уже задолго до этого Малер проявлял целый ряд симптомов душевного заболевания – по-видимому, предрасположенность к нему была заложена в самой природе его организма. Еще в детстве на вопрос, кем он станет, когда вырастет, маленький Густав решительно ответил: «Мучеником!»⁷¹ Можно по-разному интерпретировать этот ответ, в котором, оглядываясь на жизненный путь Малера, нельзя не услышать ноты пророчества, но, безусловно, он свидетельствует о том, что уже тогда Малер готовил себя к самопожертвованию; однако вместе с тем в нем просвечивает и другая сторона: склонность к мазохизму. И то, и другое, как мы видели, прослеживая его жизнь, нашло в ней свою реализацию, близкую к экстремальной, причем из двух этих тенденций возник странный синтез. Примеры уже отмечались выше: и отношение Малера к товарищам в консерваторские годы, и его горячая любовь к Вагнеру, и его самоотверженная работа в качестве дирижера. В 1888 году, перерабатывая свою «Жалобную песню», он исключил из нее 1-ю, самую значительную часть, в которой рассказывается о братоубийстве: его мучили «угрызения совести» в том, что, якобы, не сделал все возможное для своего младшего брата, умершего за 14 (!) лет до этого. Но ярче всего его страсть к мученичеству проявилась в поведении по отношению к жене после ее признания в неверности: его альтруизм и его жертвенность неизменно были связаны с причинением боли самому себе, от чего он, как будто бы, получал странное удовлетворение⁷².

Первое, на что обращали внимание все, кто видел Малера впервые, была его крайняя нервозность. Лучше и полнее всех рассказал об этом Бруно Вальтер, любимый ученик Малера, один из самых близких и дорогих ему

⁷¹ Там же, S. 300.

⁷² В своих воспоминаниях Альма Малер с некоторым удивлением и насмешкой отмечает «достопримечательную тактику» своего мужа с целью «преодолеть собственную ревность»: оставлять ее наедине с мужчиной, к которой он ее ревновал (A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 106).

людей. Они познакомились в 1894 году, когда Б. Вальтер, восемнадцатилетний юноша, поступил концертмейстером в гамбургский оперный театр. Вот каким он увидел Малера сразу же после своего первого визита к директору театра: «Бледного, худощавого, невысокого роста, с удлинённым лицом, изборожденным морщинами, говорившими о его страданиях и его юморе, с выразительными глазами за стеклами очков. Пока он беседует с кем-то, на его лице одно выражение с удивительной быстротой сменяется другим, и весь он – точное воплощение капельмейстера Крейсlera – настолько же привлекательное, демоническое и пугающее, насколько может его представить себе юный читатель гофмановских фантазий». Когда же Б. Вальтер встретил Малера на улице, то был поражен странной неровностью его походки: «тяжелая поступь, остановки, новые рывки вперед...» – он «не мог сделать двух одинаковых шагов». Новая беседа с ним еще более подтвердила и усилила первое впечатление демонизма, «и я, – пишет Вальтер, – наверное, не удивился бы, если, попрощавшись со мной и все быстрее шагая прочь, он вдруг улетел бы от меня, превратившись в коршуна, как архивариус Линдгорст на глазах студента Ансельма в "Золотом горшке" Гофмана». Присутствуя же впервые на фортепианной репетиции новой оперы, Вальтер был совершенно потрясен: «Никогда еще я не видел такого сильного, волевого человека, никогда не думал, что меткое слово, повелительный жест, целеустремленная воля могут до такой степени повергнуть других людей в страх и трепет, принудить их к слепому повиновению». Рассказав о том, как тогда же произошел счастливый для него случай, предоставивший ему первую возможность продемонстрировать Малеру свою музыкальную одаренность, Вальтер заканчивает: «Так на первой же репетиции я получил полное представление о характере Малера – художника-исполнителя: авторитетный, властный, весь захваченный произведением, целеустремленный, он был резок и суров, когда видел небрежность и нерадивость,

но зато полон доверия и симпатии к тем, в ком чувствовал талант и одушевление»⁷³.

Все, лично знавшие Малера, рассказывают о его непримиримости к малейшим профессиональным недостаткам музыкантов или их небрежности при исполнении музыки. «Плохо приходилось артисту, который не знал своей партии! Без единого слова, с ледяным спокойствием, Малер повторял с ним по двадцать раз одно и то же место; едва закончив, он снова начинал сначала, даже если злосчастный певец уже давно запомнил все безупречно... Совсем не по душе ему была обидчивость: на таких людей он не тратил времени, совершенно не обращал внимания на их чувства, и они – в слезах или без слез – должны были петь дальше. Его досада еще прорывалась время от времени в звуках, которые он извлекал с особенным темпераментом, при этом шипя себе под нос проклятья»⁷⁴, – пишет в своих воспоминаниях о Малере Анна Мильденбург. – «Признать, что кто-нибудь прав, было для него всегда нелегко, а поскольку его разум был могуч и многосторонен, он, собственно, всегда был прав – даже когда отвергал то, что минуту назад страстно утверждал. Это тоже было правильно, хотя и по-иному...»⁷⁵. «Человек нервный, желчный, с гневным лицом и саркастической улыбкой... – так описывает его А.Б. Хессин⁷⁶. – Мрачный пессимист, даже мизантроп, он своей нервной, надменной манерой обращения производил скорее отталкивающее впечатление». В качестве иллюстрации этой характеристики Хессин приводит два ярких примера: издевательство Малера над скрипачами Придворной оперы, не сумевшими сразу, «с листа», сыграть на полтона ниже, и скандал с литавристом,

⁷³ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 436-438.

⁷⁴ Там же, с. 406-407.

⁷⁵ Там же, с. 426. Альма Малер пишет в своих воспоминаниях, что между ней и мужем существовал уговор: бывшее верным вчера сегодня уже могло быть неправильным. «Так что для меня было невозможно сказать: "Ах, Густав, ты же вчера сказал прямо противоположное!"» (A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 99).

⁷⁶ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 494-496.

который в чрезвычайно нервной обстановке (созданной самим же Малером) не смог точно настроить свой инструмент. Неудивительно поэтому, что «оркестранты боялись его, как огня, и не любили»⁷⁷, всюду, где он работал, неизбежно образовывался лагерь его врагов, которые «почти с ненавистью оказывали ему скрытое, глухое сопротивление», а он – «вел настоящие сражения с ними, с их противодействием»⁷⁸. Нет никакого сомнения в том, что оскорбляемых им музыкантов-«арийцев» вдвойне бесило, что их оскорбитель – еврей, и Малер не мог это не почувствовать, однако гордо не обращал никакого внимания.

«Впрочем, – отмечает Бруно Вальтер, – Малер ни к кому не был так беспощаден, как к самому себе. На каждой репетиции он предъявлял к себе самые высокие требования и не давал себе пощады даже во время физических недомоганий». Он рассказывает потрясающий случай самопреодоления во имя своего творчества: «Временами Малер страдал мигренью, которая мучила его с силой, соответствовавшей страстности его натуры, и совершенно парализовывала его. В таких случаях ему оставалось одно: лежать в полуобморочном состоянии». И вот перед самым концертом в Берлине, которого Малер добился «ценой тяжелых жертв, поставив, в сущности, на карту всю свою дальнейшую судьбу композитора», его свалил приступ мигрени – «один из самых жестоких за всю его жизнь, и он не мог ни пошевелинуться, ни принять какое-нибудь лекарство». И, тем не менее, концерт состоялся! «Я вижу его, как он стоит, смертельно бледный, на слишком высокой, ненадежной дирижерской подставке и нечеловеческим усилием воли подчиняет себе боль, исполнителей и слушателей...»⁷⁹. Оскар Фрид также вспоминает, что «дирижируя, Малер так щедро расточал запас своей жизненной энергии, что иногда к концу спектакля или концерта совершенно выдыхался. Помню, что

⁷⁷ Там же, с. 490.

⁷⁸ Там же, с. 408.

⁷⁹ Там же, с. 469, 449.

часто ему приходилось прерывать репетиции вследствие сильнейшего эмоционального возбуждения»⁸⁰.

Однако и тут мы встречаемся с амбивалентностью, столь типичной для характера Малера. «Для тех, кто вызывал его симпатию, у него не было недостатка в любезности и вежливости, его манеры и жесты даже производили впечатление эlegantности и светскости», – вспоминал Бруно Вальтер⁸¹. – «Я сомневаюсь, чтобы хоть один талантливый, воодушевленный человек когда-либо познакомился с его резкостями». Тем более контрастировали с обычным поведением Малера те моменты, когда, по словам А. Мильденбург, он «вдруг становился похож на веселого ребенка или неловкого, беспомощного человека, который смотрит на жизнь удивленными, полными любопытства глазами». Некоторая инфантильность также была неотъемлемой чертой характера Малера, но проявлялась она очень редко, лишь тогда, когда он находился в обществе людей, наиболее близких ему по духу⁸². В его творчестве она выразилась в некоторых песнях из сборника «Волшебный рог мальчика» и в особенности – в Четвертой симфонии.

Очень характерной чертой Малера была чисто еврейская «любовь ко всему живому». «Искреннее удовольствие доставляли ему два котенка, за возней которых он мог следить без усталости. Во время небольших прогулок он обычно брал их с собой, засунув в широкие карманы сюртука, чтобы и на привале не расставаться со зверьками, которые никогда не могли ему наскучить... Он всем сердцем любил окружавших его тварей: собаки, кошки, птицы, лесные звери забавляли его и вместе с тем возбуждали в нем самое серьезное участие», – вспоминает Бруно Вальтер⁸³. Лишь музыкант, настолько живо воспринимающий бытие природы, мог изобразить лесной мир так, как Малер в третьей части своей Третьей симфонии.

⁸⁰ Там же, с. 492.

⁸¹ Там же, с. 474, 473.

⁸² Там же, с. 407, 447, 453.

⁸³ Там же, с. 454.

Однако тяжелые переживания, преследовавшие его всю жизнь, постепенно развили в нем скептицизм, недоверчивость и «мировую скорбь», которые также приобрели характер невроза. «Одной из настоящих слабостей Малера всегда была способность слишком легко поверить, что кто-нибудь испытывает к нему неприязнь»⁸⁴. Это отталкивало от него людей, которые, восхищаясь его талантом, были готовы приблизиться к нему, но натывались на нетерпимость, резкость и даже откровенную грубость. «Когда я, – вспоминает Бруно Вальтер, – однажды говорил с ним (...) и пытался доказать ему, что резкостей можно избежать, он дал мне незабываемый, воистину наивный ответ: "Да что вы хотите, ведь я очень скоро перестану на них сердиться!" И невозможно было объяснить ему, что не он, а его противник имел все основания обижаться, и что от более слабых натур нельзя добиться, чтобы они четко разграничивали область человеческих отношений и область искусства»⁸⁵.

Невротический характер «мировой скорби» Малера лучше всего виден на примере его увлечения Достоевским (знание которого, по его известному выражению, для музыканта «важнее, чем контрапункт»⁸⁶). Тезис «как я могу быть счастлив, если на земле еще страдает хоть одно существо?» – ведь, в сущности, ложь⁸⁷. Даже если исходить из максималистского принципа, что «все люди в ответе друг за друга», то на это можно посмотреть и с другой стороны: если я счастлив, то частицу этого счастья я передаю другому человеку. А утверждение Малера, что он «всю жизнь» сочинял музыку «**только**» на эту одну тему, тем более не соответствует действительности, будучи продиктованным только его «мировой скорбью»: в каждом из его

⁸⁴ Н.-Л. De la Grange. Mahler and the New York Philharmonic: The Truth Behind the Legend, p. 67.

⁸⁵ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 468.

⁸⁶ Там же, с. 507.

⁸⁷ Любопытна реакция рационалистично настроенной Альмы: «Эту лейтфразу я всегда или большей частью находила у людей эгоцентрических, а часто также – у эгоистических» (А. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 31).

произведений есть страницы, выражающие и самозабвенное устремление к счастью, и достижение счастья, и упоение счастьем в его самых различных оттенках – от возвышенно-небесного до чувственного наслаждения. Совершенно ясно, что это высказывание – отражение все той же невротической склонности искажать действительность в соответствии с собственным настроением. Именно она побуждала его восторженно писать о работе в Америке и о «преданности» его жены – «со знаком плюс», и именно она продиктовала ему вышеприведенные слова – «со знаком минус». Его «мировая скорбь» и была, в сущности, лишь маскировкой собственной депрессии, следствием нежелания честно разобраться в ее причинах и отдать себе о них ясный отчет.

Отметим также, что с конца рокового 1907 года в письмах, которые Малер писал близким ему людям, он стал подписываться так: «Ваш старый Малер». Это, конечно, можно принять за проявление своеобразного юмора, но, как известно, «в каждой шутке есть (только) доля шутки»: нет сомнения, что это также было выражением его нового жизнеощущения.

Другая как будто новая черта, открыто проявившаяся тогда же, – это суеверный страх. После Восьмой симфонии, законченной в 1906 году, в 1907-1908 годах Малер писал «Песнь о Земле», которую также считал симфонией, но, закончив ее, побоялся назвать Девятой, а дал ей имя «Симфония в песнях». Как пишет Бруно Вальтер, Малер, «вспомнив о Бетховене и Брукнере, для которых *Девятая* явилась пределом творчества и жизни, он не захотел искушать судьбу»⁸⁸. Однако в 1909 году, написав новую симфонию – уже чисто оркестровую, – Малер уже не имел другого выбора: зловещего обозначения «Девятая симфония» больше нельзя было избежать. Бруно Вальтер не мог припомнить, видел ли он ее партитуру во время приезда

⁸⁸ Там же, с. 480. Добавим, что число 9 как максимальное количество написанных симфоний стало роковым еще для некоторых композиторов – в частности, для Шуберта и Дворжака, а многие другие вообще не подошли к этой цифре (Глазунов написал 8 симфоний, Прокофьев – 7, Мендельсон и Онеггер – 5, Шуман и Брамс – 4).

Малера в Вену весной 1910 года: «В мои руки она попала только после его смерти. Быть может, (nota bene!) тот же суеверный страх, о котором я уже говорил, помешать ему сказать мне о том, что Девятая симфония все же написана. До тех пор я никогда не замечал в его ясном, сильном уме даже следов суеверия»⁸⁹.

Таков был тот фон, на который наложилось потрясение 1910 года.

«Загадочное здание»

*Сомнение следует за мной по всем дорогам, я
ничему не в силах радоваться до конца, и самую
веселую мою улыбку сопровождают слезы.*

Малер

Вот теперь Малер уцепился за Фрейда, как за свою последнюю надежду. Предыстория их встречи как нельзя более ясно показывает, в каком страшном состоянии раздвоения он тогда находился.

В это время Фрейд был на отдыхе в Голландии. Малер послал ему телеграмму с просьбой принять его; Фрейд немедленно ответил ему (также телеграммой) о согласии, но за это короткое время Малер успел передумать и послал новую телеграмму с извинением. Тем не менее, очень скоро Фрейд (опять телеграфно) получил новую просьбу о встрече, и весь сценарий повторился снова, а затем – еще раз. Лишь после того, как Фрейд недвусмысленно дал понять, что оставляет Малеру последний шанс встречи с ним, тот телеграфировал о согласии и выехал в Лейден, куда, следуя маршруту своего путешествия, в это время приехал Фрейд.

Уже эти колебания дали Фрейду предварительное представление о характере невроза, которым страдал Малер. Их беседа, состоявшаяся во время многочасовой прогулки по городу, выявила целый ряд дополнительных симптомов,

⁸⁹ Там же, с. 481. Впрочем, Б. Вальтер тут же добавляет, что «и теперь это было не суеверие, а только слишком хорошо обоснованное предчувствие», но это – высказывание верного и любящего ученика, заботящегося о сохранении возвышенного образа учителя.

проявившихся гораздо ранее, – в частности, некоторые фобии. Еще с 1880 года Малер был вегетарианцем⁹⁰, но в своем венском доме он требовал, чтобы на столе никогда не появлялось мясо в своем естественном виде: как целая рыба или целая птица. Говядину он разрешал подавать только в форме, переработанной до неузнаваемости. Дошло до того, что при всей своей любви к сладкому он употреблял в пищу только искусственный мед, полностью отказавшись от натурального⁹¹.

Но главной причиной обращения Малера к Фрейду была полная потеря им *libido* по отношению к его жене в (столь характерном для Малера!) амбивалентном сочетании с бурным взрывом любовных эмоций⁹². После ответа Малера на некоторые вопросы Фрейда, тот удивился: «Я полагаю, Вашу мать звали Мария; я смог заключить это из различных намеков, высказанных Вами. Как могло быть, что Вы женились на женщине с другим именем – Альма, – в то время как Ваша мать, совершенно очевидно, играла доминирующую роль в Вашей жизни?!». Это замечание Фрейда произвело на Малера чрезвычайно сильное впечатление, и он рассказал, что в действительности у его жены два имени: Альма-Мария, и что он как раз называет ее «Мария»! Диагнозом Фрейда была «гипертрофированная привязанность к матери и перенесение на жену образа измученной, страдающей матери», а результатом этого весьма своеобразного сеанса психоанализа – обретение Малером вновь своей потенции и возможности продолжать супружеские отношения с Альмой⁹³.

⁹⁰ См.: Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 105.

⁹¹ Dieter Kerner. *Krankheiten grosser Musiker*. Stuttgart, 1963, S. 181-182.

⁹² См. J. Rothkamm. *Adagio aus der X Symphonie in Fis-Dur*. *Werkbetrachtung und Essay in: R. Ulm. Gustav Mahlers Symphonien. Entstehung. Deutung. Wirkung*, S. 313, где приводятся письма Малера к Альме в виде страстных любовных стихотворений. См. также А. Mahler. *Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe*, S. 459-464.

⁹³ А. Stuger. *Die Symphonien G. Mahlers. Eine musikalische Ambivalenz*, S. 336-338, прим. 206, 207, 209.

Другое неожиданное открытие в ходе разговора с Фрейдом сделал сам Малер. Внезапно он заявил, что только сейчас понял, почему в его музыке самые возвышенные места – и именно те, которые вдохновенно выражают самые глубокие чувства, – никогда не достигают того совершенства, к которому устремляются: всегда вмешивается какая-нибудь «вульгарная мелодия» «и все портит». И он рассказал: еще в раннем детстве однажды он стал свидетелем особенно мучительной сцены, разыгравшейся между его матерью и отцом, – человеком, по натуре своей очень грубым, временами очень жестоко обращавшимся с женой. Маленький Густав, не в силах выдержать это, выбежал из дома, и тот же миг услышал шарманку, игравшую популярную венскую песенку «Ach, du lieber Augustin». Именно с того момента (как он теперь осознал) в его душе неразрывно слились глубочайшая трагика и вопиющая банальность – так что одно неизбежно влечет за собой другое⁹⁴.

Рассказывая годы спустя о своей беседе с Малером – первой и последней, – Фрейд особо отметил «гениальную способность к пониманию» пациента, который все схватывал буквально с полуслова. Тем не менее, несмотря на признания Малера и его готовность к сотрудничеству, по выражению Фрейда, «на симптоматический фасад его невроза не упал свет», а себя он сравнил с археологом, прокопавшим всего лишь одну глубокую шахту в засыпанном землей «загадочном здании»⁹⁵.

Хорошо известно, однако, что для того, чтобы лечение проходило успешно, необходимо исполнение двух условий: во-первых, больной должен отдавать себе полный отчет в том, что он – болен, и желать выздоровления; во-вторых, он должен быть уверен в том, что его болезнь – излечима. В случае Малера не было ни того, ни другого: во-первых, он категорически отрицал, что болен душевно, и, во-вторых, был уверен, что врач ему не в силах помочь. К

⁹⁴ Там же, с. 301-302.

⁹⁵ Там же, с. 301; J. Rothkamm. Adagio aus der X Symphonie in Fis-Dur. Werkbetrachtung und Essay in: R. Ulm. Gustav Mahlers Symphonien. Entstehung. Deutung. Wirkung, S. 313.

Фрейд он обратился лишь потому, что надеялся, что тот даст ему совет, как восстановить нормальные отношения с женой (в чем снова проявилась его склонность к мазохизму). «То, что гнало его к Фрейду, было не предчувствием смерти, а попыткой переступить через самого себя»⁹⁶.

Но отрицая наличие у себя «ипохондрического страха смерти» в частности и психического заболевания вообще, Малер, в сущности, был прав: его недуг имел гораздо более глубокий характер и гораздо более скрытую причину, которую, однако, Фрейд как ассимилированный еврей и атеист уловить не мог. Внимание Фрейда было целиком устремлено на организм человека – то есть на физический аспект существования: то, что он называл душевным, в действительности целиком относится лишь к физическому аспекту жизни человека. Истинно духовное – в высшем, религиозном смысле – Фрейд полностью игнорировал.

В терминах учения хасидизма это можно выразить так: объектом изучения и лечения у Фрейда был лишь та сторона человеческого существования, которая связана с **животной душой**, но о душе **Божественной** он ничего не знал или ничего не желал знать. Однако именно взгляд с религиозной точки зрения ярко освещает все, что при ином подходе остается непонятным и темным: «засыпанное землей здание» стряхивает с себя скрывающий его покров и перестает быть «загадочным».

*Еврейство внутри нас должно быть
уничтожено даже ценой нашей жизни: это
святая истина.*

Рахель Левин-Фарнхаген фон Энзе

Вообще-то существует закон, внедренный Всевышним в Его творение: еврей, изменивший еврейству, становится куда большим антисемитом, чем нееврей, и из истории нашего народа известно, сколько несчастий

⁹⁶ A. Stuger. Die Symphonien G. Mahlers. Eine musikalische Ambivalenz, S. 301.

принесли ему именно выкресты. Смысл этой трансформации прекрасно раскрыл Спиноза (по всей видимости, в результате самоанализа): «Если начинают ненавидеть то, что любили, большее количество желаний остается более неудовлетворенными, чем если бы вообще не любили. (...) Помимо печали, ставшей причиной ненависти, рождается новая печаль из бывшей любви; в результате то, что любили, начинает вызывать более сильное чувство грусти: то есть, испытывают бо́льшую ненависть, чем если бы вообще не было любви, и эта ненависть – тем сильнее, чем сильнее была любовь»⁹⁷. Подспудно апостат ощущает, что разорвал свою связь с Всевышним и оторвал свою душу от источника жизни; поэтому его раздражает все, что напоминает ему о его измене. Он начинает бороться с этими напоминаниями – тем яростней, чем меньше результатов этой борьбы он видит, – но при этом не подозревает, что в действительности борется с самим собой, а вернее – со своей Божественной душой, со своей еврейской душой, данной ему Всевышним. Отсюда берут свое начало всевозможные невроты, которыми, как правило, страдают апостаты, – вплоть до подсознательного стремления к самоубийству (в надежде, что таким образом удастся избавиться от души, причиняющей столько страданий)⁹⁸.

Этого не избежал даже Гейне при всем своем циническом отношении к крещению. Если до совершения

⁹⁷ Цит. по: Л. Поляков. История антисемитизма. Эпоха знаний, с. 193.

⁹⁸ Чрезвычайно показательны статистические данные, относящиеся к германским странам во второй половине XIX в., приведенные в «Еврейской энциклопедии» (С.-Петербург, 1912, т. XVIII, ст. «Самоубийство», с. 879-880). Они ясно показывают прямую зависимость увеличения числа душевных заболеваний и самоубийств у евреев от степени ассимиляции, что приводит к пессимистическому выводу в конце статьи: «Чем больше распространено образование, тем больший процент самоубийств. Евреи и с этой точки зрения являются естественно представителями народа, дающего наибольшее число самоубийств».

этого шага в его письмах и сочинениях он весьма сочувственно затрагивал еврейскую тему (вплоть до написания целой повести – «Рабби из Бахараха»), то сразу же после крещения – как на диво! – в его письмах и некоторых сочинениях появляются нападки и издевательства откровенно антисемитского характера. Укажем, к примеру, на карикатурную пару Гумпель – Гирш-Гиацинт в «Луккских водах» или на такой пассаж в «Городе Лукке»: «Ведь замечено, что священники всего мира – раввины, муфтии, доминиканцы, консисторские советники, попы, бонзы, – короче, весь дипломатический корпус Божий, – отличаются фамильным сходством лиц, характерных для всех людей одного промысла. (...) Евреи обладают своего рода выражением честности – не потому, что ведут свой род от Авраама, Исаака и Иакова, а потому, что принадлежат к купеческому сословию. Франкфуртский купец-христианин столь же похож на франкфуртского купца-еврея, как одно тухлое яйцо на другое»⁹⁹.

Однако Малер, по всей видимости, был очень редким исключением из этого правила: мы не находим у него почти никаких проявлений недоброжелательства к евреям. Наоборот: как вспоминал его друг Альфред Роллер (художник, приглашенный Малером же в Придворную оперу в качестве декоратора), «то, что главным образом связывало его с еврейством, было сострадание: основанием для этого был его слишком богатый собственный опыт». Об этом однажды Малер высказался ему совсем откровенно: «Среди несчастных всегда самый несчастный тот, кто к тому же – еврей»¹⁰⁰. Примечательно, что даже когда Малер обращался к темам, связанным с христианством, это никогда не было демонстративным противопоставлением иудаизму. Ортодоксальный аспект христианства Малер, как будто бы, полностью игнорировал. Например, в финале Четвертой симфонии «рай» показывается глазами ребенка: это настолько «снижает» образ, что от религиозности

⁹⁹ Генрих Гейне. «Путевые картины». Собрание сочинений в 10 томах, т. 4, с. 322.

¹⁰⁰ G. Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts. A. L. Ringer. G. Mahler und die “condicio judaica”, S. 261.

традиционно-христианского представления о рае не остается ничего¹⁰¹. Так, святой Иоанн «выпускает ягненок» на пастбище, святой Лука «бездумно и небрежно» режет быков, ангелы пекут хлеб, «вино не стоит ни гроша в небесном погребке», святой Петр «уже бежит с сетями и приманками к небесному пруду»... В Восьмой же симфонии – в ее первой части – в текст средневекового гимна «*Veni creator spiritus*» Малер внес казалось бы незначительные, но весьма примечательные изменения, разрушающие традиционную формулу христианской «троицы». Во второй ее части, основанной на тексте заключительной сцены гётевского «Фауста», появляется «доктор Марианус» (то есть «специалист по Марии»), и в свете догадки Фрейда, о которой говорилось выше, как имя этого персонажа, так и восхваления «девы, чистой в прекраснейшем смысле; матери, достойной почета; нашей избранной королевы» приобретают совершенно иной, лично-малеровский смысл.

Хотя, по свидетельству того же Роллера, «Малер никогда не скрывал своего еврейского происхождения»¹⁰², тем не менее, дело Дрейфуса, кажется, прошло мимо него совершенно незамеченным – так же, впрочем, как и первые сионистские конгрессы. Вероятно, причина этого – та же самая, по которой он не обращал внимания на антисемитизм Вагнера: абсолютная поглощенность своей исполнительской и творческой деятельностью, пребывание в эмпиреях чистого искусства. Впрочем, возможно, что правдоподобно и такое предположение: «Нельзя отрицать, что влияние Рихарда Вагнера на интеллектуальную атмосферу придало несомненный антисемитский оттенок эстетическому

¹⁰¹ Есть и попытка интерпретации этой картины рая в чисто ироническом ключе – см. об этом статью: Н. Hein. Zur Ironie des “Himmlichen Lebens” в том же сборнике. Мы, однако, считаем эту точку зрения прямолинейным упрощением и, следовательно, искажением замысла Малера, лишаящим его всякой поэтичности. Заметим также, что этот подход совершенно игнорирует авторскую ремарку в партитуре: «Голос с детски веселым выражением, без малейшего пародирования».

¹⁰² A.L. Ringer. G. Mahler und die “condicio judaica”, Ibid.

идеализму Малера, который сам он воспринял как свой собственный»¹⁰³, и это может объяснить его равнодушие даже к таким важным событиям в сфере еврейства. Хотя такая догадка представляется нам слишком слабо обоснованной, все же, если допустить ее правильность, можно считать ее указанием на то, что «синдром апостата» у Малера, несмотря на все своеобразие, включал в себя, все же, и свой типический элемент. Очень редкие проявления его можно обнаружить в письмах к Альме из Львова, где в начале 1903 года Малер был на гастролях. Он был поражен, увидев своих восточноевропейских сородичей: «Жизнь здесь опять показывает еще один столь оригинальный лик. Но самое потешное – это польские евреи, которые кругом здесь бегают, как где-нибудь еще собаки. Крайне занятно наблюдать за ними! Боже мой, вот с такими я, следовательно, должен быть в родстве? Насколько дурацкой мне кажется расовая теория перед лицом такого доказательства, я не могу тебе описать!»¹⁰⁴. И еще: «Такое грязное существо, как польский еврей на своем месте и в своей роли, никакая фантазия не может выдумать»¹⁰⁵. Дело в том, что воспитание, полученное в детстве, не заложило в Малера ни любви к своему еврейству, ни гордости быть евреем, ни сил, благодаря которым он был бы способен устоять, когда испытанию подверглась его верность иудаизму. Скорее всего, ничего этого в доме его отца попросту не существовало: обстановка там была очень далека от ортодоксально-еврейской. Густав рос в германоязычном анклаве той части Австро-Венгерской империи, где большинством населения были чехи, в

¹⁰³ Morten Solvik Olsen. Culture and the Creative Imagination: the Genesis of G. Mahlers Third Symphony (doctor's thesis), chap. 4: Mahler and Religion, p. 76.

¹⁰⁴ A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 285.

¹⁰⁵ Там же, с.289. Не исключено, впрочем, что здесь (как и в других письмах с «юмористическими» описаниями окружающих) Малер старается подладиться под тон Альмы (в полной мере проявивший себя, как уже было сказано, в ее «Воспоминаниях»). Ничего похожего не содержится в его письмах даже к самым близким друзьям.

результате чего он с детства ощущал себя как «посторонний», всем чужой; лишь под давлением среды он вспоминал о том, что все-таки – еврей. Таким образом, Малер сформировался как тип так называемого «этического еврея» в его крайнем выражении¹⁰⁶. В самой полной мере это выразилось в его мировоззрении, имевшем, в общем, синкретический характер, но наиболее ярко индивидуальные черты получившее от пантеизма.

Эрзац иудаизма

*Мы жаждем, видя образ лучезарный,
С возвышенным, прекрасным, несказанным
Навек душой сродниться благодарной,
Покончив с темным, вечно безымянным.*
Гёте, «Элегия» (пер. В. Левика)

Итак, «синдром апостата» у Малера обладал совершенно особым характером: он не боролся со своим еврейством, а мирно уходил от него. В результате Малер создал для себя некое подобие религии, лишенной каких бы ни было ритуалов и основанной на принципах, одобренных человеческим разумом. Ее credo было: «Бог – во всем». К человеку она предъявляла определенные этические требования, но, в отличие от иудаизма, не обязывала его служить Всевышнему, совершая определенные действия и воздерживаясь от таких, смысл которых для человеческого разума недоступен. Как было сказано, в своей основе эта индивидуальная религия Малера являлась вариантом пантеизма.

¹⁰⁶ Morten Solvik Olsen. Culture and the Creative Imagination: the Genesis of G. Mahlers Third Symphony, chap. 4: Mahler and Religion, p. 75, 77, 86.

Альма вспоминает, как во время одной из первых ее встреч с Малером разговор зашел об основателе христианства. Ее очень удивил тогда «примечательный парадокс»: еврей (крещению Малера она не придавала, видимо, никакого значения) проявил себя «горячим ревнителем за Христа» против нее – католички по рождению и воспитанию, но «под влиянием Шопенгауэра и Ницше ставшей весьма вольнодумной» (A. Mahler. Ibid., S. 30-31.

Творцом европейского пантеизма считается другой еврей, также отошедший от иудаизма, но до конца своих дней не принявший также и христианства: Барух, или (как он сам перевел свое имя на латынь) Бенедикт Спиноза. Целый ряд черт роднит его с Малером: так же, как тот, Спиноза творил «на перекрестке» различных культур; так же, как и тот, он, сохранив присущее ему по натуре еврейское мышление и мироощущение, создал выдающиеся произведения, вошедшие в фонд нееврейской культуры; так же, как и у того, в его сочинениях постоянно прорывается душевная боль; подобно тому, он, казалось бы решительно порвав с еврейством, остался, тем не менее, евреем в глазах всего мира... Однако в отличие от Малера, «синдром апостата» у Спинозы был куда более тривиальным: к своему еврейскому происхождению он испытывал нетерпимость, доходящую до открытой ненависти, и (нарушая свои же собственные этические принципы) на евреев и на иудаизм вообще нападал с такой же непристойной яростью, как сотню лет после него Вольтер.

Как упоминалось, в основе пантеизма лежит совершенно верная идея: «Бог – во всем». (Известно, что никакая ложь не может устоять без того, чтобы не иметь в своей основе крупицу истины.) Мудрецы Талмуда ее сформулировали так: «Святой, благословен Он, наполняет мир, как душа наполняет тело»¹⁰⁷. Эта идея всесторонне развивается в Кабале: Аризаль¹⁰⁸ учил, что и в той части природы, которую мы называем «неживой», – например, в камнях, земле и воде – также есть душа и жизненная энергия¹⁰⁹. Однако, в отличие от Кабалы и Талмуда, пантеизм предписывает своим адептам лишь соблюдение общечеловеческих этических принципов, полностью отказываясь даже от заповеди, данной Всевышним еще первым людям (и, следовательно, всему человечеству в целом): «...Наполняйте землю и овладевайте ею, и

¹⁰⁷ Брахот, 10а.

¹⁰⁸ Раби Ицхак-Лурия Ашкенази (1534-1572) – величайший кабалист последнего тысячелетия; жил в Египте, а последние 2 года своей жизни – в г. Цфат (Страна Израиля).

¹⁰⁹ Танья, ч. II, с. 152; и см. там же гл. 7.

властвуйте над рыбой морской, и над птицей небесной, и над всей живностью, что кишит на земле»¹¹⁰. Иначе говоря, пантеизму совершенно чуждо какое-либо позитивное воздействие на мир с целью преобразования его и совершенствования: на долю человека остается лишь постижение, доступное человеческому интеллекту, и восхищение. Правоммерно сказать, что пантеизм – религия эстетов, поскольку подразумевает чисто эстетическое отношение к миру.

Если у еврея Спинозы пантеизм сложился как подмена иудаизма, то у других европейских пантеистов он стал заменой христианства (из которого, впрочем, с течением времени позаимствовал немало символов). Значительно развил его Джордано Бруно (которым так восхитился Малер, познакомившись с первым томом его собрания сочинений лишь в 1907 году¹¹¹), однако в XVI веке пантеизм рассматривался как ересь – за что именно Бруно и поплатился. Позже, на рубеже XVIII и XIX веков это мировоззрение именно в силу своей эстетичности нашло себе множество адептов среди людей искусства и литературы. Среди германских поэтов и писателей, в творчестве которых пантеизм нашел яркое выражение и которые оказали явное влияние на Малера, следует назвать Жан-Поля (столь любимого им в молодости), Гёльдерлина и в особенности Гёте. Именно чтение Гёте – в частности, его «Разговоров с Эккерманом» («в каждый период жизни входишь в эту книгу другим, новым человеком»¹¹²) – давало мятущемуся духу Малера относительное успокоение. В нем он находил то ощущение гармонии, к которой страстно (но тщетно) стремился всю жизнь: гармонии, которая не отрицала бы и не уничтожала противоположности, но объединяла бы их в единстве более высокого порядка –

¹¹⁰ Брейшит, 1:28.

¹¹¹ См.: Г. Малер, Письма. Воспоминания, с. 396.

¹¹² Там же, с. 294.

Неудивительно, что и тут Малер не обратил никакого внимания на «антииудаистическую позицию» Гёте (см. Л. Поляков, ук. соч., с. 141.): у того она выражена в несравненно более мягкой и «культурной» форме, чем у Вагнера.

совершенно в соответствии с еврейским пониманием того, что есть истинное единство¹¹³. В Третьей симфонии воплощено пантеистическое представление о явлениях природы как олицетворениях различных образов Божества, но наиболее яркое и полное выражение малеровского пантеизма чисто гётевского толка – это вторая часть Восьмой симфонии, синтезирующей жанры симфонии и оратории (с элементами средневековой мистерии) на текст заключительной сцены «Фауста». Подробный анализ последних стихов, являющихся резюме и концентратом всего внутреннего смысла этого огромного произведения, Малер изложил в письме к жене, написанном летом 1909 года. Приведем его почти полностью, так как оно незаменимо для понимания сути мировоззрения, эстетики и творческих принципов композитора:

...Достичь духовного центра – именно это нужно. Отсюда все вещи выглядят иначе! (...)

...С толкованием произведения искусства дело обстоит совершенно особо: в них *рациональное* (то есть поддающееся разгадке способностью понимать) – почти всегда несущественное и, собственно, вуаль, окутывающая фигуру. Насколько же, однако, душа нуждается в теле (...), приходится художнику выхватывать свои изобразительные средства из рационального мира. Там, где он сам к ясности или, в сущности, к *совершенству* еще не пробился, рациональное заглушит художественно-бессознательное и потребует прибегнуть к чрезмерно подробному истолкованию. Этот «Фауст», конечно же, – настоящее смешение всего, и как его

¹¹³ В учении хасидизма на основе Кабалы объясняется, что Творец называется в Торе «единым» (Дварим, 6:4), а не «единственным» потому, что, сотворив бесконечное разнообразие творений, Он продолжает поддерживать их существование и жизнь, тем самым объединяя их в высшем единстве. Если бы Творец назывался «единственным», мы могли бы это понять в том смысле, что, сотворив мир, Он замкнулся в Своей уникальности и оставил мир во власти законов природы (что, в принципе, не исключает возможности существования и других богов, ныне управляющих событиями, происходящими в мире); однако атрибут «единый» указывает на то, что Творец является одним, единым источником существования всех созданий и Властелином всего, что происходит в мире (см. Ликутей Тора, ч. IV, с. 22; ч. III, с. 58, лист 70а, 86а; ч. II, с. 46).

создание обняло целую долгую жизнь, так же и строительные камни, из которых он сложен, впрямь не равны и частенько так и *остались* лишь голым *материалом*. Вследствие этого к этому произведению приходится подступаться на разный манер и с разных сторон.

Однако главное – это художественное творение, которое не поддается истолкованию в сухих словах. Истина для каждого – и для каждого в различные эпохи различно – совсем иная; так же, как это обстоит с симфониями Бетховена, которые также для каждого и в каждое время опять-таки всегда чем-то иные и новы.

Должен я теперь тебе сказать, на какой стадии в настоящее время находится мой «рационализм» в отношении этих заключительных стихов. (...) Итак: эти четыре строчки я беру в теснейшей связи со всем предыдущим: как прямое продолжение последних строк, с одной стороны, и, с другой стороны, как высшую точку гигантской пирамиды всего произведения, которое нам некий мир в образах, ситуациях и разворотах показало. Все они намекают – поначалу совсем расплывчато, но от сцены к сцене (в особенности во второй части, где автор сам для этого созрел) все более самоосознанно – на *это единственное*, невыразимое, едва угадываемое, но глубоко прочувствованное!

Все – лишь некое *сравнение* для чего-то, воплощением которого может быть лишь убогое выражение того, что здесь востребовано. Именно преходящее поддается хорошему описанию; но то, что мы чувствуем, угадываем, но никогда не *достигаем* (...), именно то позади всех представлений длящегося Непреходящее – *неописуемо*. То, что нас притягивает к себе с мистической силой, что каждое творение, очень может быть, даже камни [NB!], с безусловной уверенностью как центр своего бытия ощущает, это то, что Гёте здесь – *снова в сравнении* – называет *Вечно-Женственным* – а именно *Покоящееся, Цель* – в противоположность вечно Тоскующему, Стремящемуся, Движущемуся туда, к этой цели, то есть Вечно-Мужскому! Ты совершенно права, характеризуя это как силу любви. Для этого есть бесконечно много представлений, имен. (...) Гёте сам изображает здесь – чем дальше к концу – все более отчетливо бесконечную лестницу сравнений: страстные поиски Фауста (...) еще не возникшего (...) вплоть до *mater gloriosa*, и она-то является персонификацией Вечно-Женственного! Таким образом, в непосредственной связи с заключительной сценой обращается Гёте сам персонально к слушателю и говорит:

«Все преходящее (...) – чистое *сравнение*; естественно, [выраженное] в ваших земных явлениях – *убогое*; там, однако,

освобожденное от тела земной *убогости*, это явится, и нам не потребуется более никакое описание, никакое сравнение – сопоставление – для него; *именно там свершится* то, что я здесь пытался описать, но что все-таки остается неопишмым, а именно: что? Это я вам могу сказать опять-таки лишь сравнением: *Вечно-Женственное нас туда привлекло* – мы здесь – мы покоимся – мы обладаем тем, о чем мы на земле лишь тосковать, к чему стремиться могли. Христос называет это «вечным блаженством», и я должен был воспользоваться этим красивым и достаточным мифологическим понятием, служащим средством для передачи моего представления, – самым адекватным, какое только доступно человечеству в эту эпоху»¹¹⁴.

Помимо того, что приведенный отрывок также проливает яркий свет на содержание всей Восьмой симфонии, он очень показателен для понимания характера малеровского пантеизма. Суть его – динамическая гармония: Божественная энергия, которую «каждое творение (может быть, даже камни – [NB!] **ощущает**... как центр своего бытия», пронизывает все мироздание, благодаря чему все противоречия этого мира становятся лишь разнообразными деталями единого целого, и все венчает женский образ как символ «вечно женственного»... Основатель же христианства упоминается здесь лишь потому, что Малер вынужден воспользоваться его «мифологическим» [NB!] термином за неимением другого, более адекватного. Еще более ясно свою точку зрения на то, что «тяготение вечно мужского к вечно женственному» является выражением господствующей во вселенной «власти любви» и источником всякого творчества, Малер высказал в другом письме к Альме – о платоновском диалоге «Пир»: «Основное тут – гётевское воззрение, что всякий вид любви есть порождение, сотворение; что существует и физическое, и духовное порождение... Эрос – как творец мира!»¹¹⁵.

Понятно также, что такое мировоззрение, фактически, является выражением все того же оправдания: «Бог – у меня в сердце», к которому часто прибегали (и продолжают прибегать) евреи, оторванные от иудаизма и по тем или иным причинам не желающие к нему возвращаться.

¹¹⁴ A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 436-438.

¹¹⁵ Ibid. S. 456.

Оно также не подразумевает какой бы то ни было «обрядности» – ни еврейской, ни христианской¹¹⁶, и Малер старался сохранить его и после крещения. Однако даже та философская система, которую строит человек сам для себя только при помощи собственного ума, очень редко снабжает его броней и оружием против жизненных превратностей, которыми Всевышний испытывает прочность построений человеческого разума. В самом лучшем случае новая философская система оказывается вполне годной лишь для ее автора¹¹⁷. Так неудивительно, что столь эклектическое и неустойчивое строение, как пантеизм Малера, основанный, в основном, не на интеллектуальном, а на эмоциональном восприятии мира и содержащий в себя множество противоречий, дало трещину и начало оседать. Воздействие, которое акт апостазии начал оказывать на него помимо воли и желания композитора, становилось чем далее тем более сильным и разрушительным. Все симптомы, открытые у Малера Фрейдом, свидетельствуют о том, что, без всякого сомнения, у Малера развился комплекс вины за свое крещение, и притом еще за много лет до их встречи. Только подспудным ощущением своей вины и ожиданием наказания за нее можно объяснить мучившие Малера предчувствия бед в самый радостный для него период времени, а написание в это же время пронзающих душу «Песен об умерших детях»¹¹⁸, ужасающей Шестой симфонии и полной отчаяния и иронии Седьмой – попыткой «обмануть» Судью и смягчить наказание, заставив себя пережить беду раньше, чем она осуществилась: как бы «предъявить Провидению доказательства ее ненужности, как события уже свершившегося»¹¹⁹ во внутреннем мире композитора. И этим же можно объяснить, почему, когда в

¹¹⁶ Morten Solvik Olsen. Culture and the Creative Imagination: the Genesis of G. Mahlers Third Symphony, chap. 4: Mahler and Religion, p. 75.

¹¹⁷ Прекрасная иллюстрация этого – роман Поля Бурже «Ученик».

¹¹⁸ Kindertotenlieder – точнее, «Песни о мертвых детях». Возможно перевести и так: «Детей мертвых песни».

¹¹⁹ И. Барсова. Симфонии Густава Малера. Москва, 1975 с. 199-200.

1907 году произошло то, чего Малер ранее так боялся и что «сублимировал» в своей музыке, он, по всей видимости, принял это безропотно. Но вот сообщение о том, о чем думать он избегал (развитие сердечной недостаточности и неотвратимая необходимость сократить объем работы), обрушилось на него, как внезапная катастрофа, и вызвало панический ужас.

Мысль о смерти была привычна Малеру с юности и занимала совершенно определенное место в его мироощущении. Ему принадлежит такое высказывание: «Смерть человека – не такой факт, которого следует бояться, но некая проблема, а в моем случае – проблема, которая занимала меня с моей первой мысли»¹²⁰. Жанр похоронного марша присутствует в семи (!) симфониях Малера, причем Третья, Пятая и Седьмая начинаются с него, во Второй же – изображается такой катаклизм, который, кажется, захватывает всю вселенную. Тем не менее, каждый раз за этим следует вариант «воскресения из мертвых». Казалось бы, столько раз изобразившему это уже не пристало так бояться смерти? Но дело в том, что только теперь Малер ощутил, что когда Бог наказывает, Он ударяет в самую чувствительную точку (то, что никогда бы не смог сделать человек): в данном случае – создав угрозу прекращения творческой деятельности, что для Малера было бы горше физической смерти.

Использование китайской поэзии в «Песни о Земле» также представляет собой очень интересный момент в трансформации душевного состояния Малера в последние годы его жизни. Можно было бы представить себе это сочинение в плане нового этапа в общем-то традиционного для Европы стремления к экзотике. Но дело в том, что в музыке «Песни о Земле» китайский «местный колорит» настолько мал и эпизодичен, что может вообще не приниматься в расчет. Правильнее другое предположение: обращение к поэтам старого Китая должно быть понято как новая попытка «убежать» – но теперь уже от всего

¹²⁰ Morten Solvik Olsen. Culture and the Creative Imagination: the Genesis of G. Mahlers Third Symphony, chap. 4: Mahler and Religion, p. 75.

европейского (то есть иудео-христианского) в целом – в дальневосточную культуру, для которой как раз характерна созерцательность, отказ от борьбы и философская покорность судьбе. Однако уже в следующем, 1909 году, в период написания Девятой симфонии, в письме к Бруно Вальтеру есть свидетельство дальнейшего разложения восторженно-пантеистического отношения Малера к миру и сползания к банальному нееврейскому представлению о Боге-Творце как о безжалостном мстителе, жестоком тиране. Малер рассказывает, что снова исполнял свою Первую симфонию и что его поразила возможность новой ее трактовки:

Странные вещи происходят со мной, когда я дирижирую всеми этими сочинениями. Кристаллизуется мучительное и жгучее ощущение: каков же сам этот мир, если только отражения его – эти звуки и образы – таковы!¹²¹ Места, подобные траурному маршу и буре, которая разражается следом за ним, кажутся мне [NB!] страстным обвинением Творцу. И в каждом новом моем сочинении (по крайней мере, до известного периода¹²²) снова раздается тот же крик:

«...Не отец вселенной Ты, а ...царь!»¹²³.

Но все это – *только во время дирижирования!* Потом все тотчас стирается (ведь иначе невозможно было бы жить дальше). Эта поразительная реальность лиц, которые потом немедленно расплываются, превращаются в призрак, словно сновидения, – [NB] есть глубочайшая причина конфликта в жизни художника. Он приговорен к двойной жизни, и горе ему, если жизнь и грезы

¹²¹ Здесь снова можно разглядеть симптом невроза: то, что в психологии называется «проекция». Малер прибегает к этой попытке психологической защиты, выдавая свои сочинения за объективное отражение окружающего мира, в то время как в действительности они – субъективное отражение его собственного **тогдашнего** душевного состояния, его же нынешняя их интерпретация (выраженная в этом письме) – отражение его **нынешнего** душевного состояния.

¹²² Опять попытка психологической защиты: не «до известного периода», а «**начиная с** известного периода» – именно, с крещения и быстрого прогресса невроза.

¹²³ Цитата из «Дзяд» Мицкевича.

когда-нибудь сольются для него: тогда он должен страшной ценой искупить законы одного мира в другом...¹²⁴

Если сопоставить прорвавшееся тут признание в «двойной жизни» и устрашающей его перспективе «страшной ценой искупить **законы одного мира в другом**» с пометками, которые остались на нотных листах набросков к его Десятой симфонии, напрашивается еще одно предположение, указывающее и на теперь уже радикальное изменение в мировоззрении, и на психическое состояние Малера в самом конце его жизни. Бруно Вальтер свидетельствует, что во время их коротких встреч «за его разговорами скрывалось душевное возбуждение, которое заставляло его от самых различных интеллектуальных и моральных тем вновь и вновь возвращаться к метафизическим вопросам»¹²⁵.

Тогда же, – также вспоминает Бруно Вальтер, – в то «последнее лето, которое Малеру суждено было пережить, на его настроение особенно удручающе подействовал один странный и страшный случай». Его пантеизм в образе любви «ко всему живому» подвергся ужасному испытанию, понятному им (совершенно в духе древнеримских авгуров) как грозное провозвестие. «Однажды, работая в своем "домике для сочинения" в Тоблахе, он был неожиданно испуган каким-то неопределенным шорохом, и тотчас же в окно ворвалось что-то "страшное и темное"; в ужасе вскочив, Малер увидел перед собой орла, который своим неистовым движением заполнил все тесное пространство комнатки. Страшная встреча была недолгой, орел исчез так же бурно, как и появился. Когда Малер присел, обессилив от испуга, из-под дивана выпорхнула ворона и улетела прочь.

¹²⁴ Г. Малер. Письма. Воспоминания, с. 311. Симптоматично также, что на этом слове Малер прерывает себя и – «чтобы не забыть» – начинает писать о конкретных проблемах, но затем к оборванной теме так и не возвращается.

¹²⁵ Там же, с. 482. «Метафизические вопросы, – замечает Б. Вальтер, – без повода, внезапно всплывали в его сердце и его беседе: этот basso ostinato его внутренней жизни мог, конечно, порою заглушаться, но никогда не мог прерваться» (там же, с. 470).

Тихое прибежище, где человек всей душой погружался в музыку, стало театром военных действий, где разыгралось одно из бесчисленных сражений "всех против всех". Когда Малер рассказывал об этом, в его голосе еще трепетал ужас перед столь наглядным проявлением жестокости в природе: ведь эта жестокость с давних пор была одной из причин его "мировой скорби" и теперь, казалось, хотела грубо напомнить о себе его потрясенной душе»¹²⁶.

Рукопись незаконченной Десятой симфонии, над которой Малер работал тем же летом 1910 года, «таит в себе потрясающий человеческий документ, в котором композитор наедине с самим собой, не рассчитывая на посторонний взгляд, с предельной импульсивностью лихорадочно набрасывал и музыкальные идеи, и просто мысли, связанные с теми настроениями, которые владели им тогда»¹²⁷. В виде чернового варианта партитуры выписаны лишь вся первая часть, примерно половина второй и 28 тактов третьей. Остальная же часть набросков «представляет собой почти хаотическую картину. Над длинными пассажами лишь эскизно и поспешно намечены ноты, в других местах – написаны лучше или вычеркнуты бешеным росчерком»¹²⁸. В начале третьей части, центральной, сначала было написано название: *Inferno* («ад»), затем – зачеркнуто (есть предположение, что Альмой) и написано новое: *Purgatorio* («чистилище»); внутри рукописи – нотные записи как бы прерываются вскриками: «Смерть!..» (следующее слово не дописано; по-видимому – «Изыди!»¹²⁹), «МИЛОСЕРДИЯ!» (огромными буквами), «О Боже! О Боже, зачем Ты меня оставил?»¹³⁰ Да свершится воля Твоя». Четвертая часть – подлинный «мефисто-вальс» – начинается словами: «Черт это танцует со мной», а затем – новые

¹²⁶ Там же, с. 482-483.

¹²⁷ И. Барсова. Симфонии Г. Малера, с. 357-358.

¹²⁸ D. Kerner. *Krankheiten grosser Musiker*, с. 181.

¹²⁹ Альма расшифровывает это слово как «преображение» (?) – см.: A. Mahler. *Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe*, S. 479.

¹³⁰ Цитата из «Тегилим» («Псалмов»), 22:2; вместе со следующим возгласом она, согласно евангелию, входит в т.наз. «последние слова на кресте».

взрывы отчаяния: «Безумие, схвати меня, проклятого!», «уничтожь меня», «чтобы я забыл, что я есмь!», «чтобы я перестал быть, чтобы я *ver...*» (последнее слово не дописано¹³¹). В самом конце этой части, где звучат почти совершенно приглушенные барабаны: «Du allein weisst was es bedeutet¹³²», «Ах! Ах! Ах!», «Прощай, моя игра на струнах¹³³!», «Прощай», «Прощай», «Прощай», «Прощай» (все пять «прощай» – с погрешностью против орфографии), «Ах», «Ах». На десятой странице финала и в конце готовых частей – «для тебя жить!», «для тебя умереть!», «Альмиш!»¹³⁴.

Это невозможно объяснить только боязнью смерти. Невольно напрашивается вопрос: не свидетельствует ли это о том, что, испытывая мучительный страх перед посмертным наказанием, в последней своей симфонии Малер собирался изобразить уже потусторонний мир и опять стремился к «сублимации» – «смягчить» небесный Суд, «убедив» его, что незачем подвергать его наказанию после смерти, если он уже «пережил» его на земле? Во всяком случае, нет никакого сомнения в том, что комплекс

¹³¹ Предположительно: *verende* («сдох»), *verkomme* («сгнил»), *verrecke* («окошел») – см. Constantin Floros. Gustav Mahler. The Symphonies. Scholar Press, 1993, p. 310.

¹³² Альма связывает этот момент со сценой похорон, увиденной Малером в Нью-Йорке и произведшей на него чрезвычайно страшное впечатление. Однако эту фразу можно понять двояко: в женском роде (согласно трактовке Альмы, отнесшей ее к себе): «Ты одна знаешь, что это означает», или в мужском – «Ты один знаешь...» (тем более что местоимение *Du* («Ты»), согласно старой орфографии, Малер писал с заглавной буквы). Не обращался ли Малер, в действительности, к Всевышнему?

¹³³ Так называл Малер Альму в любовных письмах и стихотворениях, написанных в роковом августе 1910 г. (см. A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 461, 463).

¹³⁴ J. Rothkamm. Adagio aus der X Symphonie in Fis-Dur. Werkbetrachtung und Essay в сб.: R. Ulm. Gustav Mahlers Symphonien. Entstehung. Deutung. Wirkung, S. 311-312.

Альма обращает внимание, что ее имя оба раза написано на одной и той же мелодии (A. Mahler. Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, S. 479).

вины, мучивший Малера, и связанные с ним фобии достигли в то время высочайшей степени. «Дальнейшее – безмолвие...»

(продолжение следует)

© Эта работа зарегистрирована в Израильском Центре по охране авторских прав под номерами 1954, 1955.



Валерий Койфман

Живопись – неболтливое искусство

Три рассказа об искусстве

Не одним вдохновением. Художники о себе и о своем...

«Ни один художник не бывает художником изо дня в день, все двадцать четыре часа в сутки; все истинное непреходящее, что ему удастся создать, он создает лишь в немногие и редкие минуты вдохновения»

Стефан Цвейг



ожалуй, нет человека, который бы был совсем равнодушен к искусству. Иногда утверждают, что «искусство – это сотрудничество бога и художника, и чем меньше участие художника, тем лучше». Но нам мало просто любоваться шедеврами живописи и искусства вообще, мы хотим узнать больше о великих мастерах, создавших их. Кто они? Как они жили? Каковы их привычки? Как общались с коллегами, друзьями и недругами? Каковы были их мысли об искусстве и об окружающем мире вообще? Чем увлекались, кроме своего творчества? Над чем шутили?

Ответам на эти и другие вопросы посвящено бесчисленное количество монографий, статей, мемуаров, научных и не очень научных исследований, а также

множество художественных литературных произведений, театральных постановок, кинофильмов и т. д.

В результате выяснилось, что лучше всего, сжато и остроумно об искусстве и о себе поведали сами художники. Причем, именно их немногословные и образные словесные «шедевры» могут ответить почти на все наши вопросы.

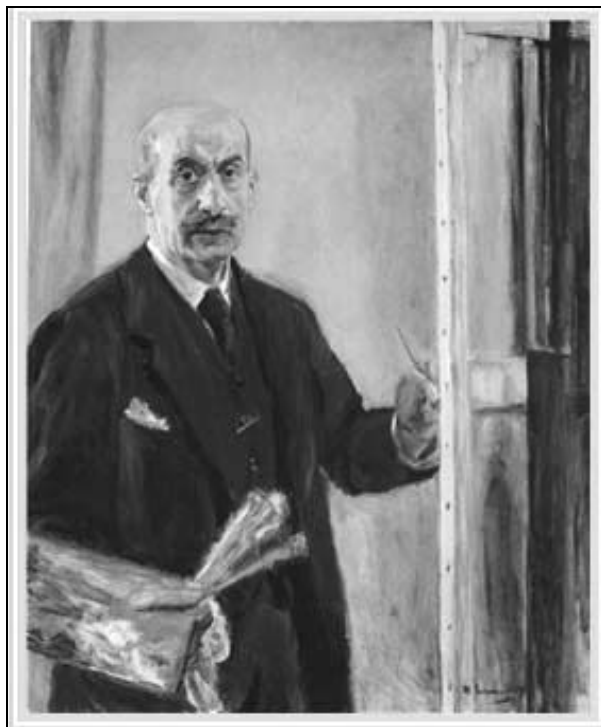
Как утверждал великий французский живописец, глава романтического направления в европейской живописи Фердинан Виктор Эжен Делакруа (1798-1863): «Живопись – небогатливое искусство, и в этом, ее немалое достоинство».



Эжен Делакруа. Автопортрет

Оказывается, живопись – вещь чрезвычайно серьезная, и ошибка художника дорого стоит. Когда великолепный художник, немецкий импрессионист Макс Либерман (1847-1935) собрался писать портрет известного

врача, тот, сославшись на занятость, согласился позировать Либерману только два раза: «Мне ведь хватает один раз осмотреть больного и поставить диагноз». Художник возразил: «Вашу ошибку скроет земля, а неудачная картина будет висеть долго, утверждая, что я плохой художник».



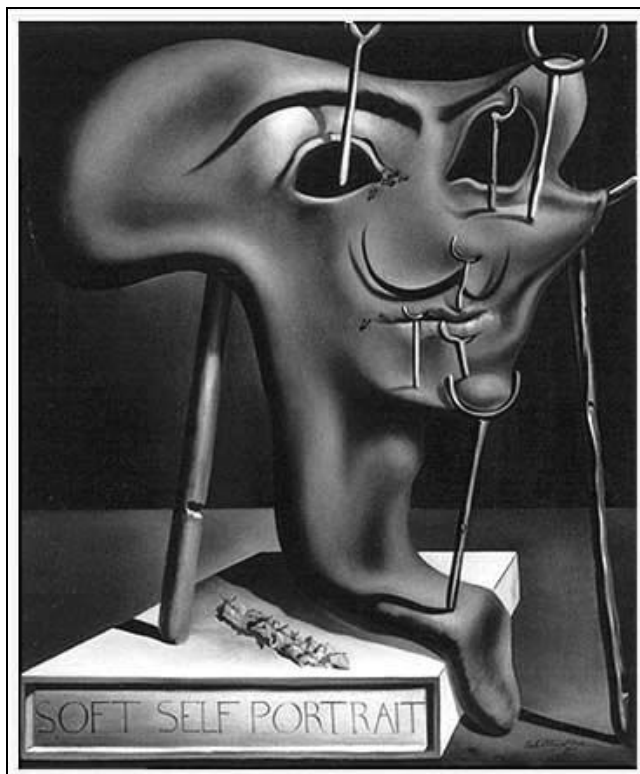
Макс Либерман. Автопортрет

Писание портретов вообще занятие опасное, ибо, как грустно заметил знаменитый американский художник Джон Сарджент (1856-1925), один из наиболее успешных живописцев «Belle Époque»: «Каждый раз, когда я пишу портрет, я теряю друга».

А, вообще, вы уверены, что знаете, что такое живопись? Ведь, по мнению самого Пабло Пикассо (1881-1973): «Живопись еще нужно изобрести!».

Зато наиболее «просто» на это ответил уверенный в своей гениальности Сальвадор Дали (1904-1989):

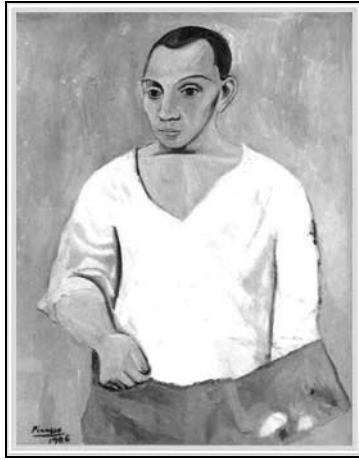
«Живопись – это сделанная рукой цветная фотография всех возможных, сверхизысканных, необычных, сверхэстетических образцов конкретной иррациональности», и он же утверждал для успокоения особо честолюбивых: «Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда».



Сальвадор Дали. Автопортрет

Неистовый новатор Пабло Пикассо отмечал, что «каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста».

Пабло сознал, как тяжела судьба художника, ибо «...начинающего художника понимают лишь несколько человек. Знаменитого – еще меньше». Пикассо сам же и находил этому объяснение: «Ведь и среди людей больше копий, чем оригиналов».



Пабло Пикассо. Автопортрет

И все-таки главное — это мастерство и талант художника, ведь как справедливо сказал Иван Николаевич Крамской (1837-1887): «Можно иметь на палитре все краски и писать однотонно».

А теперь давайте просто прислушаемся, к тому, что интересного «выболтают» нам о себе и других сами художники. Благо, что печатные и электронные источники информации легко позволяют нам это сделать.

Крупнейшего представителя постимпрессионизма Поля Гогена (1848-1903) раздражали художники, выдвигающие разные теории, но, например, плохо владевшие рисунком: «Если художники не могут создавать произведение искусства, то они ничего не знают о живописи, а также и то, что она пишется кистью, а не языком».

Несравненный Альбрехт Дюрер (1471-1528) отличался большей вежливостью. Когда ему показывали плохие картины, он деликатно говорил: «Что ж, художник сделал всё, что смог».

Художники обычно любят и исследуют жизнь во всех ее проявлениях. Так автор прославленного полотна «Последний день Помпеи» Карл Павлович Брюллов (1799-1852) преклонялся перед живой натурой. «О, смотрите!

Какое замечательное колено! – говорил он ученикам. – Да здесь целый оркестр в этой ноге».



Карл Брюллов. Автопортрет

Его знаменитому младшему коллеге по профессии Илье Ефимовичу Репину (1884-1930) не понравилась известная картина Николая Ге «Что есть истина?». Христос, по мнению Репина, вышел как карикатура. Он заметил: «Так и кажется, что Пилат поднял руку, протянул её к Христу и говорит ему: "Посмотри на себя в зеркало!"».



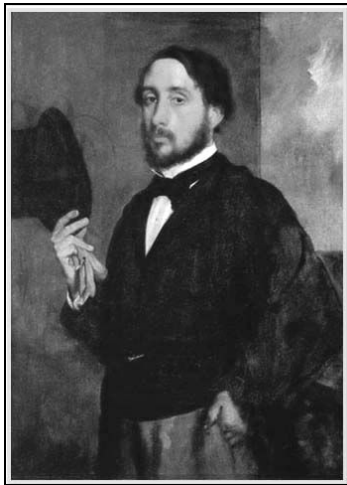
Илья Репин. Автопортрет

Один из ведущих представителей импрессионизма Огюст Ренуар (1841-1919) говорил о заказанных портретах:

«Когда люди попадают совсем никудашные, я принимаю это как испытание». Но, когда ему предложили написать портрет одной глупой и злой дамы, Ренуар ответил: «Я не умею писать диких зверей!»

Однажды молодой Дега после долгих поисков нашел в небогатом районе Парижа подходящую комнату для мастерской. Хозяин выставил условия: «Всё должно быть тихо; никаких гостей, никаких криков; домой возвращаться не поздно – полы скрипят; не храпеть – стены тонкие». Дега согласился, но вежливо заметил: «Я художник, и не будет ли Вас беспокоить плеск воды, в которой я мою свои кисти?».

Когда известный критик попросил другого великого художника-импрессиониста Эдгара Дега (1834-1917): «Можно я зайду к Вам в мастерскую посмотреть Ваши работы?». «Конечно-конечно, – радушно ответил художник, – но только вечером, когда стемнеет. Пока хоть что-либо видно, я работаю».



Эдгар Дега. Автопортрет

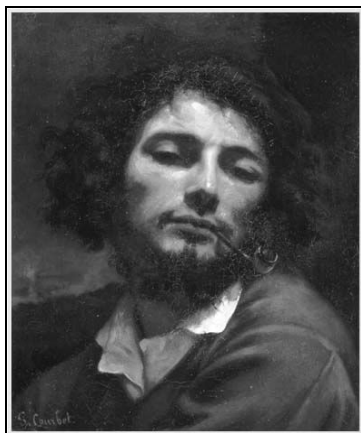
А вот, что, обращаясь к посетителям, написал на дверях своей мастерской французский художник, график и скульптор Оноре Домье (1808-1879): «Тот, кто приходит ко мне, оказывает мне большую честь. А тот, кто не приходит, доставляет мне большое удовольствие».

На картинах недостижимого мастера «впечатлений» Клода Моне (1840-1926) из цикла «Тополя» удивительным образом была передана сила ветра. Рассматривая их, Э. Дега заявил вдруг Клоду: «Извини дружище, я пойду – у меня такое чувство, будто отовсюду дует».

Эжен Делакруа (1798-1863) подарил приятелю маленькую картину «Турок с саблей на лошади». «Превосходно, – сказал приятель, – но где же у турка сабля?». «Я изобразил не саблю, а её блеск», – величественно ответил художник.

Тонкий мастер пейзажной живописи Архип Иванович Куинджи (1842-1910) рассказывал о том, что его оклеветал один малознакомый ему человек. При этом художник задумался и произнес: «Странно, а ведь этому человеку я никогда добра не делал».

Знаменитый борец за реализм в искусстве Густав Курбе (1819-1877) любил, в принципе, только свою живопись. Однажды он прямо заявил Клоду Моне: «Какую, однако, дрянь ты посылаешь в Салон. Ну, ничего – зато, как это их позлит!».



Густав Курбе. Автопортрет

Когда картины самого Курбе на одной выставке повесили около самой двери, он не обиделся, но искренне заметил: «Глупо! Ведь возле них соберется такая толпа, что никто не сможет протиснуться внутрь».

Кроме живописи Курбе любил еще и охоту. Он говорил: «Охотник – это сердце, стремящееся утолить свою печаль в меланхолии лесов», и добавлял лукаво: «А пока охота запрещена, существуют красивые деревенские девушки».

Автору лучезарных пейзажей, французскому Клоду Лоррену (1600-1682), никогда не удавались фигуры людей, поэтому он прибегал к помощи своих учеников-художников, а покупателям объяснял: «Я продаю только пейзажи, а фигуры идут бесплатно в довесок».

В начале 1930 годов, когда мэтр классического авангарда Анри Матисс (1869-1954) был уже в зените славы, один американский бизнесмен сказал художнику, что в США появилось огромное количество подделок его картин. Матисс заметил: «Лучше всего вашему правительству вообще запретить торговлю моими картинами». «Ну что Вы! – изумился бизнесмен. – Тогда подделок будет раз в 10 больше».



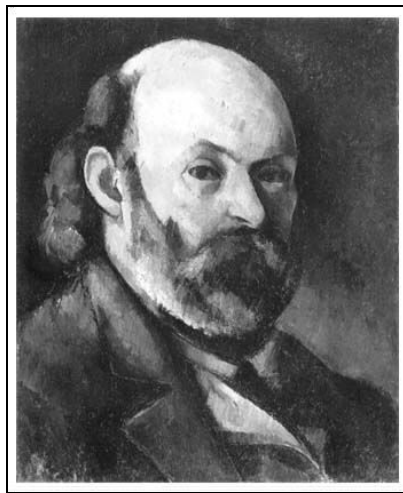
Эдвард Мунк. Автопортрет

Обычно названия работам выдающегося норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка (1863-1944) давали торговцы его картинами. Однажды он перебирал вместе с хозяином галереи свои литографии. «Кто это?» –

спросил его галерист, указывая на женскую головку. «Не помню, – отвечал художник, – помню только, что у неё было тонкое благородное лицо». «Тогда назовем её «Графиня»?», – предложил торговец. «Да, можно. Правда, она была хозяйка публичного дома в Любеке, но вполне возможно, что и графиня».

Один знаменитый врач важно сказал однажды Пабло Пикассо: «Я неплохо знаю анатомию и могу сказать, что люди на Ваших картинах вызывают недоумение». «Вполне возможно, – согласился Пикассо, – но могу Вас заверить, что проживут они гораздо дольше Ваших пациентов».

Новый почтальон принес Пикассо письма. Художник принимал его в своей мастерской. Уходя, почтальон заявил: «Однако у Вас способный сынок». «Интересно, с чего Вы это решили?» – удивился Пикассо. «Ведь вижу, сколько тут хороших детских рисунков».



Поль Сезанн. Автопортрет

Однажды молодой Поль Сезанн (1839-1906) остановился переночевать в небольшой гостинице. Утром хозяин спросил: «Как вам спалось? Наверное, не очень хорошо, ведь матрац на вашей кровати довольно жесткий». «Вы правы, – ответил Сезанн, – я ночью вставал, чтобы немного отдохнуть».

К уже знаменитому Сезанну зашел богатый, но скуповатый покупатель: «Мсье, нет ли у Вас чего-нибудь недорогого, но, желательно, в масле?». «Банку сардин в масле Вы купите в магазине напротив», – был ответ художника.

Как-то Ренуар и его друг, один из родоначальников импрессионизма, Эдуард Мане (1832-1883) обменивались мнениями о некоем художнике. «Не говорите о нем с такой злобой, ведь он уже одной ногой стоит в могиле, – заметил Ренуар. «Верно, – ответил Мане, – но пока второй ногой он стоит в краске!».

Художник-сюрреалист Джоржо де Кирико (1888-1978) говорил: «То, что я слышу, не имеет значения; важно то, что я вижу, особенно когда закрываю глаза». Закроем и мы глаза на некоторые неделикатные высказывания художников, ведь литература не их жанр, они привыкли держать в руках кисть.

Правда, как тонко заметил немецкий теоретик искусства, драматург и критик Готхольд Лессинг: «Жаль, что художник не рисует прямо глазами. Как много пропадает на длинном пути от глаз через руку и кисть». Лессинг, возможно, прав, но мы благодарны художникам и за то, что остается!

Прав и великий французский живописец Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779), который писал: «Кисть, рука и палитра нужны, чтобы рисовать, но картина создаётся вовсе не ими», имея в виду душу художника.

Вновь дадим слово Эжену Делакруа: «Живопись – это сама жизнь. В ней природа предстает перед душой без посредников, без покровов, без условностей. Поэзия неосвязаема. Музыка неосвязаема. Но живопись, особенно в пейзаже, это что-то реальное. Поэты, музыканты, я не хочу умалить вашу славу. Ваш жребий тоже прекрасен. Но да воздается каждому по справедливости!».

Думаю, что всем ценителям высокого искусства будет приятно узнать мнение о них знаменитого писателя, автора уникального романа «Портрет Дориана Грея», Оскара Уайльда: «Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадёжны».

**Джек Веттриано – «народный художник» Соединенного
Королевства**



Автопортрет в черном

В апреле 2004 года в Эдинбурге на аукционе шотландского искусства, проводимом Sotheby's, произошло событие, ставшее в художественном мире сенсацией года: картина ныне здравствующего шотландского художника-самоучки Джека Веттриано «Поющий дворецкий» была приобретена за £ 744 800 (\$1 млн. 300 тысяч).



Художник и его модель

Событие тем более удивительное, что его работы никогда ранее не приобретались музеями, и что трудно

найти ещё одного современного художника в Великобритании, к которому в лагере искусствоведов относились бы с таким явным пренебрежением и насмешками. В Англии, где и ныне популярен афоризм: «Хороший художник – мертвый художник», найдется не так много мастеров, чьи работы ещё при его жизни стали бы известными во всем мире.

Сегодня же Веттриано бесспорно один из самых популярных и самых коммерчески успешных художников в Соединенном Королевстве (и не только).



Поющий дворецкий

Объемы продаж, например, репродукций «Поющего дворецкого» обгоняют в Англии даже «Подсолнухи» Ван Гога. Почти во всех книжных магазинах и магазинах изобразительного искусства Европы и Америки успешно продаются разнообразные постеры, плакаты, открытки, календари, блокноты, кружки и другие товары с репродукциями Веттриано.

Его работы в стиле «ретро» (привлекательные мужчины, роскошные женщины, романтические поцелуи, шикарные автомобили, ароматы страстей и ветры странствий) идеальный материал для репродукций, неизменно привлекающих массы людей, чей душевный настрой созвучен с романтическим мировосприятием.

О своем нашумевшем «Поющем дворецком» сам художник сказал однажды так: «Когда люди сидят вечером

на диване, им всегда приятно представить, что эта танцующая пара – они сами».

Джек Веттриано (Jack Vettriano), настоящая фамилия – Хогган (Hoggan), родился в шахтерской семье 17 ноября 1951 года в шотландском городке Сент-Эндрюс (область Файф), известном своим университетом. В небольших живописных городках области Файф на побережье Северного моря прошли детские и юношеские годы Джека.



На пирсе

Сначала он учился в Старшей школе Киркланда, потом поступил в Технический колледж в Кирколди, родине всемирно известного экономиста Адама Смита.

В 16 лет Джек попрощался с учебой и устроился помощником горного инженера на шахту в городе Метил.

К рисованию юноша обратился лишь в 21 год, когда подруга вдруг подарила ему на день рождения набор акварельных красок (такова, во всяком случае, версия самого художника). Персонажи первых работ Хоггана до некоторой степени повторяли образцы из известного справочного пособия для иллюстраторов, о чем в дальнейшем не преминули ему напомнить недоброжелательные критики. Сначала рисование для него было не более чем приятным хобби – юноше просто нравилось рисовать, а так же копировать полотна шотландских мастеров XIX-XX веков в музее Кирколди.

Потом он открыл для себя импрессионистов, стал подражать им и копировать их шедевры (он очень гордился своей копией с «Маковых полей» Клода Моне).



Время цветения

Вот такой была, пожалуй, и вся основа художественного образования Джека Хоггана. Другого специального образования он так и не получил и в дальнейшем упорно «растил» в себе художника уже сам. Долгих 14 лет Джек творил, что называется, «в стол», не выставляя свои работы перед публикой. Лишь в 1988 году он рискнул предъявить их на суд зрителей, впервые представив пару своих полотен на ежегодной выставке в Шотландской Королевской Академии. Картины Веттриано были, к изумлению устроителей выставки, с энтузиазмом встречены зрителями, и их выкупили в первый же день. На художника-самоучку посыпались весьма лестные предложения от заказчиков (галеристов и состоятельных любителей живописи).

Вскоре Хогган переезжает в Эдинбург и становится художником Джеком Веттриано, взяв в качестве псевдонима чуть измененную фамилию своей матери-итальянки. В последующие годы его творчество быстро развивалось, а

интерес к нему со стороны коллекционеров рос еще быстрее.



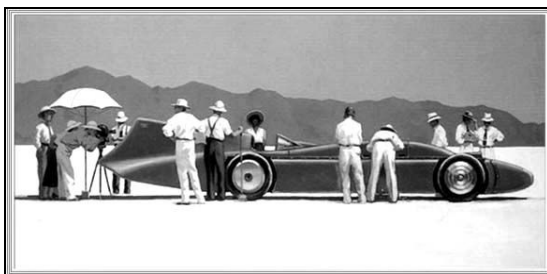
Вернулся!

В 1991 году работы Веттриано с успехом экспонировались на выставке «Контраст стилей», приуроченной к знаменитому Эдинбургскому фестивалю искусств. Этот успех получил громкое продолжение в 1992 году, когда в Эдинбурге состоялась первая персональная выставка художника под интригующим названием «Сказки о любви и прочие истории». За ней последовали многочисленные выставки в Лондоне («Часы бьют полночь», 1994; «Страсть и боль», 1996), в Гонконге, в Йоханнесбурге и др. городах. К художнику приходит известность, а его картины стали «обживать» крупнейшие частные художественные коллекции мира.

В 1997 году работы Веттриано, принадлежавшие сэру Теренсу Конрану, известному ресторатору и не менее известному дизайнеру, выставлялись в его клубе «Синяя птица» в лондонском районе Челси. Это были картины из коллекции сэра Конрана и связанные, в основном, с именем легендарного английского автогонщика 1920-1930 годов Малькольма Кэмпбелла.

Род Кэмпбеллов был один из самых древних и уважаемых в Шотландии, так что судьба Малькольма, к

тому же великого автогонщика, неоднократно побивавшего мировые рекорды скорости на своих болидах «Синяя птица», безусловно, интересовала такого романтика, как художник Джек Веттриано. После продажи коллекции сэра Конрана многие картины Джека Веттриано из серии о Малькольме Кэмпбелле и его «Синей птице» можно увидеть в Portland Gallery (Лондон).



«Синяя птица» на Бонневилле

Пока это фактически единственное публичное художественное собрание в Великобритании, в котором широко представлены полотна шотландца из Файфа.

В ноябре 1999 года Веттриано впервые представил свои работы в Нью-Йорке на выставке под названием «XX век». В считанные минуты после открытия выставки все 20 полотен гостя из Соединенного Королевства были распроданы. Коллекционеры активно «голосовали кошельками», желая стать обладателями дорогих оригиналов живописи этого необычного мастера.

Спрос был так велик, что богатые и знаменитые представители американской элиты записывались в длинные списки очередников на новые полотна художника-самоучки, творчество которого художественные критики характеризовали не иначе, как вульгарный «кич» — безвкусица, халтура (термин „*Kitsch*“ возник, видимо, в Мюнхене еще в XIX веке для обозначения дешёвых, быстро распродающихся картин).

Порой критики называли его работы „*narrative art*“, то есть искусство, рассказывающее всего лишь какие-то истории.



Большое искушение

Однако миллионы людей «кичевые» истории Веттриано просто завораживали чувством невыразимого одиночества, оживающей на глазах романтикой, светлой грустью и чем-то еще, что трудно выразить словами. Они словно кадры фильмов, возникших из синтеза американского крутого детектива и немецкого экспрессионизма, в жанре «фильм нуар» (фр. *Noir* – *чёрный*, жанр киноискусства, изображающий гангстерский мир эпохи Великой Депрессии).

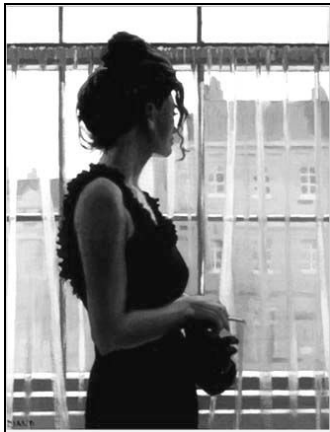


Время, назад!

И вот, наконец, 2004 год, когда шотландец буквально врывается в мир высокого искусства, – его картина

«Поющий дворецкий», традиционно обозначенная критиками и экспертами как безвкусица, была продана на аукционе Sotheby's в Эдинбурге неназванному покупателю из Британии за \$1 млн. 300 тысяч (при начальной цене – \$360 тысяч). Это сразу поставило полотно Веттриано в одну ценовую категорию с работами выдающихся мастеров, а сама сумма продажи стала абсолютным рекордом для шотландской живописи. В целом на этом аукционе были проданы 14 полотен художника-самоучки из Файфа (на общую сумму \$3,4 млн.).

На картине «Поющий дворецкий» изображена танцующая пара на мокром песчаном пляже: дама в элегантном красном платье, но босиком, и мужчина в смокинге, в то время как дворецкий и горничная, с трудом удерживая зонтики, пытаются защитить их от сильного ветра. Это был тот случай, когда художник, а вместе с ним и массовый вкус победили на условно «чужом поле». Это было «поле» Sotheby's, где богатые покупатели прислушиваются, как правило, именно к критикам и экспертам.



Одиночество

Известный лондонский критик Р. Корк, который хоть и не был в восторге от творений Веттриано, признал, что этот «успех художника стал заметным культурным явлением в мире».

Надо отметить, что доход самого художника в результате торгов увеличился лишь косвенно. «Поющего дворецкого» Джек Хоган (еще не Веттриано) написал в 1991 году и предложил его Шотландскому художественному совету за £2 тыс., однако ему отказали. Буквально тут же картина была куплена за £3 тыс. частным лицом. В 1998 году картина сменила владельца уже за £33 тыс., а позже – за £90 тыс., но Веттриано ко всем этим перепродажам отношения уже не имел.

Правда, еще до аукциона в Эдинбурге ежегодный доход художника только от продажи прав на репродукции своих картин в Англии составлял более £250 тысяч.



Прекрасная мечтательница

Для Джека Веттриано 2004 год вообще оказался очень удачным. Британский журнал „ArtReview“ обнародовал тогда список 100 наиболее влиятельных деятелей искусства нашего времени, в котором, хоть и в конце списка, фигурировал художник-самоучка из Файфа. Если прибавить к этому, что еще в 2003 году, учитывая огромную популярность получил «Орден Британской Империи», то права была и успешность своего творчества, Джек Веттриано уже газета «Таймс», писавшая, что «для живописца, которого принципиально игнорируют

художественные галереи, но обожает массовая аудитория, все это означало очередное признание в любви».

Феномен Джека Веттриано, его путь к успеху, становится предметом постоянного пристального изучения и обсуждения в бесчисленных печатных и интернет-изданиях во всем мире. При этом, учитывая его скромный образ жизни, почти не затрагивается личная жизнь художника, ограничиваясь лишь информацией, что он женат во втором браке, что живет постоянно между Лондоном и Эдинбургом и любит подолгу бывать в Ницце. На сегодняшний день о Джеке Веттриано вышло пять книг различных авторов, последняя книга о нем под названием “Studio Life” вышла из печати в марте 2008 года.

Интерес к личности художника подогревает еще и тот отрадный факт, что Джек Веттриано, выходец из простой шахтерской семьи, вот уже много лет активно занимается филантропией и меценатством.

После многих лет упорного труда, пройдя через насмешки и непризнание художественной элиты, Веттриано становится достаточно богатым и знаменитым человеком, чтобы сполна ощутить вкус «сладкой жизни» („La Dolce Vita”). Однако он не только стремится обладать для себя и своих близких всевозможными благами, но и считает своим долгом вкладывать значительные средства на решение глобальных гуманитарных и экологических проблем человечества, на помощь бедным и обездоленным. Еще в 2001 году художник пожертвовал для проводимого Sotheby's благотворительного аукциона картину «Прекрасная мечтательница».

Деньги пошли на помощь одному из хосписов. По словам самого Веттриано: «Хоспис – это достойная жизнь до конца. Здесь работают с живыми людьми, которые только умирают раньше нас».

С 2004 года шотландец финансирует в университете своего родного города Сент-Эндрюс несколько стипендий для одаренных студентов из необеспеченных семей. В 2008 году Веттриано предоставил для благотворительного аукциона свою новую картину «Олимпия», изображающую внучку королевы Елизаветы II, знаменитую чемпионку мира

по конной выездке Зару Филлипс. Подобных примеров благотворительности в биографии художника немало, и говорят они, прежде всего, о его высоких душевных качествах. Не зря ему приписывают слова: «Главное, что ты должен знать и помнить, это то, как мало ты сочувствуешь людям».



Поминки по погибшему адмиралу

Пока художественные критики и большие музеи разбираются, где место Джека Веттриано в искусстве, и есть ли ему место там вообще, множество популярных первоклассных работ художника уже нашли постоянную прописку в частных собраниях целого ряда западных знаменитостей. Среди коллекционеров его картин такие разные личности, как культовые актеры Джек Николсон и Робби Колтрейн; суперзвезда эстрады, певица Мадонна; голливудский режиссер немецкого происхождения Роланд Эммерих (кстати, родом из Штутгарта); знаменитый британский либреттист сэр Тим Райс, соавтор рок-оперы «Иисус Христос Суперстар»; писательница и журналистка Алиссон Кеннеди, дважды попадавшая в число лучших британских авторов; известная диктор английского телевидения и радио Валери Зинглетон; английская писательница и издатель Эвелин Поллард; один из лучших

футболистов мира сэр Алекс Фергюсон, с 1986 года – главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед».

Картины Веттриано несут в себе некий магнетизм, который притягивает зрителя из будничного мира в параллельный, существующий вне временных и пространственных измерений, мир, где вечная история о жизни и любви соткана из сновидений и воспоминаний, из прочитанных книг и старых фильмов, из мечты и несбывшихся желаний.

Художник остается при этом только постановщиком сцен, а чтобы оживить героев, мы должны сами дописать для себя сценарий, дорисовать что-то в своем воображении, узнать среди увиденного кого-то из близких и друзей, или, возможно, – самих себя.

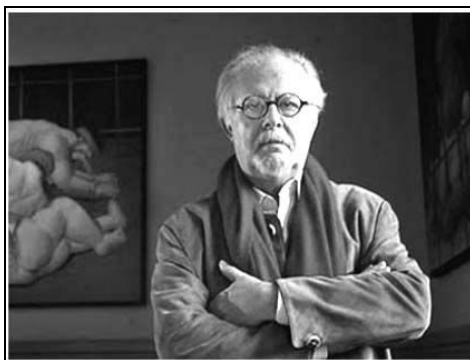
Неудивительно, что на известном рассылочном сайте **EasyArt.com** Джек Веттриано – абсолютный лидер по продажам постеров, тиражирующих его работы. Шотландец обошел здесь К. Моне, В. Ван Гога, С. Дали, П. Пикассо и других традиционных «постерных чемпионов». Люди тянутся к работам художника-самоучки, часто находя в них, как уже отмечалось, то, чего они сами не смогли достигнуть в жизни или получить в окружающем их довольно жестоким и рациональным мире.

Дорогого стоит такая запись из книги отзывов на одной из выставок «народного художника» Джека Веттриано, выведенная молодой рукой: «У меня никогда не было любимого художника. Теперь, кажется, есть».

Мир художника Фернандо Ботеро

Полотна Фернандо Ботеро, самого крупного из ныне здравствующих художников мира, находятся в самых престижных музеях мира, а его скульптуры вписались в уличные интерьеры Парижа, Рима, Нью-Йорка и других столиц и городов мира. И все же возможность увидеть «вживую» работы этого мастера есть далеко не у каждого.

Работы мастера легко узнаваемы: фигуры своих персонажей он намеренно делает несоразмерно крупными, с преувеличенно пышными формами.



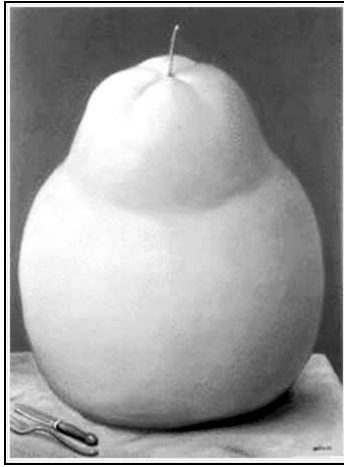
Ф. Ботеро. Фото

И неважно, кто это: бравый генерал, тореро, епископ, ребенок, балерина, монашка или особа легкого поведения. Даже музыкальные инструменты, предметы быта, фрукты и ягоды у него «пышнотелы». Ботеро объясняет это так: «Формами и объемами я пытаюсь воздействовать на чувства людей».



Балерина

Картины художника иногда так и называют — «ботерос», учитывая их неповторимый индивидуальный стиль.



Груша

Выходцу из простой колумбийской семьи Фернандо Ботеро пришлось много учиться и трудиться прежде, чем появилась его обманчиво простая и наивная манера, в которой синтезированы достижения от Дюрера до Пикассо и от доколумбовой индейской культуры до мексиканских монументалистов.

Родился Фернандо Ботеро 19 апреля 1932 года в городе Медельине, Колумбия. Его отец, Давид Ботеро, был коммивояжером. Он умер, когда сыну было всего 4 года.

Воспитанием Фернандо занимался его дядя. Вначале Фернандо посещал иезуитскую гимназию, но в 1944 году, по совету дяди, 12-летнего паренька отдали в школу матадоров.

Тогда и возникли первые юношеские рисунки. Это были тореро, быки, арена – мир корриды.

Уже в 16 лет Ботеро начинает участвовать в выставках в родном Медельине и работать художником в местных журналах, чтобы заработать на учебу в колледже.

В 1951 году Ботеро переезжает в столицу Колумбии, в город Боготу. Здесь он близко сходитсся с представителями колумбийского авангарда. Фернандо пишет работы под влиянием Гогена и раннего Пикассо.

Потом была учеба в престижной мадридской Академии изящных искусств Сан-Фернандо.

В 1953 году художник приезжает во Флоренцию, где проходит в университете курс истории искусств, потом основательно изучает технику фресковой живописи в Венеции.

Переполненный впечатлениями и знаниями Ботеро возвратился в Боготу, но выставка его итальянских работ на родине успеха не имела. В 1956 художник женится на Глории Зеа, и они сразу уезжают в Мехико. Здесь под влиянием мексиканской монументальной живописи стал проявляться оригинальный творческий стиль Ботеро.

Его известность как художника растет, и в 1958 году Ботеро приглашают в Боготу на должность профессора живописи в Академию художеств.

В 1960 году художник переезжает в Нью-Йорк, где он разводится с женой. В этом же году художник становится лауреатом престижной Национальной премии им. С. Гуггенхайма, хотя это было время, когда фигуративное искусство в Америке не было в особом почете.



Мона Лиза

Ставший знаменитым стиль живописи Ботеро уже достигает своей полноты, и в 1961 году, несмотря на критические голоса из лагеря сторонников абстракционизма, Музей современного искусства в Нью-Йорке приобретает первое полотно колумбийца. Это была картина «Мона Лиза в 12 лет».

В Вашингтоне и Нью-Йорке с большим успехом проходит несколько персональных выставок Ботеро.

В 1964 году художник создает новую семью – он женится на колумбийке Сесилии Замбрано.

Фернандо приезжает в Европу с первой своей персональной выставкой в 1966 году.

Кстати, выставка вначале проходила в Германии (в Баден-Бадене, потом переехала в Ганновер).

Сам художник свое пребывание в Германии использует для изучения шедевров Дюрера, Кранаха, Грюневальда в музеях Мюнхена и Нюрнберга. Потом он будет интерпретировать некоторые из этих картин в своем стиле.



Семья

Постепенно слава художника из далекого Медельина становится поистине всемирной. Выставки одна за другой проходят одновременно в обеих частях Америки, в Европе, в Азии и в Австралии.

За всем этим скрывается огромная творческая работа, проделанная художником. Последующие годы

жизни мастера проходят в постоянных поездках между Колумбией, США и Европой.

Наконец, в 1973 году он окончательно поселяется в Париже, где покупает для себя большую мастерскую. Тогда же в Париже Ботеро создает свои первые скульптурные работы. Это были грандиозные композиции (в основном из бронзы), в которые «перекочевали» герои картин мастера. Работа скульптора захватила Ботеро, и к живописи он вернулся лишь в 1978 году.

На целых два года художник возвращается к своей первой теме – к теме корриды.

К этому времени у Фернандо Ботеро была уже большая семья – от двух жен у него было четверо детей. В результате автомобильной катастрофы на отдыхе в Испании в 1974 году погибает 4-х летний сын художника Педро.



Скульптура на площади Копенгагена

Позднее, в память о нем, Ботеро дарит музею в Медельине 16 своих работ. И это было только начало.

О щедрости художника ходят легенды. Музею изобразительных искусств Боготы, например, он подарил коллекцию современной живописи, в которой были работы от Коро, Мане и Тулуз-Лотрека до Шагала, Дали и Пикассо.

А своему родному Медельину он подарил в общей сложности более 200 работ. Если учесть, что стоимость

картин Ботеро на мировом художественном рынке доходит до миллиона долларов, то станет ясным щедрость дарителя.

Благодарные жители и власти Медельина выделили несколько кварталов в центре города для размещения культурного центра, который был назван «Сьюдад Ботеро» («город Ботеро»).

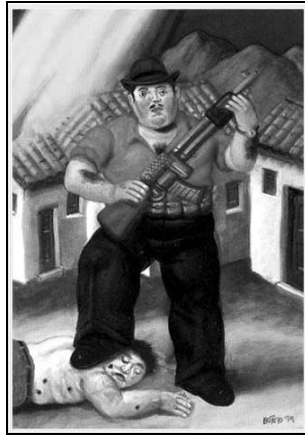
«Может теперь наш город отмоется от позорной славы международного центра наркобизнеса, и не преступный «Медельинский картель», а художественные ценности будут определять лицо нашего города в мире», – говорили люди.



Резня в Колумбии

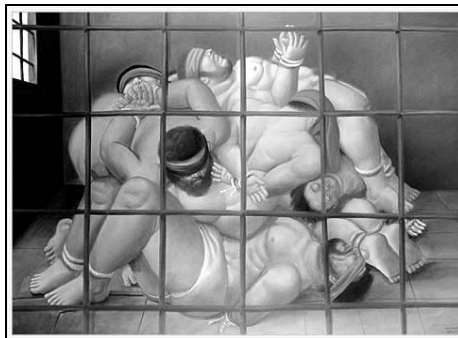
В 1999 году среди картин Ботеро стали впервые появляться работы, повествующие о насилии, которое сотрясает его родину. Это картины кровавых расправ, бесконечных похоронных процессий – всего того, чем страна живет уже на протяжении более 40 лет.

Такова картина «Охотник», в которой гордый «охотник», вооруженный автоматом, попирает голову..., нет, не добычи, а убитого им человека. Художник заметил: «Когда Колумбия станет мирной цивилизованной страной, люди посмотрят на мои картины и удивятся, в каком иррациональном, абсурдном мире мы жили».



Охотник

Драматичной страницей творчества колумбийца стала серия картин под названием «Абу Грейб», созданная в 2005 году. Она, по словам автора, продолжает тему жестокости и насилия в мире. Сорок восемь картин и офортов этой серии, чем-то напоминающих «Капричос» Гойи, обличают бессмысленное мстительное насилие и вседозволенность. Картины из серии «Абу Грейб» продаже не подлежат и целиком выставляются по всему миру.



За решеткой

Многие годы упорного труда превратили мастера Фернандо Ботеро в одного из самых значимых из ныне живущих художников мира. Начиная с 1992, разные города

мира приглашают Фернандо Ботеро к сотрудничеству, чтобы демонстрацией его произведений придать большего размаха своим торжествам, будь то юбилеи или Олимпийские игры. Так было в Мадриде, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Буэнос-Айресе, Монте-Карло, Флоренции, Берлине и многих других.

В России есть прекрасная скульптурная композиция Ботеро – «Натюрморт с арбузом», подаренная автором Эрмитажу, которая выставлена в Зале искусства Европы и Америки XX века.



Натюрморт с арбузом

Знакомство с живописью и скульптурами большого и доброго мастера Фернандо Ботеро никого никогда не оставят равнодушными. Ведь это творчество талантливого человека, который любит жизнь, любит людей и желает им всем мира и счастья.



Люсьен Фикс

Марк Шагал в Вашингтоне



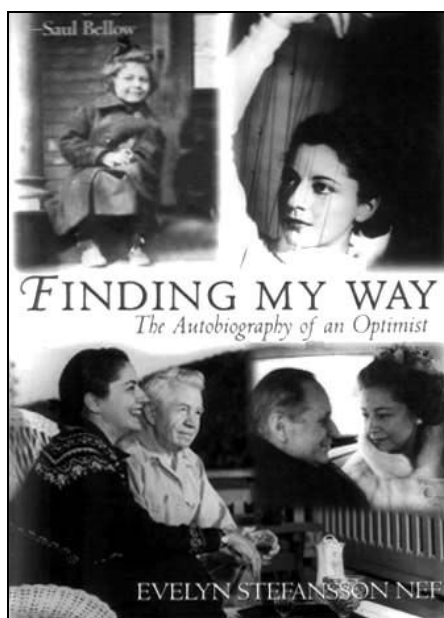
Джорджтауне, историческом районе Вашингтона, есть особняк, где собрана большая коллекция картин знаменитых художников. Здесь есть Пикассо, Брак, Дюфи, Грош, Кандинский, Леже, Руссо, Синьяк, Утрилло и другие яркие представители современного искусства. Но самое большое достоинство коллекции – огромное мозаичное панно знаменитого русского художника Марка Шагала. Об этом мне рассказывал американский художник, мастерская которого находится в двух кварталах от этого особняка. Я познакомился с владелицей особняка, на персональной выставке моего знакомого в известном вашингтонском музее – Галерее Коркорана (Corcoran Gallery).

Мне очень хотелось увидеть эту коллекцию, особенно мозаичное панно Шагала, но мне было как-то неловко просить её об этом при первом знакомстве. И я стал ждать удобного случая.

Вскоре такой случай представился. На прилавке книжного магазина я увидел книгу под названием «FINDING MY WAY: The Autobiography of an Optimist» (В ПОИСКАХ СВОЕГО ПУТИ: Автобиография оптимиста). На обложке стояло имя автора – Эвелин Стефанссон Неф. Это та самая женщина, которая спонсировала выставку моего знакомого. Я купил книгу, внимательно её прочитал, позвонил автору и попросил о встрече для интервью.

Жила она одна в четырехэтажном особняке. О том, как ей удалось собрать такую огромную коллекцию, Эвелин Неф рассказала мне в ходе беседы. Но сначала мне хотелось бы вкратце рассказать об этой удивительной женщине.

Ее девичья фамилия Шварц. Родилась она в Бруклине в семье еврейских иммигрантов из Венгрии. С раннего детства проявила интерес к рисованию, и отец записал ее в нью-йоркскую школу, где наряду с общеобразовательными предметами большое внимание уделялось рисованию. Но художником она не стала. Скоропостижная смерть отца вынудила ее в 14 лет пойти работать, чтобы содержать семью. У нее было две сестры и малолетний брат. Мать после смерти мужа впала в глубокую депрессию и не могла работать.



Сначала Эвелин работала в пошивочной мастерской, потом в знаменитом универмаге «Мэйси» и даже в кукольном театре, а по вечерам продолжала заниматься в школе.

Через несколько лет Эвелин познакомилась с известным полярным исследователем Вильямуром Стефанссоном, который помог ей устроиться на работу в качестве оформителя в исландский павильон Международной ярмарки 1939 года в Нью-Йорке, а затем предложил ей место сотрудника в библиотеке полярных

исследований, носившей его имя. Общность интересов сблизили Эвелин и Стефанссона и, несмотря на большую разницу в возрасте, они вскоре поженились.

Библиотекой Стефанссона заинтересовался знаменитый Дартмутский колледж, и супруги переехали в штат Нью-Гемпшир. Для работы в области полярных исследований Эвелин пришлось выучить русский, исландский и датский языки. Вместе с мужем она совершила несколько исследовательских поездок на Аляску и Северный полюс и написала об этом две книги.

Вильямур Стефанссон, с которым Эвелин прожила 25 лет, скончался в 1962 году. Эвелин очень тяжело переживала утрату. Ей трудно было оставаться одной в небольшом городке, где ей слишком многое напоминало о покойном муже, и она решила искать новую работу. Поиски увенчались успехом. Эвелин нашла работу в Американском социологическом обществе в Вашингтоне. Вскоре она познакомилась с овдовевшим профессором истории Чикагского университета Джоном Нефом, который после выхода на пенсию жил в Вашингтоне. Вот что рассказывает моя собеседница:

«Я подумала: съезжу в Вашингтон на год, чтобы как-то отвлечься. Но менее чем через год после приезда в Вашингтон я встретила человека, который мне сделал предложение. Как и Стефанссон, он был интеллектual. Его страстью были произведения искусства. Мне было уже пятьдесят с лишним, но возраст не говорит ни о чем: я была снова влюблена. Он был состоятельный человек, мы много путешествовали, бывали в Париже и на французской Ривьере, где у него было много друзей. Впервые в жизни мне не нужно было работать. Как я уже говорила, я работала с 14 лет».

Дом Эвелин Неф – маленький музей. Здесь собраны прекрасные образцы современной живописи. Я поинтересовалась, как она приобрела эту коллекцию.

«Мой муж не был стеснен в деньгах, – рассказывает Эвелин. – Его первая жена была гавайским консулом. Они не были богаты, но у них было достаточно средств, чтобы путешествовать по миру и покупать произведения

искусства. В те годы можно было приобрести работу Модильяни всего за тысячу долларов. А графикой вообще мало кто интересовался. Мой муж купил четырнадцать гравюр Пикассо, которые вы только что видели, всего за сто долларов. Он начал собирать коллекцию в 1920-е и 30-е годы».

В коллекции есть много работ Марка Шагала, которые знаменитый художник подарил Эвелин и ее супругу. «Насколько мне известно, – сказал я, – художники редко дарят свои работы просто так, за красивые глаза...»

«Вы правы, но иногда им приходится чем-то расплачиваться, – говорит Эвелин Неф. – Мой муж в свое время организовывал симпозиумы в Чикагском университете, на которые приглашал знаменитых людей в качестве докладчиков. Обсуждались разные темы – политика, наука, архитектура, искусство... Марк Шагал был приглашен как художник. Мой муж и Шагал подружились. Шагал выступал по-французски, и мой муж выполнял роль переводчика. Так было и с Леже, и с Ле Корбюзье. В знак благодарности они дарили ему свои работы».

А вот как Эвелин Неф познакомилась с Марком Шагалом:

«Мы встретились в 1964 году, когда я и Джон Неф проводили медовый месяц. Я не говорила по-французски и была в отчаянии. А Марк не знал английского. Он говорил на идиш, по-русски и по-французски. Но я знала русский язык! Я учила его, когда была замужем за полярным исследователем. Моим учителем в колледже Миддлберри была Мария Морозова, внучка легендарного русского коллекционера Ивана Морозова. России принадлежит 51 % арктического пространства, и много работ на эту тему написано по-русски. Мне нужен был русский язык, чтобы читать научные публикации. Шагал и его жена были удивлены моим знанием русского».

Так Эвелин Неф подружилась с великим художником. Я спросил: не хотела бы она продолжить нашу беседу по-русски. Произнеся несколько русских слов, она сказала: «Как жаль, что мы с вами не встретились 20 лет назад»...

Чета Неф гостила у Марка Шагала и его жены на юге Франции, а когда Марк Шагал с женой приезжали в Вашингтон, они останавливались у супругов Неф. Каждый год на день рождения Марк Шагал дарил Эвелин Неф литографию с дарственной надписью.



В 1967 году, когда Марк Шагал снова был в Вашингтоне, он сказал: «Я хочу что-нибудь сделать для вашего дома. Но поскольку ваш дом и так полон произведений искусства, я сделаю мозаичное панно для вашего сада», – вспоминает Эвелин Неф. – «Мы думали, что он забудет. Но когда на следующий год мы снова были на юге Франции, жена Шагала сказала: «Марк закончил макет вашего мозаичного панно». Я полагала, что это что-то небольшое. Но когда он пригласил нас в свою студию и торжественно снял покрывало, мы были поражены. В студии был итальянский мастер Лино Милано, который должен был выполнить проект Шагала в мозаике. Он делал такую работу для Пикассо, Брака, Леже и других».

Мозаичное панно было выполнено в мастерской Лино Милано в Ницце и по частям самолетом доставлено в Вашингтон. Оно было установлено на специально для этого построенной кирпичной стене в саду дома супругов Неф. Это самое большое мозаичное панно в частной коллекции в Западном мире. На панно размером 3х7 метров изображены персонажи из классической греческой мифологии – играющий на лютне Орфей, три грации и крылатый Пегас. На нижней части панно – группа иммигрантов и беженцев, готовящихся к переезду через широкий голубой океан в страну небоскребов. Во время Второй мировой войны эта страна дала приют самому Шагалу. Работа по установке панно заняла полтора года, и после завершения работы Марк Шагал приехал посмотреть на свое творение.

«Кто унаследует вашу бесценную коллекцию, ведь у вас нет наследников?» – поинтересовался я.

«Этот вопрос я уже давно решила, – сказала Эвелин Неф. – В благодарность стране, которая предоставила мне, дочери иммигрантов, столь широкие возможности, я завещала всю коллекцию, включая мозаику Марка Шагала, вашингтонской Национальной художественной галерее».

Эвелин Неф скончалась 10 декабря 2009 года в возрасте 96 лет.



Игорь Иванченко

«Славянские традиции-2009»

«Славянские традиции» станут традицией



полуостров Крым во все века – благодатная и благословенная для славянских (и не только) писателей земля. Имена Гомера, Пушкина, Лермонтова (по одной из версий), Грина, Паустовского, Волошина, Цветаевой и многих других известных писателей так или иначе связаны с Крымом. В XX веке едва ли не каждый профессиональный писатель был и работал в Крыму, вдыхая этот чудный воздух, в котором не иссякают флюиды и фитонциды вдохновения, и выдыхая талантливые поэтические и прозаические строки...

25 августа 2009 года во Дворце культуры «Арабат» города Щёлкино (Крым, мыс Казантип, Азовское море) торжественно открылся первый Международный литературный Фестиваль «Славянские традиции».

Начало истории «Славянских традиций» положено 17 октября 2008 года в Штутгарте (Германия) на Международном литературном Фестивале «Русский Stil», где Союз писателей России (СПР) представляла Ирина Силецкая, а Конгресс литераторов Украины (КЛУ) – Юрий Каплан. Начало – в Штутгарте, продолжение – в декабре 2008 года в Москве, куда, по договорённости с Ириной Силецкой, Юрий Каплан приехал из Киева. Именно в столице России носившаяся в воздухе идея о сотрудничестве писателей двух славянских стран материализовалась в конкретный Договор между СПР и КЛУ и в Решение о проведении литературного Фестиваля в Крыму, которое поддержал СПР. Юрий Каплан и Ирина Силецкая стали и

соучредителями, и сопредседателями оргкомитета, и членами жюри будущего Фестиваля «Славянские традиции – 2009». (Трагическая смерть Юрия Каплана в июле 2009 года, к великому сожалению, оборвала его огромную работу по организации и проведению Фестиваля).

Оргкомитет «Славянских традиций» возглавил Юрий Поляков, известный писатель, главный редактор «Литературной газеты». В качестве почётных гостей, членов оргкомитета и жюри на Фестиваль приехали Евгений Рейн, Владимир Костров, Валерий Казаков, Сергей Казначеев, Владимир Спектор, Станислав Бондаренко и другие писатели России и Украины.



Финалисты, судьи и организаторы Фестиваля «Славянские традиции»

В рамках Фестиваля «Славянские традиции – 2009» с 1 марта по 15 июня был проведён литературный конкурс по четырём основным номинациям: «Малая проза», «Поэзия», «Литературный перевод» и «Кинопоэзия», а также по трём дополнительным поэтическим номинациям: «Поэтическое произведение, посвященное Украине, Крыму или

Н.В. Гоголю» (в начале апреля 2009 года отмечалось 200-летие со дня рождения писателя), «Стихотворение по библейским мотивам» и «Лучшее стихотворение о любви». В литературном конкурсе приняли участие 211 писателей из 11 стран мира. На конкурс поступило более 1000 литературных произведений. В течение двух месяцев их читали и оценивали члены авторитетного международного жюри, в состав которого вошли известные поэты и прозаики, преподаватели литературного института им. А.М. Горького, издатели. Итоги конкурса были подведены и 1 июля размещены на сайте Фестиваля (<http://slavtraditions.ucoz.ru>). По всем основным и дополнительным номинациям были сформированы лонг-листы авторов, чьи произведения получили наибольшее количество баллов членов жюри, а на основании длинных списков были составлены шорт-листы финалистов по каждой из номинаций. Общее число финалистов – 56 человек из 6 стран (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Израиль и США). Многие авторы вышли в финал по нескольким номинациям.

28 августа на торжественной церемонии закрытия Фестиваля в ДК «Арабат» были названы победители, занявшие три призовых места в каждой из основных номинаций и по одному – в дополнительных. Кроме того, 26 августа в состязании поэтов были определены победители, которых избрали зрители путём голосования бюллетенями. Победителям и участникам были вручены грамоты и дипломы, призы и ценные подарки от всех писательских союзов и литературных изданий, участвовавших в Фестивале «Славянские традиции – 2009»: Союз писателей России, Конгресс писателей Украины, Межрегиональный Союз писателей Украины, Южнорусский Союз писателей (Одесса), Крымская литературная академия, издательство «Доля» (Симферополь), газеты и альманахи Украины и России.

Также в рамках «Славянских традиций – 2009» прошёл ряд выступлений писателей Владимира Кострова, Евгения Рейна, Юрия Полякова и других членов оргкомитета и жюри, а также финалистов и победителей

перед общественностью городов Щёлкино, Феодосии, Севастополя и посёлка Старый Крым. Преподаватели литинститута, известные поэты и прозаики проводили мастер-классы для участников Фестиваля.



Владимир Костров, Юрий Поляков, Игорь Иванченко, Евгений Рейн, Владимир Спектор (слева направо)

Никто из организаторов, судей, участников и гостей Международного литературного Фестиваля «Славянские традиции – 2009» не сомневается, что подобные фестивали просто необходимы для сохранения общих славянских культурных традиций, для укрепления дружбы между писателями разных стран, для сбережения и развития русского языка в России, Украине, Белоруссии и других странах, для завязывания и укрепления контактов между русскоязычными писателями, наконец, для их творческого вдохновения, которое, несомненно, выльется в новые литературные произведения.

Мы все уверены: Фестиваль не станет бабочкой-однодневкой, не умрёт, едва появившись на свет, ему

уготована долгая жизнь... «Славянские традиции»,
безусловно, станут славной славянской традицией!

**Стихи финалистов и судей
Международного литературного Фестиваля
«Славянские традиции-2009»**



член жюри **Евгений Рейн** (Москва, Россия)

Любовь к лиловому

Совсем не осталось писем, и нет почти фотографий,
одни записные книжки исписаны до конца.
А выбраться невозможно, как чёрту – из пентаграммы,
пока повелитель духов не повернёт кольца.
Рассыпались наши фигуры: овал, квадрат, треугольник,
рассыпался карточный домик, заржавел магнитофон.
Теперь уже не припомнить, кто друг, кто муж, кто
любовник,
кто просто тянул резину, кто был без ума влюблён.
Теперь уже не собраться на Троицкой и Литейном,
молчат телефоны эти, отложены рандеву.
Никто не может распутать тех сплетен хитросплетенье,

поскольку всё это было так ясно и наяву.
Одиннадцатого апреля и двадцать четвёртого мая
я пью под вашим портретом, читаю ваши стихи.
Наземный транспорт бессилен – уж слишком дуга кривая,
воздушный путь покороче, да вот небеса глухи!
Жильцы чужих континентов, столицы и захолустий,
кормильцы собственной тени и выкормыши казны,
когда мы сменяем кожу своих обид заскорузлых,
у нас остаются только наши общие сны.
И тот, кто холодную почту своих кудрявых открыток
содержит в полном забвенье, как заплутавший обоз;
и тот, кто честно выводит своих скитаний отрывок, –
уже понимают: бумага не принимает слёз.
А тот, кто остался дома, как бы наглотался брома:
не видит, не слышит, не знает, не чувствует ничего.
Он выбрал себе наркотик – пейзаж, что в окне напротив, –
и искренне полагает, что раскусил Вещество.
Мы думали: всё ещё будет, а вышло, что всё уже было.
На севере коротко лето – не следует забывать!
Любовь к лиловому цвету нам белый свет заслонила.
Прощай лиловое лето – проклятье и благодать!

Комната Лосева

Л. Л. с великой любовью

Сто стоптанных ступеней на чердак
Вели меня к замызанной квартире,
Куда я поднимался кое-как,
Там было человека три-четыре,
Нарезанная грубо колбаса,
Бутылка водки, тёплые пельмени,
В мансарде разбегались голоса,
По потолку бродили косо тени.
Начало жизни стучало в окно,
Мы были откровенны и размыты,
И все слепились в торжище одно, –
Таланты, пустомели, паразиты.
И всё-таки, когда гляжу назад,
Там и была ещё живая завязь,
И вечно слышу: гулко голоса

Товарищи, на клички отзываясь.
Так, ни о чём, а просто потому,
Что молоды, что нахватались слухов,
Я сам, не уступая никому,
Главенствую, какой-то вздор застукав.
Теперь, перед печальной чередой
Обратного, по одиночке, спуска,
Отмеченного траурной каймой,
Отмеренной то широко, то узко...
Я думаю, что лучший некролог
Не здесь, в конце, а вовсе там, в начале,
Всё потому, что общий путь пролёг
В ту пустоту, где мы и замолчали...



финалист **Людмила Некрасовская** (Днепропетровск,
Украина)

Поверишь ли, приснилось мне однажды
(И ты случайным это не зови):
Страна, своих не любящая граждан,
На паперти молила о любви.
Бомжихою к церковному подножью –
Нетрезвая, уставшая от драк,

Заискивая перед молодёжью, –
Приволоклась выпрашивать пятак.
Рассказывала, что была красивой,
Свободною и гордою была,
Историей – ворованною ксией –
Оправдывала прошлые дела.
Не извинялась, матерясь безбожно,
Срамным лукавством оскверняя храм,
Ощупывала взглядом осторожно
И снова о любви твердила нам,
О том, что – мать, к тому же – героиня.
Да вот беда: опоры в детях нет.
И повторяла всуе Божье имя,
Протягивая руку для монет.
Выпрашивала чувства, словно милость,
Прикидывая, что доход немал.
И громко и неискренне молилась
О тех, кто жалость медью отсыпал.



Владимир Костров (Москва, Россия)

Овеянный имперской славой
На полотняных плоскостях,

Куда летит орёл двуглавый
С звездой рубиновой в когтях?
Зачем на площади великой,
Румяные, как кирпичи,
Вновь Александровской музыкой
Тревожат небо трубачи,
Полков парадная подкова
По бёдрам тянет рукава,
И хор выводит Михалкова
Полузнакомые слова?
Но сердце ввысь уже не рвётся,
Глаза слезами не полны,
Когда же гордость к нам вернётся,
России верные сыны?

Вотще томимся в ожиданье чуда,
Все – президент, правительство, народ.
Но в лаковой обёртке Голливуда
Из Вашингтона чудо не придёт.
Огромен океан меж берегами,
Судьбу людей и жизни смысл деля.
Вы ждёте чуда? Чудо под ногами –
Завещанная предками земля!

Вл. Соколову

Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушёл, и писать, и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека.
Тяжело просыпаюсь, грущу и смеюсь,
Но тебе-то признаюсь: я очень боюсь,
Да, боюсь двадцать первого века.
Здесь бумажным рулоном шуршит Балахна,
На прилавках любого полно барахла,
И осенний русак не линяет,
И родное моё умирает село,
И весёлая группа «Ногу свело»
Почему-то тоску навевает.
Знать бы, как там у вас?

Там, поди, тишина,
Не кровит, не гремит на Кавказе война.
И за сердце инфаркт не хватает.
Здесь российская муза гитарой бренчит
Или матом со сцены истошно кричит.
Нам сегодня тебя не хватает.
Я почти не бываю у близких могил,
Но друзей и родных я в душе не избыл.
Мне они, как Афон или Мекка.
Я боюсь, чтобы завтра не прервалась
Меж живыми и мёртвыми вечная связь,
Я боюсь двадцать первого века.

Ялтинский блюз

От Крымских скал с волной причальной
Уходит в голубую даль
Такой прекрасный и печальный
Советских фильмов фестиваль.
Уходит в пенные просторы,
Как бы теряя естество,
Стоят великие актёры
На белых палубах его.
Бинокль вонзая в день погожий,
Сверяет румбы дальних стран
На Эйзенштейна похожий
В командной рубке капитан.
Они ещё страной гордятся,
Но не дымит вверх труба.
Сюжет Летучего Голландца
Для них почти уже судьба.
Да, реет флаг и якорь в клюзе.
И времена не знают дна.
Без доброй фабрики иллюзий
Пуста душа твоя, страна.
Мы все, недолго нам, отчалим
От кромки горестных забот.
В седой туман и крики чаек,
Как этот белый пароход.



финалист **Сергей Кривонос** (Сватово, Украина)

«...Легче там, где поле и цветы»

Николай Рубцов

Цветы и поле, поле и цветы.
Река. И вздох проснувшейся планеты.
И нету никого. Лишь я и ты,
И тишина на сотни километров.

Вот так бы и ходить среди полей,
Не чувствуя былой обидной боли,
Влюбляясь каждый раз ещё сильнее
В зарю и это небо голубое.

Прерывисто дыша, спешит вода
За горизонт, куда скатился Млечный.
И дремлет одинокая скирда,
Рассветной дымкой прикрывая плечи.

Спасибо, мир, за поле и цветы,
С которыми душа моя навеки,
Непогрешимо оживляешь ты
Всё то, что человечно в человеке.

Здесь неизменно умирает ложь,
А ковыли к ногам бегут, встречая.
Светлеет день. Он тем уже хорош,
Что в глубь полей запрятал все печали.

Я тихо стану на краю мечты,
Поймаю на лету случайный ветер...
Среди рассвета — только я и ты,
И тишина на сотни километров.



председатель Оргкомитета, член жюри **Юрий Поляков**
(Москва, Россия)

Друзья

Михаилу Петракову

Я давно не встречался
с друзьями мальчишеских лет.
Впрочем, занят делами,
ответственными и пустыми.
Но не в этом — беда,
в том, что даже стремления нет,

Как бывало, смеяться,
тужить, разговаривать с ними!
Понимаешь, читатель,
всё это гораздо сложнее,
Чем простая хандра,
раздражение или усталость,
Видно, что-то плохое
в душе происходит моей,
Если к первым товарищам
в ней теплоты не осталось.

Стихи об откровенности

Не повезло в делах или в любви:
На сердце – жгучий лёд,
а разум – кругом...
Ты в одиночку душу не трави,
Пойди, поговори об этом с другом!
Скажи ему: «Мне плохо!»
Мы уже
Почти не говорим друзьям об этом,
Как будто что творится на душе
У ближнего,
известно по газетам.
И мы живём, по-тихому скорбя,
А время дни уносит,
нас уносит...
И если *здесь*
не высказать себя,
То *там* тебя
никто уже не спросит.

Другу-стихотворцу

С. М.

Мимо нас просверкивают годы –
Время никогда не устает!
Он придёт однажды – час ухода,
Хоть кричи, а всё-таки придёт.
И не будет ничего за краем,
Даже пресловутой смертной тьмы –
Просто мы, как лёд весной, растаем,

Но водой не сделаемся мы.
Вот и всё...
В одно я верю только:
Силою, не снившеюся нам,
Воскресят нас, может быть, потомки —
Души восстановят по стихам.
Зашумит кругом непостижимый,
Странный мир,
где всё мечте под стать!
Но ведь как...
ведь как писать должны мы,
Чтобы из стихов своих восстать?!



финалист **Ирина Карпинос** (Киев, Украина)

Каэтана

Старый дон Франсиско Гойя
Водит кистью неустанно:

Что же, чёрт возьми, такое
Эта ведьма Каэтана?
Герцогиня или маха,
Праведница или шлюха?
Та, что поведёт на плаху,
Прошептав «люблю» на ухо?

Гениальный дон художник,
Заклинатель форм и линий,
Никогда постичь не сможет
Душу этой герцогини.
Как она его любила,
Как она его пытала,
Как она его слепила
Сплавом воска и металла!

И мадридскими ночами,
Чёрными, как чертовщина,
Белоснежными плечами
Как она его лечила!
А потом швыряла в бездну
Ненависти и проклятий,
Чтобы он, как бред болезни,
Помнил жар её объятий!

О, Мадонна, как же прочны
Связь подобного с подобной,
Как чисты и как порочны
Эти взгляды исподлобья!
Гениальный дон художник,
Всё познавший в мире этом,
Никогда уже не сможет
Совладать с её портретом.



член жюри **Владимир Спектор** (Луганск, Украина)

На рубеже весны и лета,
Когда прозрачны вечера,
Когда каштаны – как ракеты,
А жизнь внезапна, как игра,

Случайный дождь сквозь птичий гомон
Стреляет каплею в висок...
И счастье глохнет, как Бетховен,
И жизнь, как дождь, – наискосок.

Пока ещё в Луганске снегопад,
Беги за ней сквозь позднее прощанье,
Хватая тьму наощупь, наугад,
И ощущая лишь любви дыханье.

Пока ещё превыше всяких благ
В последний раз к руке её приникнуть,
Беги за ней, хоть ветер дует так,
Что ни вздохнуть, ни крикнуть, ни окликнуть.

И, зная, что сведёшь её на нет,
Не отставай – беги за нею следом,

Пока её скользящий силуэт
Не станет мраком, холодом и снегом.

И взгляд, как поцелуй, короткий,
Но, всё ж, пронзающий насквозь,
И тень стремительной походки,
И ощущение, что «всерьёз»...

И тонкий луч, как стих Марины,
Сквозь одиночества печать...
И жизнь – как клинопись на глине,
Где мне не всё дано понять.



Вероника Тутенко (Курск, Россия)

Мы давно не молчали под звёздами.
Мы давно не грустили, любя.
В небе звёзды серебряно гроздьями
прозвонят «Позвони» для тебя.

Ты посмотришь на небо. Над Питером
те же звёзды, но чуть холодней,
и промозглость щекочет под свитером
у моста над Невой всё сильнее.

То же небо в воде, но летящее.
И под взглядами каменных львов
вдруг почувствуешь что-то щемящее,
как межзвёздная грусть городов.

Чьих-то судеб мерцанье, и сфинксами
смотрит время. Скользящих картин
быстротечность. Не ею проникся ли?
Наберешь «восемь», «девять», «один»...

И услышишь как Рыльский проулок
что-то шепчет листвою тишине.
Лай собак и залиvist, и гулок.
Даже лай... о тебе... обо мне...

Пожелай что-нибудь. Еле слышно
стелет ночь листопадом постель.
Загадаю желание: «Приснись мне!»
В небе звезд – карусель... Карусель...



член жюри **Станислав Бондаренко** (Киев, Украина)

Старый Киев

Кириллицу улиц уча,
в глаголицу гула вращая,

о счастье твоём (через «ща»*)
в светящихся окнах читаю.

Домишек тома – по слогам –
из полных собраний сомнений:
такой ли мещанский ты хам?
Скорее – истерзанный гений.

Твой путь – из варяг до... ворюг.
Ну кто над тобой не вампирит?
Но майское марево выюг
каштановых – лучшее в мире.

Юродствуй и пей, хоть с утра,
во фраке блатном с позументом,
но – высшего ордена лента –
блестящая лента Днепра.

Парижу её не познать –
вот эту кириллицу улиц,
где крестик и нолик сомкнулись,
являя Спасителя знак.**

* Слово «счастье» по-украински пишется через «щ».

** Древние азбуки и, прежде всего, глаголица имели в основе буквосимволы: крест (А – аз) – символ Иисуса, круг – символ Вседержителя, треугольник – символ Троицы.

Проза жизни отца

В одном селе полицаи
Отца моего порицали:
Не то, чтоб видели агитатором,
Поскольку домра его звучала как альт,
Но отправили оstarбайтером,
А вышло, что – в Бухенвальд!

Поскольку (по взрослой версии)
На заводе германском он сколотил группу
И сотворил две диверсии,
Чтоб навредить какому-то Гитлеру или Круппу.

Отец вернулся – освободили,
Чтоб я родился, – американцы.
Все дамы с бати глаз не сводили,
А мама ликом взяла и танцем!
А я в пять лет – Девятого мая
Спросил отца при всех на параде:
Что ж орденов он не надевает,
Как другие учителя и родные дяди?

И отец, наклонясь, не нарушив уюта,
Прошептал, что я лишь после пойму:
«За Бухенвальд орденов не дают! А...
А ты о том – вообще никому!...»

Так я в пять лет побыл полицаем –
Никем за это не порицаем...
И нет отца уже – за оградой!
Даст Бог, хоть внуки ему – наградой...

Плоть дождя

Люблю ходить по дождю,
А дождь – сам ходит по мне.
Так с плотью сходится плоть...

Любовь к дождю – от отца:
В каком из концлагерей
Впитал он её в себя?

Наверное, Бухенвальд
Его приучил к дождям –
Став первым из лагерей!..

И где-то там рядом дом
Иоганна Гёте был –
Видал ли его отец?

Уже не спросить... И – дождь...



финалист **Игорь Иванченко** (Юрга, Россия)

Скрипка

Геннадию Петрикину –
томскому музыканту
Жизнь порою тяжелей свинца.
И какого ей рожна?!
Музыкант не должен скурвиться.
Скрипка пошалить должна.

Словно вечность прикасается
К оголённым нервам вновь...
Музыкант грешит и кается;
Спишем это на любовь...

Но: пока он не наполнится
Вдохновением под край, –
Скрипка словом не обмолвится,
Хоть командуй ей: «Играй!..»

К проискам смычка внимательна
Скрипка –
Музыки звезда –
И, как девочка, старательна –
В самый первый раз когда...

Высший класс, а не ликбез:
Толочь
В ступе вечера семь нот,
Чтобы обмирала бестолочь,
Когда Моцарт душу рвёт...

Лёд и пламя, экзекуция,
Боль, душевных ран бальзам –
Музыки бесценной унция...

Сволочам не по глазам,
Не для слуха их убогого –
Тайной вечера момент...

Моцарт – нам,
А Богу – богово,
А маэстро – комплимент...

Подборку подготовил Игорь Иванченко
Фотографии Сергея Бусева и Александра Тимченко



Александр Гордон

Поверх испанских барьеров*

Изгнание



тридцать первого марта 1492 года Ицхак Абарбанель (1437-1508), учёный, философ, богослов, раввин, министр финансов королевского двора, потомок рода, восходящего к царю Давиду, сделал последнюю и неудачную попытку предотвратить подписание королём Фердинандом и королевой Изабеллой эдикта об изгнании евреев из Испании. Два фанатических католических величества из королевств Арагона и Кастилии соединились в браке и ненависти к евреям. В день 9 Ава, в день двукратного разрушения иерусалимского Храма, 2 августа 1492 года, сотни тысяч испанских евреев покинули страну, в которой жили веками. Через полтора столетия их потомки перебрались в веротерпимые, освободившиеся от власти испанской короны и католицизма, Нидерланды.

22 марта 1862 года в Одессе родился замечательный художник Леонид Пастернак. Поступить в Московское училище живописи ему не удалось по «пятой графе», и он уехал в Мюнхен, где закончил Академию художеств. В 1889 году Леонид Пастернак, тогда безвестный художник, женился на выдающейся пианистке Розалии Кауфман, концертировавшей по всей Европе и позже ставшей одной из лучших учениц А.Н. Скрябина, впоследствии профессором. В том же году они поселились в Москве, где Пастернак открыл рисовальную школу. 29 января (по

* Опубликовано в двух номерах приложения «Окна» к газете «Вести» 4 и 11 июня 2009 года.

старому стилю) 1890 года у супругов родился первый сын Борис, будущий знаменитый поэт. В 1894 году Леониду Пастернаку предложили должность профессора Московского училища живописи, ваяния и зодчества при условии, что он пройдет обряд крещения и примет православие. Пастернак отказался. В письме инспектору училища князю Львову он заявил: «Я вырос в еврейской семье и никогда не пойду на то, чтобы оставить еврейство для карьеры или вообще для улучшения своего социального положения». Впоследствии его всё же утвердили в этом звании, и он оставался профессором училища почти четверть века. В 1905 году Пастернак получил звание академика живописи. Он был постоянным и любимым Львом Толстым иллюстратором его романов и автором многих портретов великого писателя.

При рождении Пастернаку дали имя Ицхак-Лейб. Позже он стал называться Леонидом. Пастернаки происходили из старинного рода Абарбанелей. В XVIII веке перебравшиеся в Галицию Абарбанели стали называть себя Пастернаками. Ицхак-Леонид Пастернак знал, что он в действительности Ицхак Абарбанель, потомок знаменитого изгнанника из Испании. В сентябре 1921 года Леонид и Розалия Пастернак с дочерью Лидией покинули Россию и переехали в Германию, из которой им пришлось бежать от нацистов, как испанский Ицхак Абарбанель бежал от христианского фанатизма. Но это случилось позже, а тогда в Берлине Пастернак познакомился с Альбертом Эйнштейном и подружился с великим еврейским поэтом Хаимом Нахманом Бяликом, портреты которых нарисовал.

В 1923 году Леонид Пастернак начал своё «возвращение» в Испанию 1492 года.

Еврейская симфония Рембрандта ван Рейна

В 1631-1632 гг. из Лейдена в Амстердам переселился великий голландский художник Рембрандт. Он поселился рядом с еврейским кварталом, в доме, расположенном недалеко от синагоги и дома, где позже жил Барух Спиноза. Рембрандт очень часто посещал еврейские кварталы. Со многими их обитателями у него сложились дружеские

отношения, особенно с главой общины Менаше бен Израилем. Менаше был человеком незаурядных способностей. Это был блестящий знаток Ветхого завета, первоклассный юрист, философ, полиглот, владевший десятью языками, редкий эрудит. Его перу принадлежит около 400 произведений. Он был учителем молодого Спинозы, а позже стал одним из его гонителей. В 30-х годах XVII века Рембрандт часто встречался с Менаше, особенно в замке Мейден – владении известного в то время историка Питера Корнелиуса Хафта. Здесь собиралась интеллектуальная элита Амстердама. Встречи вошли в культурную историю Голландии как Мейденский кружок. Бен Израиль мечтал вернуть евреев в Испанию, однако это был нереальный проект. Свои усилия он обратил на возвращение евреев в Англию при Кромвеле и сыграл в успехе этого дела решающую роль. Бен Израиль был известным коллекционером живописи и не раз навещал знаменитых амстердамских художников, живших по соседству, в том числе и Рембрандта. Нередко он приходил к ним со своими учениками, среди которых был Спиноза. Бен Израиль сразу постиг гений Рембрандта. Леонид Пастернак также был поклонником голландского художника. Он знакомился с творчеством Рембрандта в музеях Амстердама и Гааги. 23 июля 1912 года он посетил в Марбурге сына Бориса, студента философского факультета Марбургского университета. Отец и сын провели день в Марбурге, который Борис описал в одноименном стихотворении в сборнике «Поверх барьеров». Они гуляли по городу после лекции учителя философии Бориса Германа Когена и беседовали о нём, о неудачной попытке Леонида нарисовать портрет немецкого мыслителя и о продолжении занятий философией. На следующий день они поехали в Кассель осматривать местную картинную галерею, известную коллекцией картин Рембрандта.

Об увлечении Леонида Пастернака Рембрандтом вспоминал Хаим Нахман Бялик: «Он пришёл в качестве педагога, обучающего нас искусству, и в качестве художника-творца. И пришёл не с пустыми руками, а принёс альбом портретов еврейских писателей и тетрадь с

рукописью статьи «Рембрандт и еврейство в его творчестве»... (опубликовано в Берлине в 1923 году – А.Г.)». Пастернак сильно увлёкся творчеством голландского художника, ибо обнаружил близость или связь между жизнью и творчеством Рембрандта и еврейством: «Близил его (Рембрандта – А.Г.) с евреями трагизм его личной жизни, находивший отклик в историческом трагизме последних, закалённых вечным изгнанием..., вечных объектов гонений, мучительств, социальной неправды и жестоких ударов судьбы...». Пастернак был потрясён степенью постижения Рембрандтом евреев, изображённых на его картинах. Он пытался понять, как голландский художник сумел так глубоко проникнуть в психологию этого замкнутого и отчуждённого от амстердамского окружения народа: «Откуда же Рембрандт взял этих Давидов, Саулов, Ревекк и Ленат? Откуда это проникновение в еврейскую психологию, неуловимый еврейский привкус, откуда у него это чутьё самой сущности «иудаизма», его мироощущения и откуда это понимание основного духа Библии, превращающего силою народного гения простые очерки примитивного патриархального быта, чисто еврейского, в повествование общечеловеческое?». Эту загадку творчества Рембрандта было легко разрешить, ибо известно, что выйдя из дома, художник почти сразу попадал в амстердамский *Judenviertel*, еврейский квартал. Для него эти голландские евреи, выходцы из Испании и Португалии, были великолепными экземплярами для изображения библейских персонажей. Рембрандт писал свои библейские полотна почти «с натуры». Пастернак пытался разглядеть в лицах героев картин Рембрандта тех, кто был изгнан из Испании и Португалии, их библейские корни и народный дух: «Так Рембрандт из простого быта голландских евреев, из этой на вид жалкой, невзрачной кучки своего квартала, от которой брезгливо и с ненавистью отвёртывались Португалия и Испания, извлёк такие жемчужины, которые стали навсегда источником всевозрастающего восторга перед духовной красотой человека, непрерывных художественных наслаждений и радости для людей. Так Рембрандт на своих холстах, воспроизводя лучшие черты

еврейско-библейского народного духа, спел живописью прекрасную песнь во славу народа-избранника. Так великий страдалец-художник занёс на страницы человечества светлые черты всечеловеческой красоты духовного лица народа-страдальца...». Анализируя знаменитую картину Рембрандта «Саул и Давид», Пастернак считал, что видит на картине не царя Саула, а простого амстердамского еврея, быть может, шамеса (служку) соседней синагоги, а на его лице многострадальную жизнь еврейского народа. Пастернак пишет своё «полотно» о Рембрандте с симпатией и сочувствием к своему народу, образы которого были так ярко показаны голландским художником. Глядя на амстердамских евреев на картинах Рембрандта, Пастернак всматривался в глубины еврейской истории: «В этих экзотических голландских евреях жило ещё дыхание библейской традиции,... жило ещё многое, что отдавало Востоком и отзвуками далёкой их родины...». На картинах Рембрандта Леонид Пастернак видел своих предков, изгнанных из Испании.

Именно там, в Берлине, Леонид Осипович воспринял свою живопись и картины своих коллег-соплеменников как еврейское искусство: «И вот стоило лишь еврейству оглянуться на себя, на своё жалкое бытие, на своё жалкое недавнее прошлое, на жалкое прислуживание и пресмыкание, вспомнить далёкое славное прошлое, — и зажглись в нём иные светочи и идеалы национального подъёма, высоких стремлений, давно небывалой народной славы, — и расцветает вновь забытая поэзия, — и забил вновь родник вдохновения...».

Хаим Нахман Бялик

Леонид Пастернак осознал связь со своими предками, образами Рембрандта, после встреч с Бяликом. Поэт и художник познакомились на даче под Одессой в 1911 году. К этому времени относится первый портрет поэта кисти Л. Пастернака. Лишь некоторое время спустя Л. Пастернак прочёл стихи Бялика в русском переводе. Каждая их встреча была для него «чем-то вроде прочтения живого Бялика». Художник вспоминал о годах Первой

мировой войны, когда Бялик приезжал к нему в Москву. Он приходил к Пастернакам побеседовать о живописи, которую очень любил. Бялик обращал внимание на отсутствие художественных альбомов еврейских художников, мечтал о пропаганде искусства живописи среди евреев. Поэт и художник проводили целые часы в дружеской беседе и в определении планов совместной работы в области изобразительного искусства и художественной литературы. Их сотрудничество продолжилось в Берлине.

Бялик переехал в Германию по ходатайству М. Горького и по разрешению В.И. Ленина. В немецкий период своей жизни (1921-1924 гг.) Бялик с женой жили в городке Гомбурге вблизи Берлина. Во время публикации «Рембрандта» Х.Н. Бялик, которому в 1923 году исполнялось 50 лет, был занят выпуском юбилейного собрания своих сочинений. Он широко занимался издательской деятельностью, для которой привлёк художника Л. Пастернака. Поэт так рассказывал о своём профессиональном и духовном сближении с художником: «Я бесконечно рад видеть Пастернака сотрудником издательства, ибо я тот, кто приблизил его сердце к еврейской работе и привлёк в наш стан». Художник так характеризует влияние Бялика на него: «Я вырос в русской обстановке, получил русское воспитание, развивался под влиянием тенденций ассимиляции и в долгие служения русскому народу. И – странная судьба евреев нашего поколения – сейчас нам достаётся от Бялика за то, что мы отдали себя не всецело своему обездоленному народу, – а с другой стороны, – я слышал часто упреки, что я всё же как еврей – не могу быть чисто русским художником... Мы посмотрели друг другу в глаза, и, я не знаю, я не понимаю, почему, может, на нас дохнула из глубины веков расовая общность или мы вдруг ощутили принадлежность к одному миру, миру искусства, – но этого перегляда оказалось достаточно. С тех пор, с той минуты наши души породнились... Я был далёк от внутренней еврейской жизни... Гляжу на него, и кажется, что в поэте сгустилась сущность души народа, дерзаний его и стремлений, и это

кипит, бурлит в душе Бялика... Святая святых Бялика – достояние истории народа, сокровищница его...».

Важное место в эссе Л. Пастернака занимает описание знаменитой картины Рембрандта «Саул и Давид». Царь Саул слушает игру Давида на арфе. В описании Пастернака Давид – «Это – тот самый еврейский подросток, который потом, глядь, стряхнув с себя всё – и гнёт, и позор веков – воспрянет гневным поэтом, или смело и гордо прозвучит его речь – еврейского трибуна. Или силою непреклонной воли стремясь к знанию и могуществу, выплывет вдруг в сознании единоплеменников как один из тех немногих, которые накопленными несметными богатствами своими и влиянием будут в силах осуществить реально почти сказочный возврат исторических прав Израиля на свою святую родину. О, этот Давид, этот невзрачный еврейский юноша, с типичным страстным ртом и толстыми губами, – он прославит тебя, еврейский народ! Разве в XX веке не подтвердили евреи эти слова многочисленнейшими примерами? Дай Б-г нашим детям и внукам точно так же идти по стезе успеха!» Однако знаменитый сын Леонида Пастернака пошёл по совсем иной «стезе успеха». Он не «прославил еврейский народ» и был далёк от того, чтобы «осуществить реально почти сказочный возврат исторических прав Израиля на свою святую родину».

Отец и сын

Знаменитый еврейский историк Семён Дубнов, хорошо знакомый Бялику по Одессе, иммигрировал в Германию на год позже поэта. Он прожил в Берлине с 1922 по 1933 год и работал там над десяти томной историей еврейского народа. Ещё в 1907 году он опубликовал «Письма о старом и новом еврействе», созданные в результате острых дискуссий с Бяликом. В «Письмах» он писал о важном и поразительном явлении в жизни современного ему еврейства – об эмансипации: «После веков рабства, унижений и замкнутости мысли евреи, конечно, должны были устремиться к просвещению, умственному и социальному возрождению, и вообще к *человечению* в высшем смысле слова, наравне с передовыми

европейскими народами; на деле же они устремились к *онемечению, обрусению* и т. д., то есть к искусственному подчинению своей национальной личности чужим». Дубнов считал, что подобная ассимиляция является падением в этическом отношении. «Старый», неэмансипированный еврей склонялся перед гонителем-христианином, но сохранял духовную независимость и верность традиции. «Новый», эмансипированный еврей, получивший права в христианском обществе, принёс в жертву свой национальный характер. Жизнь сына Леонида Пастернака, выдающегося поэта Бориса Пастернака, в чём-то соответствует описанию Дубновым «нового», эмансипированного еврея. При всей своей уникальности и гениальности Борис Пастернак шёл по пути эмансипированных немецких евреев, в которых комплекс национальной неполноценности породил мимикрию: они принимали форму и окраску окружающей среды доминирующей нации и погружались в её духовный мир. Как и выдающиеся германские евреи, деятели культуры и науки, Борис Пастернак жил и творил по описанию из стихотворения Бялика: «В кумир иноверца и мрамор чужой вдохнѐте свой пламень с душою живой».

Весной 1912 года Борис Пастернак приехал на учёбу в Германию. Увлечённый философией неокантианства и дочерью богатого чаоторговца Д.В. Высоцкого Идой, он прибыл в марбургскую школу знаменитого философа-неокантианца, еврея Германа Когена, единственного в Германии полного профессора философии, получившего это звание без крещения. 1912 год был последним годом преподавания Когена в Марбурге. Осенью он переехал в Берлин, где преподавал в Высшей школе еврейских знаний до смерти в 1918 году. В момент встречи с Пастернаком Коген был занят борьбой с антисемитизмом в германских университетах. Философ предложил Пастернаку подготовить под его руководством докторскую диссертацию. Однако Пастернак не продолжил свою учёбу в Марбурге и вернулся в Россию. Отъезд из Марбурга обычно описывается в литературоведении как решение Пастернака порвать с философией и целиком посвятить себя поэзии. Так

представлял дело сам поэт. Однако он, по-видимому, скрыл одно обстоятельство.

Ощущения Бориса Пастернака, связанные с евреями и еврейством в первые двадцать два года его жизни, – негативные: унижения, угнетение, погромы. Иное видение еврейской проблемы открылось ему тогда в Марбурге. Пастернак впервые в жизни увидел такой мощный ум типично еврейского мыслителя и столь чуждое ему мировоззрение. Философская этика Когена была основана на этике иудаизма. Увлекавшийся до приезда в Марбург неокантианством, Пастернак с подачи Когена внезапно увидел иудаизм в основах интересовавшего его учения. Меньше всего Борис Пастернак ожидал встретить в Германии еврейскую идеологию и еврейское мировоззрение в такой высокой концентрации. Измученный еврейскими комплексами в России, он должен был испытать шок от интеллектуальной атаки еврейского мыслителя. Уставший от тяжести своего еврейства в антисемитской России, он должен был отклонить вызов, идущий от националистически настроенного Когена. Он столкнулся с чуждым ему мощным антиассимиляционным ответом Германа Когена и, вероятно, понял, что дальнейшее пребывание в орбите Когена противоречит его восприятию еврейства. Пастернак отверг предложение Когена продолжить занятие философией ещё и потому, что отказался подвергать себя влиянию еврейской идеологии немецкого философа. Он не желал нести ещё большее бремя своего происхождения. В «Охранной грамоте» Пастернак назвал своего учителя философии «гениальным Когеном». Этот человек производил колоссальное впечатление на всех, с кем общался, и, конечно же, произвёл сильное впечатление на столь духовно восприимчивого человека, как Пастернак. Невозможно представить, чтобы гениальный Коген, так мощно воплощавший еврейскую мысль, был не замечен Пастернаком в этом отношении. Еврейская струна в Марбурге не прозвучала, а точнее её звучание было заглушено Пастернаком. Он полностью замолчал роль Когена в своём уходе от философии и отъезде из Германии. Как и впоследствии, Пастернак применил фрейдовский

приём «вытеснения» неприятных ощущений, сокрытия и изгнания того, что «не по себе» – еврейская тема исключалась из сознания. Зигмунд Фрейд полагал, что в акте творчества происходит вытеснение из сознания художника сложных проблем и жизненных конфликтов. У Пастернака происходила психологическая сублимация. У него всё трансформировалось в творчество – отвергнутая любовь к Иде Высоцкой, шоковая встреча с Когеном, стремление к освобождению от тяжести организующей и подчиняющей философской мысли.

В соответствии с описанием Дубнова, Борис Пастернак принадлежал к категории евреев, которые поняли эмансипацию как обрусение, причём глубокое культурное и духовное обрусение. Своё отношение к еврейскому происхождению поэт выразил в письме к М. Горькому (1928): «Зато до ненависти мудрена сама моя участь. Вы знаете моего отца, и распространяться мне не придётся. Мне, с моим местом рождения, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влечениями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю!.. А ведь этими изъятьями кишит наша действительность на каждом шагу, и не бывает случая, когда бы моя свобода в теперешнем окружении не казалась мне (мне самому, а не "кн. Марье Алексеевне") неудобной, потому что все пристрастия и предубеждения русского свойственны и мне. Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалею на вынужденные пути, которые постоянно накладываю на себя по "доброй", но зато и проклятой же воле! О кривотолках же, воображаемых и предвидимых, дело которым так облегчено моим происхождением, говорить не стоит».

Борису Пастернаку, по его мнению, «не следовало рождаться евреем». Для него еврейство было проклятием. Если продолжить гипотетическую мысль Пастернака, то не родись он евреем, он бы не попал под высокое эмоциональное напряжение, не очутился бы в этой еврейской семье, в которой духовная жизнь была

утончённой, сложной и запутанной, в которой жили живописью благодаря отцу и музыкой благодаря матери и воздух которой был насыщен творчеством и стремлением к нему. Не родился он евреем, он не оказался бы перед труднейшей проблемой, в душевной борьбе с которой, возможно, черпал вдохновение. Не родился Пастернак евреем, он не жил бы дуальной жизнью с огромной нервной нагрузкой. Не родился он евреем, он, быть может, был бы заурядным человеком, а не великим поэтом. Отторжение от себя еврейского происхождения и заимствование русской православной духовности сформировали мироощущение и творческий профиль Пастернака. Энергия его отталкивания от еврейства стала поэтической энергией.

Борис Пастернак стал на путь, противоположный тому, который выбрал его отец. Противоречия с отцом в еврейском вопросе выявились во время посещения Борисом Пастернаком родительского дома в Берлине в конце 1922 – начале 1923 годов, где он побывал во время празднования пятидесятилетия Бялика. Поэт описал свой визит в Германию и страшное впечатление от изменений, происшедших в ней, в «Охранной грамоте»: «Я видел Германию до войны и вот увидел после неё. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период Рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временами, как за подаяньем, рукой (жест для неё несвойственный) и вся поголовно на костылях». Германия не обманывала поэта и невиданным разгулом антисемитизма и политических убийств евреев, самое страшное и известное из которых произошло почти рядом с домом Леонида Пастернака. Это было убийство националистами в Берлине министра иностранных дел Германии, еврея Вальтера Ратенау, случившееся за полгода до приезда Бориса к родителям.

В период пребывания поэта в Берлине его брат Александр собирался жениться на русской девушке. В письме из Берлина к брату в Москву от 15 января 1923 года он выразил поддержку планов того и подчеркнул свои расхождения с отцом в этом вопросе: «Я от души желаю,

чтобы тебе удалось жениться на Ирине... Мы её очень любим. Что это семья не еврейская, конечно, только лучше, а не хуже. Тебе мои симпатии и антипатии известны. По совести говоря, невзирая на все папины последние устремленья – симпатии и антипатии эти – общесемейные. Сердцем (а не головой) и они конечно русских любят больше, чем «своих». Кроме того, я ещё не видел ни одного еврея, который бы сохранял свои специфические, просящиеся в анекдот черты, в силу особой какой-то одарённости. Скорее, наоборот. Они выживают по принципу ничтожности. У Бялика этих чёрточек нет». Пастернак упоминает о «папиных последних устремленьях», то есть о еврейском самосознании отца и выражает свою антипатию к еврейскому браку и предпочитает создание нееврейской семьи. Поэт насмехается над «специфическими, просящимися в анекдот чертами» евреев и принижает их, говоря, что еврейские черты сохраняются «по принципу ничтожности». Он критикует еврейский национальный характер, делая, однако, исключение для Бялика. Пастернак не допускает существование таланта при наличии еврейских национальных черт. Иначе одарённость не может быть, перефразируя название одного из поэтических сборников Пастернака, «сестрой жизни» национально ориентированного еврея.

Сын и отец

В письме к двоюродной сестре О. Фрейденберг от 13 октября 1946 года Пастернак сообщил, что начал писать роман, в котором «Я свожу... счёты с еврейством, со всеми оттенками национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства». Имелся в виду роман «Доктор Живаго». Атаки на еврейство Пастернак ведёт с помощью героя своего романа, еврея Михаила Гордона: «Как могли они (евреи – А.Г.) дать уйти от себя душе такой поглощающей красоты и силы (речь идёт о Христе – А.Г.), как могли думать, что рядом с её торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной?... Полная и безраздельная жертва этой стихии – еврейство. Национальной мыслью возложена

на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи....В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чём не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению!... Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости?». Для поэта еврейство – «пустая оболочка» христианства, мёртвый народ, национальная мысль которого парализует его развитие. Пастернак возлагает вину за страдания евреев на них самих. Он утверждает несостоятельность евреев как нации, обвиняя «властителей дум этого народа» в бездеятельной позе и идейной бесплодности. Он нивелирует перспективу существования еврейской нации. Он старается доказать, что отказ от еврейства необходим хотя бы ради прекращения страданий евреев. Тем самым он осуждает своего знаменитого предка Ицхака Абарбанеля за противостояние христианскому фанатизму. Пастернак в приведенном отрывке считает, что историческая слабость евреев состоит в том, что на них возложена «мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи...».

Семён Дубнов, который во всём расходился с учителем философии Пастернака Германом Когеном, вслед за немецким философом полагал, что вследствие изгнания евреи стали духовной нацией, очищенной и возродившейся к новой жизни, то есть для него евреи – прежде всего национальность, а не религиозная группа. Пастернак критикует евреев, не оценивших христианства. Дубнов, хорошо знакомый с полемикой Когена с известным немецким историком Генрихом фон Трейчке, понимал, что новые антисемиты не относятся к евреям как к религиозной группе, а как к нации, расе. В Германии, в которой Пастернак бывал и в которой в течение семнадцати лет жили

его родители, крещение евреев приобретало всё меньший смысл для уравнивания евреев в правах с неевреями, сведясь к бессмыслице при нацистах. Расизм в юдофобии возобладавал над её религиозным содержанием. Побеждавший расизм лишал критику Пастернака евреев, отвернувшихся от христианства, всякого смысла. Евреи были обречены быть жертвами погромов, даже если бы приняли христианство. Антисемитизм на расовой, нерелигиозной основе угрожал перекинуться на Россию, где религия слабела и где над евреями уже начинал тяготеть фатум крови. Были изданы «Протоколы сионских мудрецов», переведены с немецкого языка на русский и пользовались большим успехом (как и в Германии) расистские, не основанные на религиозной юдофобии, писания Евгения Дюринга. Возможно, назревала необходимость написать антирасистский «Антидюринг» в защиту евреев как нации, а не только религиозной группы. Осуждение Пастернаком евреев за их религиозные приоритеты выглядело, таким образом, как анахронизм, как полемика, имеющая отношение к середине XIX века и потерявшая актуальность в первой трети XX века.

Максим Горький, к которому Пастернак обратился с ранее цитированным письмом, опубликовал в 1919 году статью «О евреях». Статья писалась во время событий, описанных в романе «Доктор Живаго». Горький описывает антагонизм между русскими и евреями не как религиозный конфликт между христианством и иудаизмом, а как преследования на национальной почве: «Я склонен думать, что антисемитизм неоспорим, как неоспоримы проказа, сифилис, и что мир будет вылечен от этой постыдной болезни только культурой, которая хотя и медленно, но всё-таки освобождает нас от болезней и пороков... Ненависть к еврею — явление звериное, зоологическое... мы носим на совести нашей позорное пятно еврейского бесправия. В этом пятне — грязный яд клеветы, слёзы и кровь бесчисленных погромов...». Горький называет антисемитов «человеконенавистниками» и добавляет: «Я чувствую себя виноватым перед ним (еврейским народом — А.Г.): я один из тех русских людей, которые терпят угнетения еврейского народа... вражда к евреям растёт у нас на Руси». Прошли две

революции и гражданская война, идущие в «Докторе Живаго», и Горький отмечал: «Я думаю, не надо напоминать о том, что наши "освободительные движения" странно заканчивались еврейскими погромами». В России, как и в Германии, религиозный диспут, о котором пишет Пастернак в своём романе, уступил место «обвинению крови» (точное и печальное выражение Александра Борщаговского). Расовую опасность заметил и выдающийся русский философ Николай Бердяев в статье «Еврейский вопрос как христианский» (1924): «Антисемитические настроения среди русских, и в России, и за границей, нарастают стихийно и принимают формы свойственной русским исступленности». Бердяев отвергает расовый антисемитизм как несовместимый с христианством: «Расовый антисемитизм, доведенный до конца, превращается во вражду к христианству... Христианин не может исповедовать расового антисемитизма, так как не может забыть, что Сын Божий по человечеству был евреем, что еврейкой была Божья Матерь, что пророки и апостолы были евреями и евреями были многие первохристиане-мученики. Раса, которая была колыбелью нашей религии, не может быть объявлена низшей и враждебной расой... Христиане принуждены верить, что еврейский народ есть избранный народ Божий. С этим связаны для нас глубина и трагизм еврейского вопроса. Отношение к еврейству есть испытание силы христианского духа. Это испытание в высшей степени выпало на долю русского народа. И с горечью нужно осознать, что русский народ его очень плохо выдерживает». Бердяев завершает свою статью тезисом о том, что еврейский вопрос есть внутренний христианский вопрос, «Вопрос о том, хочет ли русский народ быть христианским народом и по-христиански относиться к жизни. Нас должна беспокоить не только физическая судьба евреев, но прежде всего духовная судьба самого русского народа как народа христианского. Погромный антисемитизм есть гибель души русских». Бердяев считал расовый антисемитизм самым «глубоким» и опасным видом антисемитизма. В более поздней статье «Христианство и антисемитизм» (1938) он указывал на разрушительную силу подделки русской

охранки, «Протоколов сионских мудрецов», использующей фатум крови. Философ представил еврейский вопрос как сложную экзистенциальную проблему русского народа. Автор «Доктора Живаго» решает еврейскую проблему простым способом – путём исчезновения еврейства.

В романе «Доктор Живаго» устами своей героини Лары Пастернак говорит: «Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали». Для поэта евреи – «допотопное наименование», «отжившая» нация, отсталая по сравнению с христианством религия, ослеплённые фанатичные люди, находящиеся в рабстве у своих религиозных обычаев, бессмысленно и нелепо отвергающие «истинную» религию – христианство. Он видит в принадлежности к еврейству нравственное и духовное падение. Он считает, что евреи должны освободиться от еврейства, то есть ассимилировать, «бесследно раствориться среди остальных».

Вслед за некоторыми идеологами христианства Пастернак считал, что «ошибочный» отказ евреев от христианства объясняется их незнанием его основ. В этом подход Пастернака резко отличался от мнения выдающегося русского философа, христианского теолога и публициста Владимира Соловьёва, большого знатока Талмуда. В период погромов начала восьмидесятых годов XIX века Соловьёв опубликовал статью «Еврейство и христианский вопрос» (1884). В ней он отметил: «Иудеи всегда относились к нам по-иудейски; мы же, христиане, напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-христиански. Они никогда не нарушали относительно нас своего религиозного закона, мы же постоянно нарушали и нарушаем относительно их заповеди христианской религии». В погромах нарушалось несколько основных заповедей

христианства. В отличие от Пастернака, Соловьёв возлагал на христиан, а не на евреев, вину за отторжение евреев от христианства. Он считал, что еврейские погромы в России не могут убедить евреев стать христианами. Напротив, они убеждают их сторониться христианства. Пастернак обходит молчанием еврейские погромы и их разрушительную роль в еврейской и христианской истории. Для него характерно замалчивание важных аспектов еврейского вопроса в его жизни и в жизни еврейства. Так он удаляет из своего сознания фигуру Когена, погромы в России и, наконец, с этим вытеснением евреев из своего сознания он проходит Вторую мировую войну, в которой была уничтожена треть еврейского народа.

Реакция Пастернака на его еврейство и еврейство вообще была типичной реакцией подчинения своей национальной личности чужой, желанием упразднить свою национальность. Он считал существование еврейства катастрофой и никак не прореагировал на известие о Катастрофе европейского еврейства во Второй мировой войне. Он настолько привык считать, что евреев нет и не должно быть, что когда их уничтожили, он посчитал, что уничтожения не было и не могло быть, ибо собственно некого было уничтожать, ведь еврейского народа как такового уже не было. Об отстранении Пастернака от трагедии евреев свидетельствует история его встречи зимой 1944 года в редакции газеты «Литература и искусство» с узником, бежавшим из Вильнюсского гетто, еврейским поэтом Авраамом Суцкевером, свидетелем на Нюрнбергском процессе, впоследствии лауреатом Государственной премии Израиля. Пастернак выслушал рассказ Суцкевера о нацистских преследованиях евреев, а тринадцать-четырнадцать лет спустя отрицал факт встречи в письмах к П.П. Сувчинскому и Элен Пельтье-Замойской соответственно: «Я не помню, чтобы я был знаком с Суцкевером; напротив, у меня ощущение, что я хотел избежать этой встречи из-за страшного стыда, благоговения и ужаса перед этим мучеником» и «Я отклонил встречу с ним из чистого страха и стыда перед его высоким мученичеством, в глазах которого я должен был выглядеть

моральным ничтожеством и предателем». Суцкевер в мемуарах рассказал о том, как познакомил Пастернака со своими стихами на языке идиш и как тот обещал перевести их на русский язык, но не сделал этого. «Нобелевский» роман Пастернака «Доктор Живаго» написан после Катастрофы европейского еврейства. Великий поэт, тонкий человек, Борис Пастернак не только отрезал себя от еврейства, он не изменил точку нравственного отсчёта и игнорировал трагедию истребления еврейства в размышлениях о еврейском народе. Конечно, он не должен был в романе о революции и гражданской войне писать о том, что случилось позже, но очевидно, что то, что случилось позже, никак не повлияло на его отношение к еврейству. Он прошёл мимо геноцида евреев, может быть, и потому, что в нём, как и в других бедствиях евреев на протяжении мировой истории, видел вину самого еврейского народа. Пастернак «вытеснил» из своего сознания Холокост, как прежде удалил из него погромы и еврейскую фигуру Когена. Пока Пастернак писал «Доктора Живаго», разразилось дело космополитов, были расстреляны еврейские писатели, члены Еврейского антифашистского комитета, прошло дело врачей, случились нового типа еврейские погромы, лишённые всякого религиозного содержания. Поэт не изменил своего отношения к еврейской проблеме. Он игнорировал репрессии евреев в 1948-1953 гг. Когда поэтесса Мария Петровых заговорила с ним о тех преследованиях евреев, он её прервал: «Это вагон не моего поезда. Не вмешивайте меня в это». Иначе отнёсся к еврейским погромам 80-х годов XIX века русский поэт Семён Надсон, дед которого был евреем: «Я рос тебе чужим, отверженный народ... И если б ты, как встарь, был счастлив и силён, и если б не был ты унижен целым светом, иным стремлением согрет и увлечён, я б не пришёл к тебе с приветом. Но в наши дни, когда под бременем скорбей... В те дни, когда одно название «еврей» в устах толпы звучит, как символ отверженья... Дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов, народ, обиженный судьбою!»

Пастернак сторонился всего еврейского. В 1941 году он дал Соломону Михоэлсу отрицательный ответ на приглашение выступить на антинацистском митинге Еврейского антифашистского комитета. Борис Пастернак, выдающийся переводчик, переводил стихи разных народов, с десятков языков. Поэзия еврейского народа была заметным исключением. Его отказ перевести стихи реабилитированного еврейского поэта Переца Маркиша потряс тех, кто знал, как Пастернак ценил Маркиша, которого в разговоре с его вдовой Эстер назвал «великим поэтом». Об этом отказе рассказал сын Переца Маркиша Шимон в 1997 году в публикации в журнале «Знамя» в очерке «Могучая евангельская старость...»: «В первый раз я пришёл к Анне Андреевне Ахматовой в мае 1956-го. За полгода до того был посмертно реабилитирован мой отец, еврейский поэт Перец Маркиш, казнённый 12 августа 1952 г. в числе руководителей и сотрудников Еврейского антифашистского комитета. Тут же моя мать, Эстер Маркиш, начала готовить сборник стихов отца в русских переводах, который, естественно, хотелось украсить самыми громкими именами переводчиков. Прежде всего мать обратилась к Пастернаку: он знал отца достаточно близко. Ответ Пастернака был скорым и категорически отрицательным: все, кто любит его и ценит, писал он, должны побуждать его заниматься собственной поэзией, а не втягивать в новые переводы. (Письмо Бориса Пастернака от 31 декабря 1955 г. опубликовано полностью в мемуарах моей матери, напечатанных по-французски и по-английски)». Речь не шла об ещё одном переводе, а о «воскрешении» оклеветанного, без вины виноватого деятеля репрессированной еврейской литературы. Это была бы литературная работа, гуманитарная деятельность и участие в «оживлении» истребляемой культуры.

После встречи в Марбурге Борис Пастернак написал отцу: «Что-то мне во всём этом несимпатично (в поведении Когена – А.Г.)... Ни ты, ни я, мы не евреи; хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несём всё, на что нас обязывает это счастье (...), не только несём, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но

нисколько от этого мне не ближе еврейство. Да делай, как знаешь». Поэт добавляет «делай, как знаешь», ибо не уверен в том, что отец согласится с тем, что «мы не евреи». В этом отрывке обнаруживается «еврейский след» Когена в жизни Пастернака, его отталкивание от еврейского мыслителя. Еврейские буря и натиск отца натолкнулись на непреодолимое сопротивление сына. Описания судеб евреев отцом и сыном резко отличались. Леонид был солидарен со своим народом, оплакивал его страдания, отмечал силу его духа, находил, что Рембрандт на своих холстах, воспроизвёл «лучшие черты еврейско-библейского народного духа, спел живописью прекрасную песнь во славу народа-избранника» и запечатлел «светлые черты всечеловеческой красоты духовного лица народа-страдальца...». Он нашёл в Рембрандте своего единомышленника, но не в сыне. Борис Пастернак страдал от своего еврейства, а не от зрелища еврейских страданий – погромов в России, в Веймарской республике и в Европе в период истребления нацистами его соплеменников, среди которых могли оказаться и его родители. Вопреки его обещанию в послемарбургском письме отцу, он не захотел нести бремени еврейства. Он взвалил на себя бремя забот русского народа. Он вёл себя отчуждённо, равнодушно, а порой неприязненно по отношению к еврейскому народу. Отец и сын оказались по разные стороны испанского барьера своих предков. Они любили друг друга, но тема еврейства, столь важная для отца и не приемлемая для сына, исчезла из их писем. Они старались быть поверх барьера, их разделявшего. Отец и мать Бориса Пастернака в течение пяти лет находились в очень опасном положении в нацистской Германии. Еврейская проблема перестала быть для Леонида Пастернака проблемой достойного существования, духовной проблемой, а стала проблемой физического выживания. В 1938 году Леонид и Розалия Пастернак иммигрировали к дочери в Англию. Художник вынужден был спастись от преследований, как и его знаменитый предок Ицхак Абарбанель. Леонид Пастернак умер в Оксфорде сразу после поражения нацистов во Второй мировой войне – 31 мая 1945 года. Успел ли он узнать об истреблении

немецкого еврейства? Он наверняка успел увидеть зрелище национального заката российского еврейства, в котором погасли «светочи и идеалы национального подъёма», обозначившиеся перед художником в Берлине 1923 года. На него был «наставлен сумрак ночи» (Б. Пастернак, «Гамлет» – из стихотворений доктора Живаго) русского еврейства, в котором отчуждённо сияла звезда его гениального сына. Через год после смерти Леонида Пастернака его сын начал писать роман, в котором собирался «свести счёты» с народом своего отца.



Владимир Ляховицкий

Его Величество Случай

Публикация и предисловие Исаия Шпицера



последние несколько лет до своей кончины 7 февраля 2002 года народный артист России Владимир Ляховицкий проживал в немецком городе Регенсбург. Особые обстоятельства вынудили его покинуть родную Москву и поселиться с женой в этом городе, где уже жила их дочь. Эти особые обстоятельства – его тяжёлая болезнь и надежда, что медицина в Германии сможет ему помочь. Я думаю, что смогла. Она продлила ему жизнь на несколько лет. И в течение этих лет он находил в себе силы участвовать в концертах, организуемых Центром русской культуры «MIR» в Мюнхене, встречался с поклонниками своего таланта и в других городах Баварии. Он отдавал себе отчёт, что жить ему оставалось не долго, и хотел оставить после себя воспоминания о театре, в котором он проработал более 25 лет, о его художественном руководителе Аркадии Райкине.

Несколько вечеров провёл я с Владимиром Наумовичем, слушал и записывал рассказы о его жизни и творчестве, об интересных людях, с которыми ему посчастливилось встречаться и работать на сцене.

Исай Шпицер



асто задают мне такой вопрос: «Как вы стали актёром? Наверное, мечтали об этом с детства?» Я неизменно отвечаю: «Случайно». И видя нередко удивление

в глазах задающих такой вопрос, поясняю: «А то, что я вообще появился на свет, разве и это не дело случая? И пусть в меня бросит камень (лучше, драгоценный, конечно), кто считает, что он появился на свет неслучайно». Как правило, после такого моего ответа люди проникаются моей иронией.

А если серьёзно, я считаю, что в жизни каждого человека многое зависит от случая. И то, что я уцелел в 1941-м, убегая из родного Смоленска, когда его уже занимали гитлеровцы – это тоже дело случая. И то, что спустя двадцать три года после моего физического рождения я появился на свет уже как актёр – и это случайность. Не думал об этом и не гадал. И как ни кощунственно это звучит – благодаря войне. Нет, я не воевал. Не был во фронтовых бригадах артистов. Четыре военных года я проработал токарем в судоремонтных мастерских. Сначала в приволжском городке Новое Аракчено. Работал, как и все тогда, в промозглых от холода цехах-бараках. Трудно было. Не то слово. Но мы были молодые, и молодость брала своё. Молодость хотела петь, танцевать, радоваться жизни. И в свободное от работы и сна время, которого у нас было не так уж много – а работали мы по 12 часов в сутки без выходных – мы и пели, и танцевали, и влюблялись. А петь я очень любил. Пел прямо у своего станка. Деталь крутится, резец снимает раскалённую стружку, а я пою: «Степь да спеть кругом...», «Из-за острова на стрежень», другие песни. Я подражал многим известным в те годы певцам. Быстро запоминал разные комичные истории, хохмы, анекдоты и любил рассказывать их каждому встречному. Вот такая неуёмная была энергия. А в 1944-м, за год до окончания войны, мы всей семьёй переехали в посёлок Лобня под Москвой. Там я и продолжил работу токарем тоже в судоремонтных мастерских. Вот там-то мой весёлый нрав, как магнит, притянул ко мне тот Случай, который и решил мою судьбу.

А дело было так. Как обычно, я стою за станком и пою. Мне сейчас трудно оценить свои вокальные данные тех лет, но у меня появились слушатели, и это мне очень нравилось. А слушателями были девчата и парни в цехе.

Они окружали мой станок и слушали мои песни и мои байки. А их станки стояли. Начальству, как вы понимаете, такие «эстрадные концерты» были ни к чему. Наш начальник цеха отгонял их от меня. Потом ему это надоело, и он пошёл к директору и говорит: «Надо что-то делать с Ляховицким. Работает и поёт. Норму выполняет, но вокруг него толпы – производство страдает». А тут ещё в поселковом клубе под Новый, 1945 год, я вылез на сцену и стал залу чего-то рассказывать. Люди смеялись, а мне нравилось, даже уходить со сцены не хотелось. Потом все говорили: «Ну, Володька, ты и артист!» А когда в мае закончилась война, и стали возвращаться с фронта мужчины и дефицит в работниках стал спадать, начальство решило, видимо, от меня избавиться. И сделало это очень деликатно. Вызывает как-то меня директор и спрашивает: «Ляховицкий, хочешь быть артистом?» – «А почему бы нет», – отвечаю. – «Мы дадим тебе в августе отпуск, иди, учись на артиста. Поступишь – отпустим».

Тогда ведь ещё все были прикреплены военным положением к своим рабочим местам. Если без разрешения ушёл – тюрьма. И вот, в августе поехал я в Москву. В газете прочитал, что училище при консерватории объявляет приём. Прихожу туда. Спрашивают, чего я умею. Я говорю: «Петь могу». – «В какой тональности?» Я и не знаю, с чем едят эту тональность. «Спойте», – говорят. Я спел «Степь да степь кругом». Вижу – зацепил. Прикрепили ко мне пианиста – концертмейстера. Мы подготовили с ним две песни. Я прошёл первый тур, затем второй... Короче, меня зачислили.

Представьте себе моё состояние. Меня распирает радость, мне хочется прыгать до неба. Мне надо тут же с кем-то своей радостью поделиться. Домашние – далеко, за городом. А тут в центре города, прямо над Елисеевским магазином жил друг отца. Я – к нему. И прямо с порога выпаливаю: «Левон Манукович, меня приняли в училище при консерватории!» Я и не заметил сразу, что за столом сидит какая-то женщина. Она у меня спрашивает: «А что вы умеете делать?» Отвечаю гордо: «Я – пою!» Она говорит: «Вы знаете, я работаю в Театре оперетты, и у нас уже год, как есть студия. Студийцев перевели на второй курс, а

сейчас идёт новый набор. Будут экзамены. Может быть, вы попробуете?». Я побежал в Театр оперетты. Я прибегаю туда и обалдел – в коридорах девчонки, ребята, танцуют, целуются, поют под музыку дуэты из оперетт... Я чувствую, умираю, тоже хочу туда. Подал заявление, меня прослушали. А у меня уже под ноты были две песни. Тогда педагог Садкевич Елена Абрамовна (она когда-то ещё с Шаляпиным пела!) говорит: «Этого мальчика я беру к себе». Но, чтобы поступить, пения было недостаточно. Надо было подготовить еще рассказ, басню, что-то станцевать. И я по пластинке разучил монолог Сатина из пьесы Горького «На дне» в исполнении Василия Ивановича Качалова: «...человек – это звучит гордо!..» И вот с интонацией самого Качалова я читаю комиссии этот монолог. А в комиссии – известные тогда артисты, кумиры жанра оперетты. Я читаю, а они, смотрю, глаза от смеха утирают. Мне стало как-то не по себе. Когда я кончил, председатель комиссии Раппопорт, артист и режиссёр вахтанговского театра, говорит: «Молодой человек, это, конечно, хорошо, что вы подражали самому Качалову. Но вы никогда больше этого не делайте. Потому что лучше Качалова вам не прочитать. Да и при вашей внешности... Но мы вас примем из-за одной только вещи. Когда читали, все отметили вашу искренность. Вы переживали то, о чём читали».

Таким образом, очередной Случай повёл меня дальше по дороге в артисты.

Конечно же, я был безмерно счастлив. Я увлёкся опереттой. Каждый день в театре для меня был праздником. Всех студийцев занимали в каких-то сценах, а я ещё пел в хоре. Я гордился, что был рядом со знаменитыми артистами. Тогда там были Григорий Маркович Ярон, знаменитый Володин Владимир Сергеевич, Качалов Михаил Арсеньевич, Регина Лазарева, Митрофан Иванович Днепров, Феона. С большим трепетом и любовью я относился к ним. Ярон меня почему-то называл «сынок». Мне это очень льстило. Оперетта пользовалась сумасшедшим успехом в те годы. Билеты – ни за какие деньги нельзя было купить.

Я, как губка, впитывал всё, что делалось в театре, разучивал роли и арии. Знаменитая Клавдия Михайловна

Новикова с её ариеттой Периколы: «Каким вином нас угощали! Уж я пила, пила, пила...» «Песенка смеха» называется. Ещё ребёнком слушал я пластинку с этой песней, а тут я стою с этой женщиной на одной сцене...

Студию потом реорганизовали в Музыкально-театральное училище имени Глазунова. Там я проучился 2 года, а затем училище стало факультетом музыкальной комедии ГИТИСА. Я был в первом выпуске артистов этого факультета. Многие выпускники стали впоследствии ведущими артистами театров оперетт. Среди них были и звёзды. Это – Татьяна Шмыга, Нина Энгель-Утина, Геннадий Панков, Жёлудёва Валя.

После института я уехал в Иваново в местный театр оперетты. Там проработал три года. И, что называется, пришёлся ко двору. Театр этот был любимым в городе. Там были великолепные артисты. Ставили водевили, оперетты. Я, например, сыграл в «Розе ветров» князя Ланского, в «Вольном ветре» я пел Янку, в «Сильфе» играл Бони. Пел героев, играл комиков и простаков. Мы были популярными людьми в городе. И всё-таки мне с моей женой Галей хотелось в Москву. И тут, как в той истории с «роялем в кустах», снова подвернулся Случай.

С ивановцами поехал я на гастроли в город Куйбышев. Но в этом месте моего повествования я должен рассказать об одном эпизоде, который произошёл со мною четырьмя годами раньше – до отъезда на работу в Иваново. Когда мы оканчивали институт, ко мне подошёл один из наших педагогов, народный артист Советского Союза Аркадий Григорьевич Вовси. Это был милейший человек, ведущий артист театра Ленинского комсомола, которому в жизни «повезло» быть племянником профессора Вовси, одного из трагических персонажей «Дела врачей». Каково было профессору с его коллегами в сталинских застенках, истории известно. А вот каково было народному артисту, от которого отвернулись коллеги, которому не давали ролей... Помню на наш факультет пришёл парторг института и сказал, чтобы мы написали на Аркадия Григорьевича пасквиль, будто он нецензурно выражается на занятиях. К чести наших студентов надо сказать, что они не сделали

этого. Более того, когда пришёл А.Г. Вовси в аудиторию, мы рассказали ему, чего от нас требовал парторг. А это, учтите, был 1952 год. Можно себе представить, как мы рисковали.



Так вот, Аркадий Григорьевич мне говорит: «Володя, ты бы хотел познакомиться Аркадием Исааковичем Райкиным? Ему нужен человек из оперетты». Райкин тогда был уже очень популярен. Особенно после только что вышедшего фильма «Мы с вами где-то встречались». Театр Райкина как раз в это время гастролировал в Москве.

И вот мы с моим педагогом приходим в гостиницу «Москва», поднимаемся на 12-й этаж и заходим в номер. В нём – Аркадий Исаакович, его жена Рома, директор театра. Меня со всеми знакомят. Конечно, был трепет. К тебе всё внимание, сам Райкин с тобою на «вы». Спрашивает, как вы, что вы, не могли бы нам чего-нибудь показать. Я говорю: «Я могу спеть». Пошли мы в наш институт, мне кто-то саккомпанировал, я спел. Райкин говорит: «Вы знаете. Это

не совсем наш профиль. У нас так не поют. Но я бы предложил вам поработать у нас год. Если вы нам подойдёте, вы у нас останетесь». Я говорю: «Спасибо большое, но меня такое не устраивает. А если я вам не подойду, мне снова, что ли, искать работу?». Райкин говорит: «Я вас не тороплю, подумайте».

И я уехал по распределению на работу в Иваново.

И вот после трёх лет работы в Ивановском театре оперетты мы едем на первые в моей жизни гастроли в город Куйбышев. Наши спектакли проходят в Оперном театре.

Огромный зал, публика всегда есть, несмотря на большую конкуренцию. В эти дни в цирке работал Карандаш, а в зале филармонии – театр Райкина со спектаклем «Времена года». Большую часть публики они брали на себя. Но всё-таки и у нас были полные залы. Опять – его Величество Случай. Если бы в провинциальных городах в те времена были продукты, всё бы в моей судьбе было по-иному. Но продуктов, как известно, кроме Москвы и Ленинграда в магазинах не было. Поэтому ведущих артистов на гастролях кормили в столовых партийных учреждений.

Как-то в обкомовской столовой встречаюсь с директором райкинского театра и его режиссером Ароном Заксом. «Здравствуйте!– «Здравствуйте!» – «Вы нас помните?» – «Помню» – «А мы видели ваши афиши в городе, пошли на спектакль, где вы играете. Потом были на концерте, который вы вели, и вы нам очень понравились. Приходите к нам на спектакль». Я говорю: «Спасибо большое. Но у меня почти все вечера заняты, а если и будет свободный, так ведь к вам не попасть». – «Ну-у, это мы уладим».

И вот в свободный вечер я пошёл в театр Райкина, режиссер меня встретил, усадил. Я посмотрел спектакль и был в диком восторге. После спектакля я подошёл к директору, чтобы его поблагодарить. Он говорит: «А вы зайдите к Райкину». Я говорю: «Ну что вы, человек так работал, наверное, устал». Он: «Нет-нет, вы зайдите, он просил». Я вхожу в грим-уборную. Райкин лежит на кушетке. Я говорю: «Аркадий Исаакович, извините, но

директор сказал, чтобы я зашёл» – «Да, да, как вы живёте? Мне рассказывали, что вы молодец, хорошо работаете ». – «Всё нормально, – отвечаю. – Вот мечтаю переехать в Москву». Он говорит: «А вы не хотели бы пойти к нам. У нас сейчас уходит артист из театра, я бы с удовольствием взял вас своим партнёром... Потом мы скоро едем на гастроли в Польшу... Мы поможем вам в Ленинграде с квартирой...» Я говорю: «Мне очень приятно, но я должен посоветоваться с женой». – «Посоветуйтесь, не спешите. Мы пока здесь. Если вы решите, то все ваши пожелания скажите моему директору. И считайте, что вопрос решен».

Я звоню Гале в Москву, говорю: «Будет Москва, или не будет, а меня пригласил к себе в Ленинград Райкин. А там есть и Театр музкомедии, где многие меня знают. Не получится с Райкиным, пойду снова в оперетту». Галя согласилась.

Закончили мы гастроли в Куйбышеве, я увольняюсь и лечу в Кисловодск, где гастролит Райкин. Меня встречает симпатичный молодой человек, спрашивает: «Вы, Ляховицкий? А я, Максимов, актер театра». Так я познакомился со своим будущим партнером, который стал моим другом на долгие годы, Максимом Максимовым. Нас поселили в гостинице в одной комнате. Я сразу вошёл в спектакль и получал огромное удовольствие от репетиций, игры, от восторгов публики, что до отказа заполняла залы. 25 лет я выходил на сцену Ленинградского театра миниатюр и каждый раз – как на премьеру. Это было праздником.

У меня часто спрашивают: «Какой был Райкин в жизни? Что за атмосфера была в театре?» Вообще, говорить о театре, об артистах надо очень аккуратно. Каждый человек видит другого по-своему. У меня – есть свой Аркадий Райкин. Свой Максим Максимов, который, кстати, тоже был Райкиным. Максимов – это его псевдоним. Свой каждый. Я пришёл в театр, где люди работали уже по 15-20 лет. Я пришёл и сразу занял определённое положение, никого не расталкивая, ни у кого не отнимая их ролей. Я просто занимался делом. С другой стороны, наш альянс с Максимом сыграл очень большую роль. В театре меня интересовало всё. Я никогда не был за кулисами. Если я не

был занят на сцене, я всегда был в кулисе. Наблюдал. Меня интересовало, что делает Райкин, как работают другие артисты, что за публика в зале, как она принимает... Но такое отношение, к сожалению, не было характерно для всех артистов.

Вот я говорю о его Величестве Случае в своей судьбе. А ведь случай в своё время спас Райкина. В 1946 году, когда вышло печально известное постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», там наряду с именами Зощенко и Ахматовой был упомянут и ещё один «враг» – Александр Хазин. Сейчас уже мало кто помнит, что он написал знаменитую пародию на «Евгения Онегина». Это была острая по тем временам сатира. В ней Евгений Онегин живёт в современном Ленинграде, и с ним происходит масса смешных и забавных историй. «В трамвай садится мой Евгений...» Хазин жил в Харькове. Но потом, женившись, переехал в Ленинград. Это его спасло. Правда, он оказался без средств к существованию и жил впроголодь. В Харькове его уже не искали. Но там пострадали люди только за то, что они дружили с ним.

Райкин уже исполнял «Онегина» и имел огромный успех. Тогдашний председатель комитета по делам искусств (не помню его фамилии, кажется, Лебедев) хорошо относился к Райкину. Он вызвал его к себе и резко сказал: «Прекрати это читать». Этим, я считаю, он спас Райкина. Иначе бы Райкин тоже попал в это Постановление.

Вообще, с сильными мира сего у такого великого артиста как Райкин складывались непростые отношения. Если на самом верху у него были и друзья, и враги, то в среднем звене, в основном, враги. Каждый держался за своё кресло. Всем известны его отношения с партийными бонзами в Ленинграде – Толстиковым, затем Романовым.

Был 1964 год. Осенью сняли Хрущёва, На его место пришёл Брежнев. С Брежневым Райкин познакомился в войну на Малой земле. Они были на «ты».

Я хочу рассказать об одном эпизоде, связанном у Райкина с Брежневым, в котором я принимал косвенное участие.

В 1964 году мы готовились к поездке в Англию и разучивали наши миниатюры, сценки и монологи на английском языке. Это происходило в номере гостиницы «Москва» на 12-м этаже, в котором Райкин постоянно останавливался. А время, если кто помнит, было такое: Брежнев только что сменил Хрущёва. А незадолго до этого театр стал хлопотать перед московскими властями, чтобы Райкину дали квартиру в Москве. Он к тому времени часто болел, его дети Костя и Катя жили в Москве, и он решил перебраться в столицу. Итак, сидим мы в номере с преподавателем английского и работаем. Я сижу у окна, на своём излюбленном месте, рядом с телефоном. И отвечаю на все телефонные звонки. Иногда с шутками-прибаутками. Конечно, это отвлекало от работы. Аркадий Исаакович сердится: «Слушай, Володя, больше ты трубку не снимаешь. Надоело». Я с юмором говорю: «Хорошо, даже если сам Брежнев позвонит» И тут раздаётся звонок. Я снимаю трубку: «Здравствуйте» – «Здравствуйте». – «Говорят из ЦК КПСС, приёмной Леонида Ильича Брежнева. Не могли бы мы поговорить с Аркадием Исааковичем Райкиным?» Я зажимаю рукой трубку и говорю: «Аркадий Исаакович, точно, от Брежнева». Он на меня: «Перестань дурачиться! Сейчас же положи трубку! Если ты не положишь. Я положу». Я говорю шепотом: «Аркадий Исаакович, точно – от Брежнева». Он тогда берёт трубку и своим тихим голосом: «Алло, слушаю вас. Приеду, обязательно приеду». Оказывается, его приглашают к Генеральному секретарю.

После Аркадий Исаакович подробно рассказал мне об этом разговоре.

Встреча Райкина с генсеком

Ещё при Хрущёве наш театр стал хлопотать для Райкина квартиру в Москве. Поскольку в те времена одной семье нельзя было иметь две квартиры (у Райкина была квартира в Ленинграде), то театр просил у московских властей разрешение иметь как бы штаб-квартиру на время гастролей в столице. А гастролы наши в Москве длились обычно по полгода.

Брежнев был в курсе этих дел и будучи Председателем Президиума Верховного Совета пообещал Райкину поговорить с Хрущёвым.

А в это время в Москве проходило всесоюзное совещание работников сельского хозяйства. А вы помните, кого приглашали на такие «сабантуи». Конечно, передовиков и ударников. После совещания для них, как это было заведено, был дан большой концерт во Дворце съездов. Для участия в концертах такого ранга (тоже как это было заведено) приглашались «звёзды».

Хрущёв сидел в первом ряду в прекрасном расположении духа. Весь светился. На сцену вышел Райкин и прочёл басню. Смысл её был такой. Волк жалуется, что его истребляют. А он ведь ничего плохого не сделал. Ну задрал он корову. Так это ж разве корова? Одно название. На самом деле это кожаный диван – пружины выпирают. «Я же ей муки скоротал, а меня за это стрелять. А может, не меня стрелять надо...» Вот такой был смысл этой басни. Зал хохотал, Хрущёв хохотал. А потом он вдруг помрачнел. Видимо, до него что-то дошло. И с тех пор вопросом о квартире для Райкина в Москве никто не занимался.

После того как Брежнев в октябре 1964 года стал генеральным секретарём, он и пригласил Райкина к себе. Говорили они часа два. Райкин рассказал мне потом об этом разговоре. «Понимаешь, – говорил ему Брежнев, – после твоего выступления, я к Хрущёву по твоему вопросу не решался подойти. Потому что я видел, как он тебя невзлюбил. Когда он проходил мимо телевизора, и если на экране был ты, он выключал телевизор. А сейчас, мы этот вопрос решим». И в этом же разговоре он рассказал Райкину о пикантной ситуации в Политбюро ЦК.

К моменту прихода Брежнева все члены Политбюро вместе с семьями жили в коттеджах. При Хрущёве напротив Мосфильма построили целый город из этих коттеджей. Там были все службы жизнеобеспечения «слуг народа». Каждое утро приезжали машины и развозили по коттеджам продуктовые и промтоварные наборы, которые жильцы заказывали накануне. К ним на дом приходили врачи, парикмахеры, массажисты. В общем, такой образцовый

коммунистический город. Очевидно, когда Хрущёв провозгласил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, он имел в виду «слуг». Единственный, кто там не жил, был Брежнев. Он как имел в квартиру на Кутузовском проспекте, так в ней и остался. И вот возникла ситуация: генеральный живёт в квартире, а все остальные, рангом пониже – в коттеджах. Никакой субординации.

Мужики, члены Политбюро, естественно, засуетились. Начался откат. Но воспротивились их жёны. В некоторых семьях стали возникать скандалы, но, в конце концов, все вернулись в квартиры.

И в результате этой встречи Райкину в виде исключения разрешили иметь квартиру в Москве.

«Москва! Как много в этом звуке...»

Должен сказать, что Райкин давно лелеял мысль переехать с театром в Москву. Но сделать это было не просто. Мы все были влюблены в Ленинград. А он, бывший рижанин, в Ленинграде и учился, и состоялся как артист и руководитель театра. Этот город был ему особенно дорог. Почему же он хотел в Москву, это я понял из бесед с ним. Надо сказать, что поводов для переезда театра было более чем достаточно. Не буду выделять, какой из них был главный. Скажу о нескольких.

В силу того, что мы по полгода работали то в Москве, то в Ленинграде, подспудно наш коллектив как бы раздваивался. Кто-то женился на москвичке, кто-то вышел замуж за москвича. И эти люди тяготели к Москве. Мы с Максимом вообще были москвичами и жили, по сути, в поезде Москва-Ленинград. Как только выдавался свободный день, мы садились в Красную стрелу и уезжали к своим семьям. Как шутил Максим, железная дорога заработала на нас столько, что она могла бы протянуть между городами золотые рельсы. Такое же было и с некоторыми другими артистами. И Райкин всего этого не мог не видеть.

Большое значение имело также отношение ленинградского «начальства» к нашему театру. А первым секретарём обкома партии в те годы был небезызвестный

Романов. С Райкиным у него были далеко не безоблачные отношения. На спектаклях нашего театра он никогда не был. А Райкина, думаю, просто ненавидел. Может быть, тут сказалась его «партийная генетика». Потому как с прежним секретарём Толстиковым у Райкина просто были конфликты. Райкин рассказывал мне об одном из них, который произошёл как-то у Толстикова в кабинете.

Толстиков назвал Райкина фигляром и клоуном. На что Райкин ответил, что тот ретроград и держиморда. Можете представить себе, каково работалось после этого Райкину в Ленинграде. Когда Толстикова сняли и отправили послом в Китай, ходил такой анекдот. Толстиков прилетает в Китай и спускается по трапу самолёта. Его встречают «товарищи» с азиатским разрезом глаз. И Толстиков им говорит: «Что, жида, прищурились!» Ему всюду мерещились евреи.

И ещё Аркадий Исаакович говорил мне: «Ну вот смотри, у нас – премьера в Ленинграде. К нам приходит чудесная публика – вся интеллигенция города. Это большое культурное событие. И всё-таки это событие областного масштаба. Когда такое же происходит в Москве – это событие не только для Москвы, не только для Союза, но и для всего мира. Потому что к нам приходит весь дипломатический корпус. А это для театра очень важно».

И к началу 1981 года он окончательно решает переезжать в Москву, чтобы там создать Московский государственный театр миниатюр. Он добивается приёма у Брежнева. Брежнев его выслушал и говорит: «Ну что ж, наверное, правильно. В Москве такого театра нет». И тут же он позвонил Романову в Ленинград, мол, надо отпустить товарища Райкина в Москву. А для Романова, который ненавидел «товарища» Райкина и наш театр, это было очень кстати. Поэтому он сразу же ответил: «Конечно,пустим, Леонид Ильич».

Быстро было подготовлено решение Совета министров о переводе театра. Всем артистам были выделены квартиры в столице взамен тех, которые они сдавали в Ленинграде. Кстати, по-моему, это был единственный

случай в Союзе, когда целый театр из другого города переехал в Москву.

Но помещения у театра не было. Спектакли игрались на разных площадках. То в Театре эстрады, то в Олимпийской деревне, то ещё где-то.

Первый секретарь Московского городского комитета партии Гришин, кстати, большой друг Романова, не торопился решать этот вопрос. У меня такое впечатление, что недруги Райкина сознательно тянули с предоставлением помещения, зная, что Райкин болен, что если с ним что-то случится, то Москва вполне обойдётся и без театра миниатюр.

И чтобы не строить новое здание, власти принимают решение – выделить под театр помещение кинотеатра «Таджикистан». И вот тут-то происходит самое забавное. В духе соцреализма. Чтобы из кинотеатра «Таджикистан» получился театр, надо было изнутри его разрушить «до основания, а затем» всё перестроить и кое-что пристроить. Эта переделка заняла столько времени и стоила столько средств и сил, что куда проще было бы построить новое здание на пустом месте. Конечно, тут же подключились районные партаппаратчики. Они организовали жителей района, чтобы те писали жалобы во все инстанции. Потому что секретарю райкома в его районе Райкин не был нужен. Ибо сатира Райкина была для него бомбой замедленного действия. А что если вдруг на спектакль придёт какой-нибудь вышестоящий начальник и скажет: «А что это там Райкин говорит со сцены? Куда смотрит партийное руководство района?» И перестройку кинотеатра затянули на несколько лет. Но, слава Богу, Райкин дожил до открытия своего театра.

И в это же самое время в рекордно короткие сроки начальство построило рядом новый огромный кинотеатр «Гавана».

Вот такая была история с переездом театра в Москву. Теперь это популярнейший в столице театр «Сатирикон». И возглавляет его Константин Райкин.

Райкин и его популярность

Но я забежал на несколько десятилетий вперед. А мне хочется снова вернуться в 1956 год в благословенный город Кисловодск, где гастролировал в это время театр Райкина, и куда я только что приехал, чтобы начать работу в этом театре. После одной из репетиций ко мне подходит Аркадий Исаакович и говорит: «Володя, вы что сейчас делаете? У вас какие-то дела?» Я говорю: «Нет, Аркадий Исаакович, никаких дел, просто пойду погуляю». – «Тогда знаете что – проводите меня до санатория».

На гастролях в Кисловодске Райкин всегда останавливался в каком-нибудь санатории – лечился там. Он был под наблюдением у врачей – у него с детства было больное сердце. И вот мы с ним идём по Кисловодску. Солнечный день, два часа дня. На улицах масса людей. Для меня, тогда начинающего артиста, эта прогулка была просто вехой в жизни. Я не мог не видеть, как реагировали люди на Райкина. Они оборачивались, смотрели нам вслед, кто-то шёл за нами, кто-то ему поднёс цветы с благодарностью, что он приехал, кто-то просил помочь достать билет в театр. Мне было очень приятно, и я испытывал большую гордость, что иду рядом с этим человеком, который держит меня под руку, и мы разговариваем. Это психологически на меня очень подействовало.

Я понял, что он пригласил меня на эту прогулку неслучайно. Он задавал вопросы, чтобы разобраться, что я есть. Как бы сказал Бабель, «что делается под шапкой у этого Бени». Всё-таки я пришёл из другого жанра – оперетты. Его интересовало, кто были мои педагоги в институте, какие предметы нам преподавали, какие я сыграл роли до прихода в его театр.

Он знал, что по приезду после гастролей в Ленинград, мне придётся на первых порах снимать квартиру, хотя он и обещал помочь мне с получением квартиры в этом городе. Но надо сказать, что сам Райкин с семьёй в это время жил в коммунальной квартире на Греческом проспекте и, конечно, очень этим тяготился. Уже в те годы он хотел переехать в Москву в частном порядке и даже вступил там в жилищный кооператив.

Но получилось так, что в это время в Кисловодске отдыхал председатель Ленгорисполкома Николай Иванович Смирнов. Это была легендарная личность. Крупный мужчина, с большим размахом. Он пришёл на спектакль, а затем – за кулисы к Райкину, и между ними произошёл такой разговор: «Аркадий, как хорошо!.. Вот он – наш Ленинград... Смотри, что делается!.. Все – только о вашем театре». Райкин ему отвечает: «Да, это хорошо, Николай Иванович, но я в общем-то решил переезжать в Москву». – «Аркадий, да ты что!» – «Ну а что, я живу в коммунальной квартире, в одной комнате с семьёй, мне это уже изрядно надоело» – «Да, какая Москва! Мы дадим тебе квартиру. Будешь жить в Ленинграде!» И закрутилось. На следующий же день он уже звонил в Ленинград и дал команду найти Райкину квартиру. И нашли. Четырёхкомнатную на Кировском проспекте, дом 7. Недалеко от Ленфильма. И всё это решилось в Кисловодске.

Вообще, с первого же знакомства с Райкиным я был поражен тем признанием и любовью публики, которыми он был окружен. И такое было до конца его дней.

Как же сам Райкин относился к своей популярности? Я вспоминаю, как однажды мы с ним выходили из универсама «Новоарбатский». Идём к машине. К нам подходят двое – интеллигентные мужчины с портфелями. «Здравствуйте, Аркадий Исаакович. Как хорошо, что мы вас встретили! Мы хотим сказать вам одну новость». – «Что за новость?» – «Мы – социологи, только что наш центр получил результаты социологического опроса: кто самый популярный человек в Советском Союзе. Оказалось, что их двое: это – Юрий Гагарин и Аркадий Райкин». Аркадий Исаакович выслушал, опустил глаза и сказал мне: «Вот видишь. А в Америке за популярность расплачиваются жизнью».

Вскоре после этого разговора мы выехали на гастроли в ГДР в группу наших войск. Это было в 1968 году. По дороге в Германию Райкин в ресторане в городе Бресте что-то съел и почувствовал себя плохо. И когда мы приехали во Вьунсдорф, его положили в госпиталь. И гастроли мы начали без него. И как раз в это время во Вьунсдорф пришла

правительственная телеграмма. Райкину присвоили звание народного артиста СССР.

Командование войсками ждало, когда Райкин поправится, чтобы его поздравить. И вот он выходит из госпиталя. Объявляется премьера. Пришел весь генералитет.

Обычно спектакль начинался с увертюры. Шла вступительная песня, которую исполняла вся труппа, и на сцену выходил Райкин. Но именно в этот вечер мне выпала честь выйти перед занавесом на авансцену и объявить: «На сцену выходит народный артист Советского Союза Аркадий Райкин». Была долго несмолкающая овация.

И в эти дни, когда вышел указ, в адрес театра в Ленинграде, в адрес театра Эстрады в Москве, на телевидение, на домашний адрес Райкина приходили тысячи писем и телеграмм с поздравлениями. Писали — от школьников первого класса до академиков. Райкина поздравили и руководители социалистических стран.

Обычно, когда мы возвращались с гастролей, на границе в городе Бресте нас встречал заместитель директора нашего театра Слава Ткачев. И на этот раз он сел в наш вагон и поехал с нами в Москву. Он прихватил с собой мешок с поздравлениями. Мы собрались в купе, в котором ехали Райкин и его жена Рома. Рома стала читать эти поздравления. А сам Аркадий Исаакович, одетый в пижаму, кротко забился в уголок и сидел там, поджав ноги. Я наблюдал за ним, мне интересно было, как же будет он на эти поздравления реагировать. А что было в письмах, можно было слушать и вытирать слёзы. Там было очень много трогательных и искренних слов, адресованных Райкину.

Когда читали поздравления, я не столько слушал, сколько смотрел, как реагировал на эти послания Райкин. А он реагировал так, будто всё это писалось не ему и не о нём. Вообще, очень часто Райкин мне напоминал медведя. По его лицу нельзя было понять, как он отреагирует. У него всегда были добрые глаза. Он никогда не повышал голоса, всегда был предельно вежлив, доброжелателен, но никогда нельзя было угадать, что он думает о тебе или как он относится к тому или иному событию.

Вне театра, вне сцены это был другой человек, совершенно отличный от того образа, который видел зритель. И у меня до сих пор впечатление, что он, вставая утром, начинал играть Райкина.

Но нельзя сказать, что в обыденной жизни он был бесстрастным человеком. Конечно, главной его страстью был театр. Также он любил живопись, хорошо разбирался в ней. Любил ходить по антикварным магазинам. И он, если хотите, был законодателем мужской моды. И в этой его страсти хорошо и элегантно одеваться, красиво выглядеть и произвести впечатление он получал огромное удовольствие. Вообще надо сказать, что артисты – это дети. Несмотря на возраст, на состояние здоровья, им постоянно надо во что-то играть. И Райкин играл.

Вспоминается такой случай. Наш театр – в Братиславе. Райкин – с нами, хотя незадолго до гастролей он перенёс инфаркт. О том, кто и как довёл его до инфаркта, будет возможность, я ещё расскажу. Всё-таки, придя в себя после тяжелой болезни, он решает ехать на гастроли в Чехословакию.

В день спектакля утром я захожу к Райкину, чтоб узнать, как он себя чувствует. Он мне говорит: «Володя, ты сейчас куда-нибудь идёшь?» Я отвечаю: «Да, я иду по «музеям». Так мы называли зарубежные магазины. «Тогда знаешь что, – говорит Райкин, – пойдём вместе. Зайдём за переводчицей и пойдём». А в Чехословакии, как и во всех соцстранах существовала серия магазинов типа нашей «Берёзки» и назывались они «Тузекс». И вот мы троём заходим в один из таких магазинов. Я смотрю на цены и вижу, что мне здесь делать-то нечего. В отделе мужской одежды висят красивые костюмы. Райкин буквально к этим костюмам прилип глазами.

Я прошёлся по другим отделам. Проходит пять минут, десять... Я возвращаюсь – Райкин по-прежнему в отделе костюмов. Тогда я говорю: «Аркадий Исаакович, вы здесь оставайтесь. А я пойду в другие магазины». И ушёл.

А перед спектаклем, будучи внутритеатральным режиссёром, я, как обычно, иду к Райкину, чтобы обсудить с ним некоторые детали спектакля. У дверей его гримерной

стоит наша костюмерша Зина. Она мне и говорит: «Володя, Райкин просил тебя к нему не заходить». Я подумал: может быть, он себя плохо чувствует, отдыхает... С этими мыслями и ушёл. А у нас в театре была такая традиция. Когда в зале давали первый звонок, мы все уже были на сцене за закрытым занавесом.

После второго звонка в кулисе появлялся Райкин и желал нам «ни пуха». Мы дружно вполголоса посылали его к чёрту. Потом мы желали ему «ни пуха». А он посылал нас туда же, куда и мы его. Но звенит второй звонок – Райкина в кулисе нет. Я начинаю думать – почему его нет? Мысли разные. Если с ним плохо, то с каким монологом мне выходить на сцену. (Я обычно подменял его в таких случаях). Дают третий звонок – Райкина нет. Уже раздвигается занавес, артисты на сцене, изображают манекены. Мы заканчиваем вступительную песенку, и занавес начинает закрываться... И в эту минуту на сцену впрыгивает Райкин. Лицом к нам. И мы от неожиданности все сделали: «А-ах!» Потому что Райкин был в великолепном василькового цвета вельюровом костюме. Он с белой седой головой был прекрасен. Затем он повернулся к залу. И зал ахнул так же, как и мы. А в антракте он радовался как ребёнок, что всех нас удивил и сделал всем сюрприз.

Это было в его духе – играть и удивлять, удивляться самому и радоваться этому.

Многим зрителям Райкин запомнился своей седой прядью на фоне тёмных волос. Этот сценический облик был у него довольно долго. Люди думали, что он эту прядь обесцвечивает. А на самом деле было всё наоборот. Райкин поседел рано. И он красил волосы, но оставлял одну-единственную прядь некрашеной. А когда с тем злополучным инфарктом он лежал в больнице, конечно же, там ему было не до покраски волос. И уже выйдя из больницы, он стал выходить на сцену с седой головой...

Страна готовилась...

Аркадий Исаакович жил театром 24 часа в сутки. Когда бы мы с ним ни встречались, о чем бы ни беседовали,

всегда наш разговор был о театре, о репертуаре, о том, кто из артистов лучше сыграет в той или иной миниатюре. И когда он заболел (а в последние годы его жизни это случалось довольно часто), и спектакли игрались без него, его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны он радовался, что театр продолжает жить, а с другой – ревновал, что спектакли играют без него.

Итак, 1970 год. Страна готовится к знаменательной дате в её истории – 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Советский народ под нажимом партийных органов берёт на себя повышенные сокобязательства. А наш театр подготовил сатирический спектакль «Плюс, минус». В спектакле были довольно острые монологи и миниатюры, никак не отражающие нашу героическую эпоху. Одними из авторов миниатюр, вошедших в спектакль, были писатели Леонид Лиходеев и Михаил Жванецкий.

Я думаю, не надо вам напоминать, что в Советском Союзе существовала цензура. Притом, лучшая в мире. По сравнению с ней цензура дореволюционная была просто ангельской. Только называлась она у нас более благозвучно. В литературе это были редакторы и завлиты. А в театральном и эстрадном мире – реперткомы. И каждый спектакль, каждую миниатюру нам приходилось буквально пробивать.

Помню, как-то Райкин говорит мне: «Володя я устал с ними бороться. Пойдём вместе». Приходим мы в кабинет одного из таких цензоров. Он говорит: «Товарищ Райкин, вот вы всё говорите о недостатках, о пороках нашего общества: о пьянстве, о бюрократах, о взятках. А знаете ли вы, что с одним из пороков у нас покончено навсегда?»

Райкин спрашивает: «Да? С каким же?» – «С взятками. Недавно вышел указ, где сказано, что тот, кто берёт взятки, и тот, кто их даёт, несут равную уголовную ответственность. Так что, считайте, что с этим у нас всё в порядке». Тогда Аркадий Исаакович спрашивает: «Вы не могли бы мне сказать, в каком году и от какого числа был издан указ, разрешающий брать и давать взятки?» Тот с удивлением посмотрел на Райкина: «Такого указа не было».

– «Как же вы хотите, – сказал ему Райкин, – отменить указом то, что создала сама жизнь?»

«Вот это артисты!»

И вот в год большого юбилея пришла пора сдавать нам сатирический спектакль «Плюс, минус».

Поскольку наш театр носил гордое звание «государственный», и подчинялся Москве, принимать у нас спектакли приезжала комиссия из Москвы, из Министерства культуры СССР. Там тоже, конечно, были свои держиморды от искусства, но всё ж не столь одержимые, как в «городе трёх революций». Такое положение нашего театра очень раздражало местных партаппарачиков. Мол, как так, – они работают в нашем городе, а нам не подчиняются. А заправлял культурой в ленинградском обкоме в те годы некто Александров. Большой «друг» сатиры в целом и нашего театра в частности.

Именно в это время произошла реорганизация городского управления культуры в Главное управление. И наш театр попал в его подчинение. А это обязывало нас сдавать спектакль цензорам из Ленинграда. Но нам всё-таки повезло. Поскольку возглавил Главное управление в Ленинграде Арнольд Янович Витоль, творческий человек, кинодраматург. Благодаря ему спектакль «Плюс, минус» с небольшими изменениями был принят.

С этим спектаклем мы и поехали на гастроли в Москву. И там видим такую картину. Афиш о наших гастролях в городе нет. Но, несмотря на это, зал театра Эстрады, где мы играем, всегда переполнен. Люди, чтобы достать билет, по ночам отмечают в очередях в кассу.

«И надо же беде случиться», – как сказал известный баснописец, что к этому времени «лучшего друга» нашего театра, того же Александрова, переводят в Москву и делают зам.министра культуры по эстраде. О том, что за люди сидели в этом министерстве, ходили анекдоты. Но лучше всех, пожалуй, на этот счёт высказался Смирнов-Сокольский, который сказал: «Не бойся министра культуры, а бойся культуры министра».

И вот мы играем в театре Эстрады, и в один из вечеров на спектакль приходит Александров. Я уж не помню, досидел ли он до конца, или нет, только на следующий день он доложил первому секретарю МГК небезызвестному Гришину, что Райкин несёт со сцены антисоветчину.

А в чём она заключалась. Во вступительном монологе, который читал Аркадий Исаакович, говорилось, что страна погрязла в бюрократизме, что развелось несметное количество чиновников, что они могут развалить страну... У зрителей в зале перехватывало дыхание, они недоуменно смотрели друг на друга, мол, куда это Райкина занесло. А тот делал паузу и говорил: «Ленин». То есть, он читал цитаты из сочинений Ленина, которые были опубликованы ещё при жизни вождя, и которые удачно подобрал и вставил в монолог Леонид Лиходеев. И что-то против этого возразить было трудно.

На следующем день на спектакле мы замечаем (а со сцены это хорошо было видно), что весь первый ряд занят серьёзными людьми в чёрных костюмах, в белых рубашках и с почти одинаковыми галстуками. Прямо как из инкубатора. И у каждого в руках – по записной книжке, в которые они делали пометки по ходу спектакля.

После этого мы сыграли ещё несколько спектаклей. Затем по плану мероприятий театра Эстрады там в течение недели должен был проходить конкурс артистов эстрады. (Кстати, на этом конкурсе Витя Ильченко и Рома Карцев стали лауреатами). И нас на неделю отпустили в Ленинград с тем, что через неделю мы возобновим гастроли в Москве, которые были рассчитаны на полгода.

За пару дней до окончания конкурса Райкину позвонили из театра и сказали, что им запретили продавать билеты на дальнейшие гастроли.

Райкин, конечно, возмутился. Но ему сказали: «Аркадий Исаакович, вы знаете, как мы вас ценим, но мы тут не при чём. Был звонок из горкома партии. Поезжайте в Министерство культуры, попробуйте разобраться».

И пошло хождение по мукам.

Он поехал к одному чиновнику. Тот его встречает с распростёртыми объятьями: «Ба, да кто к нам приехал! Аркадий Исаакович, рады вас видеть! Вам чаю, или кофе? Что вы такой взволнованный? Какие проблемы?»

И когда Райкин начинал говорить, что ему запретили дальнейшие гастролы, чиновник (сочувственно, естественно) говорил: «Аркадий Исаакович, вы же знаете, как я вас уважаю. Но я-то здесь при чём? Вам надо поехать к такому-то. Хотите, я вам дам машину?»

Райкин отвечал: «Спасибо, я на машине». И уезжал к очередному боссу. А в это время этот деятель звонил следующему и говорил: «Сейчас к тебе приедет Райкин. Так что, будь готов».

На очередном витке Райкина снова встречали радостно, — мол, кого мы видим! — и отправляли к очередному «злодею».

Так Райкин по кругу безрезультатно проездил целый день.

На следующее утро я прихожу к Аркадию Исааковичу.

Он, обычно всегда аккуратный и подтянутый, сидел посреди комнаты на стуле в халате, небритый, какой-то опущенный. Таким я его никогда не видел. Я говорю: «Аркадий Исаакович, ну чего вы так расстраиваетесь. Ну вернёмся в Ленинград, будем там играть...» А он мне и говорит: «Знаешь, Володя, какие, к чёрту, мы с тобой артисты... — и показав пальцем вверх, добавил, — вот **там** артисты, так это артисты!»

Райкину предлагали глотать шарики...

Но «добил» Райкина, я уверен, разговор с Шауро. Был такой большой начальник по культуре в ЦК партии. Когда Райкин пришёл к нему, тот сказал буквально следующее: «Ну что вы, товарищ Райкин, всё критикуете и критикуете. Вы вспомните, как вы стали Райкиным. Вы выступали для детей, показывали фокусы, глотали шарики... Почему бы вам и сейчас...» Райкин говорит: «Позвольте, с тех пор прошло сорок лет. За эти годы может ведь артист немного вырасти и перестать глотать шарики».

Короче говоря, в кабинете у Шауры произошёл очень неприятный для Райкина разговор.

А в реперткоме Министерства культуры ему сказали: «Уберите из текстов то, что мы предлагаем вам убрать. Мы придём на репетицию, посмотрим, и тогда вечером вы можете играть спектакль».

У нас поднялось настроение – вечером играем!

В тот день я, как обычно, на метро доехал до дома Райкина, где стоял наш «Рафик», в котором мы должны были ехать в театр. И вижу, вместо «Рафика» стоит «Скорая», и около неё ходит взволнованная Мариэтта Шагинян. Она очень любила Райкина, любила наш театр, много писала о нас. Я спрашиваю: «Мариэтта Сергеевна, что случилось?» Она мне говорит: «У Аркадия Исааковича – инфаркт». Затем она нервно и сбивчиво стало говорить: «Ляховицкий (почему-то она всегда обращалась ко мне по фамилии), прошу вас, когда он поправится, скажите ему... Он с вами считается... Он к вам прислушивается... Нельзя пробить бетонную стену головой... Может быть, надо найти обходной вариант... на какое-то время... пока эта стена сама не рухнет...»

Райкина увезли в больницу с обширным инфарктом. Его состояние было настолько тяжёлым, что в одной югославской газете появилось даже сообщение о его смерти. Такие же слухи ходили и по Союзу.

А нам сказали в министерстве: «Откуда приехали, туда и поезжайте».

И мы поехали домой в Ленинград. Театр есть театр. Мы стали играть спектакли без нашего художественного руководителя. Но никогда не играли то, что играл на сцене Райкин. У нас был совсем другой спектакль, он назывался «Это не о вас».

И зрители знали, что Райкина в спектакле не будет и всё равно каждый вечер до отказа заполняли зал. Так прошло несколько месяцев. Райкин постепенно поправлялся. И в один прекрасный вечер – и в самом деле прекрасный! – он появился в театре. Сидел за кулисами. Был ещё слабый. И все-таки к концу спектакля он мне говорит: «Володя, не

выходи на сцену с заключительным монологом. Я закончу спектакль».

Когда Райкин вышел на сцену, что творилось в зале – не передать! Такого триумфа я не припомню. Зал в течение пятнадцати минут, стоя, аплодисментами приветствовал любимого артиста.

Он долго не мог начать монолог.

Разговоры о том, как чиновники довели Райкина до инфаркта, ещё долго будоражили столицу. Дошли они и до Брежнева. Кто-то из чиновников понёс наказание. Не думаю, чтобы у первого секретаря МГК Гришина заговорила совесть. Скорее всего, и он чего-то забоялся. Он вызвал к себе Райкина. Извинился. И как бы оправдываясь, сказал, что мол, ему так докладывали.

Тогда Райкин спросил у Гришина: «Виктор Васильевич, объясните мне, как можно докладывать об искусстве? Как можно доложить, как танцует Плисецкая, как поёт Козловский, как пишет Пастернак»

Гришин не нашёл что ответить...

Мюнхен



Борис Кушнер

Метафора жизни

Из новых стихов, июль-октябрь 2009 г.

Первое июля



тихами мерю календарь —

Не Солнцем, не Луною. —
Вал вдохновения, ударь
Девятою волною!
Тебе почёт и даже лесть,
Прочь, скепсис-образина!
А если, что, так в доме есть
Для мусора корзина.
1 июля 2009 г., Johnstown

Вариация 7-11

Невероятное событие,
Явление легиона Муз.
Мой лабиринт. Его безнитье.
И дымный день-Экибастуз.
Но всё же сознавать отрадно,
Сгорая в медленном огне:
Жила на свете Ариадна,
Хоть суждена была не мне.
3 июля 2009 г., Pittsburgh

Я заболел на даче той. —
Вокруг посёлок стыл пустой,
И всё из рук валилось.
Был ветер как-то нарочит,

И нам казалось – в дверь стучит
Последняя немилость.

Я плыл в бреду. Пожар, озноб.
И бледен так, что краше – в гроб,
И Ты меня лечила.
И в рощи меркнувшую медь
Шептал, что разлучит нас смерть. –

.....
И смерть нас разлучила.

3 июля 2009 г., Pittsburgh

Полей зелёная пустыня,
Недвижен горизонтный лес,
Мерцает тускло Солнце-дыня
Жарою выжженных небес.
Хоть сладок плод, да не отрежешь
От этой дыни сочный кус...
А у Светила тропы те же –
Плывёт себе, не дует в ус.
Такая страшная картина,
И лишь одно мне дарит свет:
О, Мировая Паутина,
С бессонной суетой сует!

6 июля 2009 г., Johnstown

Струны перебирая
Лютни или гитары,
Ангел – кругами из рая,
Нас собирая в пары.
И найдя половину,
Своей Души разделённой,
Славлю Тебя, Авину,
Солнце, Луну и клёны.

7 июля 2009 г., Johnstown

Вариация 7-13 (ERLKÖNIG)

Лесной король иль царь лесной –
Не всё равно ль? Моей весной
Я в романтическом настрое.

Пусть лесу полыхать, как Трое,
Я – сам дитя. Волшебный страх
Стал песней сердца на устах,
Последним торжеством гармоний. –
Пусть свинцевеет карк вороний,
Пусть в чаще царь восстал на троне
И к горлу тянется рукой. –
Я сам лечу могучей птицей,
Швыряя бури репетиций
Над клёнов пламенной рекой!
10 июля 2009 г., Pittsburgh

Из-за штор токката,
Города клавир, –
Это пульс заката,
Или утром мир?
Под простынной крышей
Не откроешь глаз,
Музыку колышет
Сквозняковый газ.
Жизнь моя, фонарик,
Ты гори, гори
До-мажором арий
Праздника зари!
12 июля 2009 г., Pittsburgh

Глаза мои стали тусклы. –
Времени вес.
Меркнут в театре люстры.
За-на-вес.
И всё же шепчу упрямо,
Пишу, карандаш кроша:
«Кончается жизни драма,
Но как была хороша»!
13 июля 2009 г., Route 22, East

И вспоминаю до сих пор
Её внезапный взгляд в упор,
И предначертанный заранее
Неотвратимый ход вещей,

Поскольку жизнь есть расставанье,
Хоть Фея с нами, хоть Кощей.
Хоть званый ужин, хоть могилы,
Но занавесят зеркала,
И тщетно Ты прошепчешь: «Милый...» –
Очаг – вздохнёшь, в глаза зола...
13 июля 2009 г., Route 22, East

Приплыли. Нет дороги дальше.
Закрыть глаза. Сложить крыла.
В оркестре – Б-же! – сколько фальши! –
.....
Но смерть-то подлинной была...
14 июля 2009 г., Johnstown

Ольге Григорьевой

За хрупкой плоскостью стекла
Неутолимо жизнь текла,
И речь моя текла потоком,
И, обретая знаков плоть,
Дышала розовым востоком,
Зарёй, что даровал Г-дь.
И растекались строки-маги
По снежной плоскости бумаги,
Соединяя две реки:
Наш мир живой и жизнь строки.
15 июля 2009 г., Johnstown

Вариация 7-14

Лучи сверкали без опасок
Сквозь тучек мелкий гребешок,
Их пряность половецких плясок
Отнюдь не повергала в шок.
В сто бубнов радио гремело,
О, знойный чувственный восток!
Лети в мои объятия смело,
Красотка, розы лепесток!
Лети скорей, а то завою!
Куда девался только ум!
Твои холмы – губам халвою,

Твои уста – рахат-лукум.
По первобытнейшему праву,
Из всех безумцев я один
Прольюсь дождём в твою дубраву... –
А если что-то не по нраву –
Кто был виною? – Бородин!
16 июля 2009 г., Route 22, West

На кухне стылая еда,
Забыта на неделе...
Заплесневелая беда,
Беда на самом деле...
Умолкли радость, слёзы, злость –
Забвения разруха. –
Здесь побывал незванный гость –
С косой в руках старуха.
17 июля 2009 г., Pittsburgh

Нельзя скучать дорогой долгой –
Мурлычу фугу, хоту иль
Вдруг разольюсь улыбкой-Волгой,
Припомнив старый водевиль.
К тому же радио подмогой –
Нет, не Бетховен-ураган,
Трёхдольный метр, слегка убогий –
Весёлый Штраус Иоганн.
А если вальсы утомили,
Займусь вязаньем этих строк... –
Вот так живу, глотая мили
И предназначенный мне срок.
20 июля 2009 г., Route 22, East

Бродили громы
По горизонтным кругам,
И сотрясал хоромы
Ворон пророческий гам.
А я сидел в одиночку –
Чернильная тля. –

И грозы сжимались в точку –
В которой – я.
21 июля 2009 г., Johnstown

Вариация 7-15

Ели-шали ошалели, –
Снег взрывался – динамит.
Заползает холод в щели,
Печка гаснет и дымит.
Стены выцветшего мела –
А чего ж ты ждал, чужак? –
Дача на ветру скрипела,
Призрак обживал чердак.
Позабудешь ли ту зиму? –
Свечка, блики по плечу...
Разговор наш по Тувиму –
Ты молчишь, и я молчу...
Виноград – да хоть зелёный,
Только где его возьмёшь?
Под снегами ели-клёны...
Я: «Искусство!» – Ты: «Ну, что ж...»
Напевала и бодрилась –
«Над могилою звезда»...
Возвращение – не милость,
Раз уж выпал из гнезда...
Расставанье, лиц бескровье
Над путями на мосту... –
Пелагея иль Прасковья
Звали сторожиху ту?
И тоска была свинцова,
И свинцовы небеса...
Подмосковье. Одинцово.
Электричек голоса...
23 июля 2009 г., Route 22, West

Лес. Тропа. Зелёный мрак
Отзывался вечной тайной –
И весёлой, и печальной,
И ручей спадал в овраг,
Возвращая крон обличья,

И верхушки в трелях птичьих,
В этих нежных кружевах
Шелестели: «Беатриче...
Беатриче... Что ж ты... Ах...»
28 июля 2009 г., Johnstown

Не гроза, не гром,
Дождь, да дождь кругом,
Не ворона в крик,
Не поёт ящик,
Не душа, не ум –
Только ливня шум...
29 июля 2009 г., Johnstown

Г-ди, как это все –
Решать головой:
Causa sui
Иль Б-г Живой?
30 июля 2009 г., Pittsburgh

Августовские ромашки –
Что с них возьмёшь? –
Поле в зелёной рубашке,
Белых пуговиц дрожь.
Нет, не белой горячки
Мы опасаемся здесь –
Туча на водокачке,
Лето в последней стачке,
Птиц свинцовая взвесь.
3 августа 2009 г., Johnstown

Вариация 7-16

Вот такое странное дело –
И куда только ночь глядела?
Ночь-цыганка с алмазною шалью,
Мою песню слышала шалью?
Млечный Путь – пороги-буруны,
У гитары порваны струны.
Что ж вы, звёзды! Рёсы разлейте –

Я заре сыграю на флейте!
Этих чутких клапанов тропы –
Просыпайтесь фиалки-укропы! –
Горизонт сиянием зальёт,
И, вздохнув, исчезает Гамлет.

.....

А к дверям прибита подкова,
И душа моя тростникова.
4 августа 2009 г., Johnstown

Лучей зелёные хорды,
Сурков ленивые морды,
В движение руки –
Бурундуки.
Каждый в своей тарелке –
И я, и птицы, и белки. –
Бежим по колесу –
В лесу.
4 августа 2009 г., Johnstown

По полю будто через брод –
Промокнешь до костей,
И вздрогнешь – странный оборот
Экранных новостей.
Что бормотали поутру
Два типа наизусть? –
Один сказал, что я умру,
Другой ответил: «Пусть!».
5 августа 2009 г., Johnstown

Вариация 7-17

Не взрыв зари – лучи Рентгена
Насквозь пронзили темноту. –
Сегодня в жизни перемена –
Хватаю звёзды на лету!
Я вижу Дух сквозь кожу буден –
Пегас, скачи через межи! –
.....

Я слышу музыку Прелюдий
И шёпот Мировой Души.
6 августа 2009 г., Johnstown

Как славны были годы те –
Метаться в сладкой маяте,
Играть в Ромео и Джульетту –
Ещё не знать про речку Лету,
Зато *Она* – рукой подать, –
Какая право благодать
Припоминать эпоху эту.
Пусть между тем сгущался мрак,
Зверело царствие ословье,
Но разрывая цепь злословья,
Звенела станция «Маяк»
Про вечера на Подмоскowie.

Теперь плыву, Б-г знает, где,
Утратив лиру и корону, –
Навстречу счастью иль беде? –

.....
Своим притоком к Ахерону.
6 августа 2009 г., Route 22, West

Жара с бессонницей сестрой –
Неслышный шаг по плитам. –
По стойке «смирно» елей строй –
Так свойственно визитам
И государственных мужей,
И в липком зное мыслей –
Они не просвистом стрижей –
Иных усов обвислей.
Я сам себе не объясню,
Что дважды два – четыре.
Мой интеллект – сиянье «ню»,
Пустое место в мире.
9 августа 2009 г., Pittsburgh

Вариация 7-19

Красотке Розине
Привет от Россини,
От всех верхотур.
От сине парчёвой,
От стаи грачёвой,
От прочих
Колоратур.

Молчите, воробы,
Пророки-разини,
Ваш карк не отравит
Мажористость дня. –
Лечу озарённый –
Бетон по резине –
Красотке Розине –
Привет от меня!
10 августа 2009 г., Route 22, East

Нет тоски лютей,
Чем от злых людей.
От такой тоски,
Да в снегах виски,
Да по лбу морщин,
Как в горах лоцин.
Ты, разлучница,
Свист косы-огня! –
Чем так мучиться,
Обними меня...
10 августа 2009 г., Johnstown

Прокатилось эхо:
«Курам не до смеха!».
Отвечаю наспех:
«Это курам на смех!»
11 августа 2009 г., Johnstown

Прибоя неумолчный гул,
Заката Храм пред нами.
И гребни плавники акул

Распарывают временами.
Здесь не раздолье молодцу,
Не тёмный лес, не сосны. –
Акулы – не ровня пловцу,
Они молниеносны.
Но бухты белая метель
Тебе сулит восторги. –
Ты говоришь, что суша – мель,
Что с Роком мелки торги.
Остановись, остановись,
Я ж не монах в сутане! –
Нас звёздами осыплет высь,
И час любви настанет.
Тогда проси венок любой,
Любых размеров оду! –
Нас не предаст оргán-прибой,
И Месяц смотрит в воду...
11 августа 2009 г., Johnstown

Вариация 7-20

Поэт взывает: «Не совей!
Такая буча в нашем рае!»
Но даже тенор умирает,
Своей эпохи соловей.
12 августа 2009 г., Johnstown

Под губами дрожали ресницы,
Целовал и напиться не мог.
Нет, не в блеске Простёртой Десницы,
В наших столах является Б-г.
Ни к чему колдовские снадóбья –
Вознесли на вершину крыла!
И с улыбкой глядит на подобья
Наш Творец, как глядят в зеркала.
12 августа 2009 г., Johnstown

Вариация 7-21

Ещё едва дрожат крыла,
Ещё не в силах сила,
Но Он вершит свои дела –

Восходит шар Светила.
И Еве слаще всех наград
Вдруг яблоко Адама, –
Шипи, ликуй, ползущий Гад, –
Ещё в начале Драма.
А сколько актов будет в ней
Ты сам не знаешь, Б-же,
Что ж, торжествуй лукавый Змей,
Ползи – летать не сможешь!
13 августа 2009 г., Johnstown

Ретро

Поезд до Владивостока.
Гул. Ярославский вокзал.
Месяца луч из высока
Зелень вагонов лизал.
«Мальчик, не вырони мячик»! –
Не удержать егозу!
В куртке промасленной смазчик
Кашляет где-то внизу.
Пробует сталью колёса,
Звоном – последний досмотр.
Поезд – не знаком вопроса, –
Мощью налитый осётр.
Эх, пояса часовые,
Глобус без талии ведь!
Ёлки весь день постовые,
Радио хрипящая медь.
Судеб застывших декада,
Станций пролётных печаль,
А за терпенье – награда, –
Углем приправленный чай.
Здесь собрались чаеведы –
Где так напьёшься за грош?
Сладостны эти беседы
Сквозь подстаканников дрожь.
Чудо, хоть знаешь заранее,
Ложкой стуча о стакан,
Что впереди – расставанье,
Тихое, как океан.
13 августа 2009 г., Route 22, West

Вариация 7-24

В углу мерцал старинный ларь
Наверняка царя Гороха.
Оконца выцветший янтарь,
И солнце в роли скомороха.
Плечу щекотно от луча,
Сверкнул черпак в ведре на лавке. –
Куда попал я, ночью мча? –
Не отыскать в стогу булавки.
К чертям заёмный лексикон!
И счастья всем, живущим прямо.

.....

Всё тот же город из окón
Шумел, как море Мандельштама.
17 августа 2009 г., Pittsburgh

Вариация 7-25 (Ретро)

Контора выдавала справки –
Машинок непреклонный марш.
Так закалялась сталь без плавки
В руках упорных секретарш.
Зима пылала снегирями,
Мороз и солнце – день, цари!
Нас Б-г дарил секретарями,
Да здравствуют секретари!
Их несравненные портреты,
Где сердце – кремь, тело – трут,
Их многотонные кареты –
Смотри же, не зевай ОРУД!
Пролетарьят всемирный с нами,
За нас весь прогрессивный шар!
Пусть опалает наше знамя
Из искры – мировой пожар!
Пусть МГУ – на зоне зона,
Но, враг идущий на таран,
Не забывай, не забывай
Судьбу Керзона,
Не забывай, не забывай
No pasaran!
А между тем цвели фиалки,

А также груши над рекой,
И в нас – Любовь – не из-под палки:
«О, (вставить имя) Дорогой!»
И наши славные весталки
Давали Донахью ответ:
«Потуги Ваши, мистер, жалки –
В стране Советов – секса нет»!
18 августа 2009 г., Pittsburgh

Не в свои садиться сани... –
Так с Судьбой играют в вист. –
Электричка из Рязани
Пролетела. – Ветер. Свист.
И ещё дрожат берёзы –
Глянeshь, упадёшь в тоску.
Обвиненья. Грозы-слёзы. –
Ну, зачем тебе в Москву?
Лучше б вышел на просёлок,
А с него – в нетёмный лес...
Свежесть ёлочных иголок,
В кронах солнечный осколок,
И такой покой небес...
20 августа 2009 г., Pittsburgh

Вариация 7-29

Разлука встала на пуанты, –
Оркестры, наше па-де-де! –
И времени сжимались кванты –
К беде.
Нам завещал предсмертно Фучик,
Да мы не слушали завет,
И Золотой утерян Ключик,
Орехи не разгрызть, Щелкунчик! –
Артистке – пламенный привет!
Мария Стюарт – кровь и брага,
И белены проклятой фляга,
Оврага траурная влага,
А ты играешь, как ручей!
В театре впрямь нужна отвага,
Но рвётся под пером бумага

У переделкинского мага,
И под откос сорвалась сага –
Мгновение – и он ничей.
А нам не мучиться вопросом,
Не шлёпать по багровым росам –
Не дремлют тайные ловцы.
Позорно заходиться в плаче,
Сей мир не создан для овцы,
А быть-не быть – мираж, тем паче –
Повсюду Гамлета отцы.
Кругом сплошные виртуалы,
Что заполняют каждый ямб,
А в жизни оползни, обвалы,
Пожары и прорывы дамб.
22 августа 2009 г., Pittsburgh

Какое грязное бельё! –
Либеральё.
25 августа 2009 г., Pittsburgh

Вот и тридцать лет миновало,
И не знаю – много иль мало,
Дней моих нисходящая гамма –
Свежей жизнью бурлит белый свет.
Но, когда окно моё ало,
Я рассвету шепчу: «Мама, Мама,
Как давно Тебя нет»...
И вздыхают под окнами ели,
И летит и кружится без цели
Голубая Земля... –
Что ж, поклон годам и годам,
Их пустыням, светилам и льдинам, –
Я – один перед Б-гом Единым
Без заступницы, без Тебя...
26 августа 2009 г., Pittsburgh

Зовёшь? Напрасные труды. –
Тебя не слышат за чертою.
Там нет ни жизненной страды,
Ни дней, что семят четою.

Там не играют чёт-нечёт,
Поскольку сбылись предсказания,
И ловкость ни к чему тарзанья –
Причина следствие влечёт.
А мне пока ещё дорога,
И, как картишки ни раскинъ,
Но тело – сладкий вид острога,
И осенью печалит синь.
30 августа 2009 г., Route 22, East

Солнце, слабея,
Клонится к нежности.
Небо всё голубее,
Всё ближе к безбрежности.
Без прежней радости прыткой,
Но всё же сердце храбра,
Смотрю на сентябрь с улыбкой
Из своего декабря.
1 сентября 2009 г., Johnstown

Синева не нова,
Но поразительна!
Как же жалки мои слова,
Как строка – умозрительна!
И не передать –
Все усилия зря –
Эту синюю статью
Сентября-октября.
И расписан холст
Солнцем по сини –
Вышний шелест прост –
Поступь Осени.

.....
Океан новизны
В каждом атоме голубизны...
2 сентября 2009 г., Johnstown

Забывать? –
Скажи «Прощай» старанью,
Когда проснётся прежний жар. –

Не забывает так над ранью
Подняться раскалённый шар.
Ты постарел, ты обнелепел,
И всё ж смотри, – душа жива!

.....
И прорываются сквозь пепел
Твои последние слова.
3 сентября 2009 г., Johnstown

Зенит голубой
Звенит над тобой.
Бездна –
Бездонна синь.
Песня больна? –
Да вот же она –
Голову запрокинь!
3 сентября 2009 г., Johnstown

Невыносимый скрежет фальши,
Надежды горький шоколад... –
«Как жалки ухищренья Ваши,
Скажите просто: «Виноват».
Не жальте же змеёю в жите,
Или из черепа коня. –
Скажите, попросту скажите:
«Я виноват. Прости меня»».
6 сентября 2009 г., Pittsburgh

Рассвет. Органная токката.
Разлив минорного дождя.
Заря печальнее заката,
Поскольку стал закатом я.
И голос мой охрип постольку,
Поскольку облетает лес... –
А мне б сыграть хоть вальс, хоть польку
Коль не по силам полонез.
7 сентября 2009 г., Pittsburgh

Вариация 7-32

Реторта. Зелье. Смерд осадка.
Не зря о Фаусте молва,
Что только скажет он «халва» –
Во рту у Маргариты сладко.
И небо, и последний листик
Объемлет сей могучий ум. –
Остынь, поешь, мыслитель-мистик, –
Вот персик, вот рахат-лукум.
Грядёт с косою повитуха,
Харона вечная кума –
Шепнёт застенчиво на ухо:
«Милок, в тебе ни капли духа,
К чему томление ума»?
8 сентября 2009 г., Johnstown

В луже – неба отраженье,
С ближних крыш – вороний гам,
Ряби мелкое движенье
По пушистым облакам.
Всё чудесно, всё пушисто, –
Даже карканье ворон.
Я богаче Монте-Кристо –
Граф он был или барон?
Креза с Гейтсом я богаче,
Жизнь на строфы положив.
Жарь, мажор! Нельзя иначе
Петь такое чудо: «Жив»!
9 сентября 2009 г., Johnstown

Тишина лесная,
Сердцем завладев... –
Не нарушу сна я
Трав, кустов, дерев...
Папоротник, кашки,
Чащи благодать... –
Жаль, что нет ромашки –
Мне бы погадать...
14 сентября 2009 г., Johnstown

Вариация 7-33

Из чащи тянуло влажной прохладой,
И шелеста шёпот казался балладой.
Осенняя полночь и смелый наездник,
И сказочник добрый, печальный
кудесник.

И птицы кругами, спиралями в небе,
И Шуман – о Даме... Романтик
Евсебий...

15 сентября 2009 г., Johnstown

Недолог путь, шаги нескоры,
Но вот уже смолкают споры,
А там хоть плачь, а хоть божись, –
Но меркнут звёзды, гаснут взоры –
.....

Всё это вместе – просто жизнь...

17 сентября 2009 г., Johnstown

5769 – 5770

Рубеж пространств, судёб, времён –
Мир годовщиной озарён,
И лунный круг начнётся снова,
И что ни строчка, то новá,
Шана Това всему живому –
Шана това!

18 сентября 2009 г., после захода солнца,
1 тишрей 5770

Реки шершавое зеркало
Переливалось и мерцало,
Дробило рощи изумруд,
Глотало птичьи междометья,
Грозя бездонностью минут, –
Казалось, что сейчас замрут
И останвятся столетья.
Но, Книгу прочитав с листа,
Очнулся век, помчался к рифам,
В Судьбе известные места.

А я на мир смотрел с моста
И сам себе казался мифом.
19 сентября 2009 г., Pittsburgh

Ни меча, и ни орал –
Разорался либерал.
19 сентября 2009 г., Pittsburgh

Прислониться к осине,
Трепетать – как старо! –
Пишет строчку по сини
Золотое перо.
Ни журавль, ни синица,
Ни лиса, ни шакал –
Из зенита Жар-птица
Посылает сигнал.
Без малейшей опаски,
Полон свежих идей,
Пишет добрые сказки
Самолёт-чародей.
Что ж ты, нежное деревце? –
Ни вздыхай, не дрожи –
Самому мне не верится
Про поминки души.
20 сентября 2009 г., Pittsburgh

Грохот, скрежет и визг.
Восток примеряет корону.
Прямо в огненный диск
Лечу по бетону.
И дарят пролёты проснувшихся чаш
Фейерверки-мгновенья.
Солнечный шар животворящ,
Знак благословенья.
Неслышно смежает ветр-круговерт
Ночи чёрные очи.
В грехе вопрошаю: «Ты милосерд,
Отче»?
Дорога вздымает девятый вал,
Чечётка колёс коленцами.

А солнечный шар? Он так же вставал
Над печами в Освенциме.

21 сентября 2009 г., Route 22, East

Осени ранние краски –
От жёлтого до багрового... –
Старые горькие сказки –
Лес примеряет маски –
Что же тут нового?

Синь на чернилах замешана,
Мраморны облака... –
Царствие наше взвешено –
По роще пишет Рука...

21 сентября 2009 г., Johnstown

Зачем я пережил легенду,
Что вдохновеньем сотворил? –
Увидишь финишную ленту –
И ни руля, и ни ветрил.
И тонешь медленно в болоте,
Иль в омут с гирею в ногах. –
Откуда, призраки, зовёте,
В каких кружите облаках?
Зенит, что был когда-то осью,
И стёрт заветный карандаш... –

.....

Увидел на пороге Гостью, –
Открыл глаза, – исчез мираж...

22 сентября 2009 г., Johnstown

Тишина была глубока –
Из бездонности небес
Солнца пламенное око,
Молча, озидало лес.
Всё застыло, всё молчало
Этим поздним сентябрём... –

.....

Жизнь начнётся ли с начала,
Если мы с Тобой умрём?

23 сентября 2009 г., Johnstown

Всё уж, не буревестники,
Ночь в окно.
Старики мои ровесники –
Сам я кто?
Но скриплю пока ещё,
Осень с затяжным дождём... –
В ящике открытка с кладбища,
Пишут: «Верим, любим, ждём».
24 сентября 2009 г., Johnstown

Смотри, мой друг, не занедужь
Под оправданий басни... –
Разрыв – пустяк. Сближение душ
Любой войны опасней.
25 сентября 2009 г., Route 22, West

Йом Киппур

Ты опечален, старожил?
С начала не начать? –
Плачь, трепещи, не заслужил
Ты добрую Печать.
Пусть Запись в вечной Книге Книг,
Нам, смертным, не прочесть,
Припомни жизни каждый миг –
Что ж, по заслугам – честь.
Но потерять надежду – грех,
Надейся до конца. –
Есть милосердие для всех
У Доброго Творца.
27 сентября 2009 г. – Тишрей 9, 5770

Дожди по сумрачным лесам,
И коршун кружит – нет ловитвы, –
И не по сердцу небесам
Мои молитвы.
28 сентября 2009 г., Route 22, East

Октябрь

Октябрь, октябрь! Ещё один...
По сини проплыванье льдин,

Что прежде звались облаками –
Вот так и мы плывём кругами,
И с каждым годом уже круг,
И тщетно прячется испуг
За предприимчивой улыбкой... –
Не-встреча с золотой рыбкой,
Не лгут седые зеркала... –
Но сказка всё-таки была –
Пусть ненароком, пусть ошибкой...
1 октября 2009 г., Johnstown

Ветер роще прямо в лоб
Поутру.
Листьев бешеный галоп
На ветру.
Предпочёл бы полонез,
Звоны лир.
Да, видать, попутал бес
Бедный мир.
Что-то станет, дерева,
Лес с сумой? –
Плоть любая, как трава,
Б-же, мой...

1 октября 2009 г., Johnstown

Вариация 7-34

Не Шопен, не Лист –
Это ветра свист
В чистом во-поле.
Всё сижую-гляжу
Сквозь окно-межу
На пейзаж-Калло
И вздыхаю о
Мефистофеле.

3 октября 2009 г., Pittsburgh

Туба, флейта и фагот.
Неба цвета терракот.
Всё с утра наоборот –
Контрабас визжит фальцетом,

Уползает скрипка в бас. –
Дирижирует концертом
Мефистофель-Карабас.
5 октября 2009 г., Route 22, East

Облаков пушисты хлопья,
Свет насыщен и звенящ,
И лучей пронзают копья
Крыши поредевших чаш.
И кругом зверья забота,
Труд, не покладая лап,
Айболит не виден что-то,
А причём здесь эскулап?
Приговор давно известен,
Знают лучшие умы –
Нет леченья, только песни
Исцеляют от зимы.
5 октября 2009 г., Johnstown

Стынет чаша. Смерть движенья.
Лес в плену недобрых чар.
Ветряки на возвышеньё
Жутче полчищ янычар.
Ведь ещё живу пока я,
И не празднуют враги... –
Что со мной? Хандра такая?
Просто встал не с той ноги?
6 октября 2009 г., Johnstown

Положить конец нытью... –
Осень клóнит к забытью,
Тучи – необычно низки –
Пьют себя из лужи-миски.
Скоро красная зола
Запорошит зеркала.
Фауст, прялка, Маргарита –
Всё заброшено-забыто...
Лес застыл, под ноль обрит... –

.....
Ты забыта, я забыт...

7 октября 2009 г., Johnstown

Горизонт в ознобной дымке,

Рощи – пламень до небес.

Возвращает недоимки

Прогулявший лето лес.

В опыте, до слёз знакомом,

Разгорается пожар,

И, сжимая сердце комом,

Тонет в сини лунный шар.

Вот такие накатили

Без пощады времена –

В серебре рассветной стыли

Ледяные пламена.

8 октября 2009 г., Johnstown

Стёкол дребезг. Сирены вой. –

Б-же, какой не живой!

Сирена, змея-базука... –

Сквозь день разрез ножевой

Лезвием звука.

Сердца бешен рывок

К обрыву тревоги тревог.

Ты хочешь взлететь, старик?

.....
И оборвался крик.

12 октября 2009 г., Pittsburgh

Дождь лиственной.

Пламень по мостовой.

Не уставая,

Метель листовая.

В города сонь

Мёртвый огонь.

Ветра минорный лад.

Листопад.

13 октября 2009 г., Route 22, East

Я здесь прошагал световые года
В кружении бронзовых звёзд.
И, кажется, помню деревья тогда,
Когда они были в мой рост.
Деревья росли, или горбился я,
Но кроны надёжнее крыш.
В багровом убранстве прощальна земля –
Об этом ты, лес, говоришь?
А лес продолжал, листопадом шурша,
Под листьев балетные «па»:
«Цепляться за тело? Бессмертна Душа...–

.....

Но как опустеет тропа»...
13 октября 2009 г., Johnstown

Дерева-сироты,
Жалких листьев дрожь...
Южные широты,
Маршевые роты
Ливней. Ни на грош
В мире милосердия,
Просто доброты...

Dies Irae. Верди.

Б-же, жив ли Ты?

15 октября 2009 г., Johnstown

Вариация 7-36

Душа – подвешенность Шагала,
Но с облака вот-вот паду. –
За всё, что прежде зажигало,
Отныне мне гореть в аду.
А чтоб не показалось мало,
В краях неслыханно иных
Приснится бурый лёд Ямала,
И снег в разводах нефтяных.
Да только я ещё не умер,
Не обогнул последний мыс... –
Прочь, причитаний чёрный юмор!
Пылай, природный оптимизм!
15 октября 2009 г., Johnstown

Очевидно, не плестись
Времени телегам, –
Рано разразилась высь
Неуместным снегом.
Голой правдою сама –
Предсказания жутки! –
Бездуржная зима –
Злобны её шутки.
16 октября 2009 г., Route 22, West

Небес худые шалаши,
Дырявый их покров...
Сегодня в парке ни души,
А лишь балет ветров.
Тоска засыпанных аллей,
Стук веток-кастаньет...
Пирамидальных тополей
На нашем юге нет.
Деревьев скрюченных артрит,
Свирепствует Борей...
Угрюмый ястреб не парит,
Он курицы мокрей.
И сам не сгонишь хмурь со лба,
И горек шоколад...
И хрип с фонарного столба –
Сегодня вóрон – в лад...
18 октября 2009 г., Pittsburgh

В разрывах облачных мехов
Заката первый трепет,
Из влажных розоватых мхов
Фигуры Кто-то лепит.
Часы вечерние тихи,
Лишь вздохов многосложье.
А мне всё слышатся стихи... –
.....
О, наказание Б-жье...
18 октября 2009 г., Pittsburgh

Вариация 7-37

Мерцание морозной близи,
Зари размытая пастель...
Бетховен. Ля-минор Элизе.
Меж ними вышла багатель.
А мне всё мчатся в дозарезе,
Куда-то дьявольски спеша...
Пусть не Элизе, пусть Терезе –
Вздыхай, Вселенская Душа.
Пролёт холмов, полей и зданий,
Светило скачет, ошалев... –
Под вечный звук твоих признаний,
Неизъяснимо нежный лев.
19 октября 2009 г., Route 22, East

Сонет (Октябрь)

Кружат листья, предвестники безлистья.
Зола и угли. Их холодный жар.
Есть в Осени простое бескорыстье –
Она судьбу приемлет, словно дар.
Торжественное шествие мгновений,
Крадётся пламя через веток сеть. –
Его Руки Простёртой Мановений
Сегодня исполнительница – Смерть.
Ещё светило – жёлтый шар над ранью,
Но знал Поэт, – всему приходит срок,
И лес нас обучает умиранью, –
Высокого достоинства урок.

Смогу ли я, чтоб в мой последний миг
Лес прошептал: «Хороший ученик»?...
21 октября 2009 г., Johnstown

В октябре леса
Не в обиде ли? –
Пробежит лиса, –
Только видели.
Всё вздыхает лес,
Горьки жалобы:
«Мне б тепла с небес,

Славно стало бы».
 Острый шелест вдруг –
 Жарче молнии
 Вспыхнул бурундук,
 Только помнили.
 Облака-стада
 В синем холоде, –
 У зверья страда –
 Шишки-жёлуди.
 Ну, а мне грести –
 Просека-река...
 И судьба в Горсти,
 Да сильна Рука.
 21 октября 2009 г., Johnstown

Пересчитать? Напрасный труд... –
 Писатели-поэты...
 Все отцветут, и все умрут... –
 Медали-эполеты...
 Один шептал, другой орал,
 Сапог вдевая в стремя.
 Кто был солдат, кто генерал –
 Пусть разберётся время...
 22 октября 2009 г., Johnstown

Облака, как перья,
 Диск – Жар-птицы пыл.
 Ястреб – злоба зверья –
 Снайпером застыл.
 Знают только ели,
 В бездну заглянув,
 На кого нацелен
 Беспощадный клюв.
 В этой зарисовке
 Сущность улови:
 Сквозь прицел винтовки
 Сладка *C'est la vie*.
 22 октября 2009 г., Johnstown

Над озером чайки кричали,

Чертили знаки печали
По сини бездонно-бесстрастной
И этим прекрасной.
Сквозь шелест дрожание гуда –
Органа педаль.
Чаконное чистое чудо –
Печальная даль.
22 октября 2009 г., Shawnee Lake,
Pennsylvania

Дали похолодали.
И в самом деле
Дали похолодели.
Жести по крыше стук –
Ветер вокруг.
По всей округе
Луки стёкол упруги.
Осень.
Сжиганье мостов.
Буря листов.
23 октября 2009 г., Johnstown

На заре вороний галдёж,
Что-то птиц растревожило.
«Карр!» раскаты со склонов лож,
Из обивки леса рогожъего.
И взорвалась тревогой тревог
Чёрных стрел кричащая стая... –
Так Творец под шофара рог
Нас оплачет, Книгу листая...
25 октября 2009 г., Pittsburgh

Ранняя дорога,
Память тетивой...
Не суди же строго
Жалкий образ Твой...
Осень постепенна,
Но без лишних слов
Оползает пена
С золотых лесов.

И, судьбы нелепей,
Злее и слепей,
Засыпает пепел
Улицы Помпей...
Траурная птица –
Ястреб на столбе, –
Не успеешь скрыться,
Ликовать судьбе.
Под рассветной голью
Тяжек – видит Б-г –
Лиственных угольев
Ледяной ожог...
26 октября 2009 г., Route 22, East

Вариация 7-38

Парча на фиолете –
Заря.
Молча плачешь о лете? –
Зря.
Птицы над дельтой Леты.
Гам.
Голос услышишь: «Где ты,
Адам»?
27 октября 2009 г., Johnstown

Дорога эта не меряна –
Её легенды и были –
Ни бредом сивого мерина,
Ни сказкой о сивой кобыле.
Ни бредом поэта-придурка –
По горло строфами сыт! –
Спешу, мой верный Каурка,
Колёса не хуже копыт.
А если не самый вещий, –
Я сам не семь пядей ума.
.....
А ливень бессмысленный хлещет,
И мокнет холмов хохлома...
28 октября 2009 г., Route 22, West

Как дорогу ни мерьте –
Милями или часами –
Она – движение к смерти
Выжженными лесами.
Дорога – жизни метафора,
Тем и хороша. –
Тела треснула амфора –
К звёздам, Душа!
Лечу сквозь холмов надгробия,
Но с песнями, лучшими самыми.
Дорога – жизни подобие
С виражами и с ямами.
И чем дорогу ни мерьте,
Милями, десятилетиями –
Бетона *cello* – о смерти –
Поёт под колёсами этими.
30 октября 2009 г., Route 22, East

Колыбельная

Не печалься понапрасну,
Из-под Солнца уходя. –
Выплывает Месяц ясный
И невинный, как дитя.
«Спать...» – вершинам и пригоркам,
Чаше моря налитой,
«Спать...» – слонам и птицам зорким –
Шепчет Месяц золотой.
Он – орешек в шоколаде, –
Съешь и клонишься ко сну...
Он лучами нежно гладит
Спящей рощи седину.
Серебрит озёра, реки,
И подушку за плечом... –
«Спи, дружок, усни навеки...
Не печалься ни о чём»...
30 октября 2009 г., Route 22, West

HALLOWEEN

Улиц чёрные ущелья,
Тротуар – в листе тропа, –
Молодецкий гул веселья
Смех, конфеты, черепа.
С бутафорским пистолетом
Полицейский-постовой
Улыбается скелетам –
Рок костей по мостовой.
Нарушаю ход вещей я,
Созерцая мир извне. –
Пляска пьяного Кощея
Приближается ко мне.
В мёртвых кронах ветра вздохи,
Ибо плоть с рожденья – прах.
А со смертью шутки плохи... –
.....
Спрячем в смехе вечный страх.
31 октября 2009 г., Pittsburgh

Составлено 15 ноября 2009 г., Pittsburgh



Серж Хазанов

Стихи

Мое поколение



то ловушка, брешь или клапан?
Словно коты с раскаленной крыши
Мы удираем на Дальний Запад
И на Восток, бесконечно ближний.

Лавой кипящей течем по свету,
Ищем триумфы, находим тризны,
Все мы – лакеи, вруны, поэты –
Дети застоя и прочих -измов.

Все языки на Руси великой,
Богом науськаны или Чертом –
Едут тунгусы, финны, калмыки,
Ну а куда же славянам гордым?

Гонит нас кнут, или пряник манит?
Кто пожалеет нас, кто осудит?
Все мы – евреи, немцы, армяне –
Здесь до могилы русскими будем.

Юность осталась там, за порогом,
Как велика за прозренья плата,
Мы обрели бесконечно много,
Но и не меньше наши утраты.

Лозанна, 1993

Две женщины
в душе моей колдуют,

Себя да и меня
на части рвут,
И в воду смотрят, и на пламя дуют,
И зелье варят, и заклятья шлют.

Две женщины из разных поколений,
Полярных вер, наречий и планет,
Московских дней тиран и добрый гений,
И рыжий лучик предзакатных лет.

Войдя мне в плоть и душу, кровь и кожу,
В делах моих маяча и мечтах,
Настолько в главном меж собою схожи,
Что несовместны даже в пустяках.

Две песенки, два берега счастливых,
Магниты, меж которыми кручусь,
От одного отчалил я насилу,
К другому все никак не прилеплюсь.

Для них я друг, мучитель и любимый,
Сухой наставник, скверный ученик,
Друг другу мы порой невыносимы,
Как и необходимы через миг.

От веры и неверия спасая,
Соавторы всех лучших моих строк,
Две женщины меня сопровождают,
Не потому ль я вечно одинок.
Лозанна, 1993

Это в воздухе ль дело, в бумаге,
В бесталанности, возрасте, сплине?
Но веселые прежние книжки
Уж давно не стекают с пера.
Не от яда умру, не от шпаги,
Не от старости, а на чужбине,
Поседевший еврейский мальчишка
С Чистопрудненского двора.

Обретает себя неизменно

Сверстник мой то в бою, то в парадах,
В пышной хижине, скромных хоромах,
На волне и среди облаков,
На просторах Чикаго и Вены,
И с обеих сторон баррикады
У Московского Белого Дома
И у прочих российских домов.

Ну а мне, разуверившись в вере,
Заблудившись меж былью и сказкой,
Карты все перепутав и сроки
Остается с ладонью у лба
Задышаться в комфортном вольере
Горбоносых бульваров Лозаннских,
Бормоча свои лучшие строки,
Те что мне записать не судьба.
Лозанна, 1993

Признаться, я ее уже не помню,
Хотя, как говорится, плотью-кровью,
Любой прожилкой, черточкой любой
Казались так на свете неразлучны,
Что было всем неловко, душно, скучно
От страсти этой, к прочему слепой.

Давая непосильные обеты,
По лжи и правде, по друзьям, по свету,
По времени и трупам шли с тобой,
И свечку нашу с двух концов сжигали,
И никаким советам не внимали,
То случаем гонимы, то судьбой.

Как это просто было и как странно:
Уверенней чем времена и страны,
Надежнее чем патока и яд
Нас горстка хрупких слов разъединяла,
И было все, и все казалось мало
Каких-нибудь пять зим тому назад.

Чем объяснить, что с нами приключилось:
Гнев ангельский иль дьявольская милость,

Везение, заслуга ли, вина?
И, прошлое надежно вырвав с корнем,
Я счастлив, что ее уже не помню,
Но точит червь – а помнит ли она?
Лозанна, 1995

От Иерусалима до Москвы
Завалы сожалений и тоски,
Надежд, потерь, невып- невосполнимых,
Мой крестный путь, что стал с теченьем дней
Куда короче и куда длинней,
Куда короче и куда длинней
Чем от Москвы до Иерусалима.

Как с щепкою играется
хмельной
Конец тысячелетия со мной,
Бросает к сцене и на верхний ярус,
Болтаясь в небе, проруби, беде,
Все время между, а точнее нигде,
Что ищет и что кинул он, мой парус?

Читая книгу судеб между строк,
Благодарю фортуна
что не смог
Ни в господу пробиться, ни в холопы,
Что был Москвой гоним я и любим,
Что помирать явлюсь в Ерусалим,
Да, помирать явлюсь в Ерусалим,
Но пусть сперва наскучат мне Европы.

Лозанна, 1997

Ни франтом ветреным, ни дервишем с котомкой,
Ни желчным Дракулой, ни ангелом без крыл,
Иным запомнюсь я надменному потомку –
Не тем, кем некогда казался или был.

Не тем, как век земной искал свою дорожку,
Сшибаясь с тысячью течений и преград,
И на пирах чужих глотал сухие крошки,

Что до сих пор на языке моем горят.

Как брал вершины я и доходил до точки,
Топя щенком слепым в вине, стихе, слезе
Всю радость светлую
от безразличья дочки,
И ледовитого участия друзей.

Взгляд женский беглый, монумент
нерукотворный,
Песчинки вечности – и подвиг, и пустяк,
Так и в судьбе моей, просчитанной и вздорной,
Слились причудливо куда, зачем и как.

Не тем запомнюсь, как хватался за соломку,
Плясал над бездною и коченел в огне,
И в каждой женщине
вдруг видел Незнакомку,
Неважно, что там ей мерещилось во мне.

Как створки памяти распахивал порою
В пургу июльскую, в парилку декабря,
И жизнь казалась порой совсем иною,
И даже, может быть, прошедшею не зря.
Лозанна, 1995

То скуки ради, то амбиций,
И просто не в ладах с собой,
Как мотылек привык я биться
В стекло меж жизнью и судьбой.

В толпе друзей быть одиноким,
Мешать беспечно явь и сон,
Стеречь копейку пуще ока
И тысячи швырять на кон.

Слов не найдя, сидеть без дела,
За жизнь цепляясь, славить смерть,
И розе черной, жабе белой
Наветы слать, осанны петь.
И эти дни, где всюду осень,

Где чаша горя до краев,
Клясть, вспоминая много после
Как время лучшее свое.
Лозанна, 1995

Рыжий кораблик

Офре

Еще одна любовь, опять наитие,
К вершине падать, подыматься в бездну,
Сближение сердец – всегда открытие,
Но знание – к печали, как известно.

Ты мое солнце, осень моя рыжая,
В веснушках вся – улыбка, кудри, руки,
Легко на сердце, лишь тебя увижу я,
И грустно от предчувствия разлуки.

Я цветом этим начисто отравленный,
Лукавым, колдовским, слегка косящим,
Пусть в радуге покуда не представленным,
Но на поверку самым настоящим.

Приметы отмечая как безделицу,
В неверии своем яснее вижу –
Лишь только в сердце этот цвет поселится,
Как самого меня объявят рыжим.

Еще одной любовью жизнь украшена,
А годы мира просят неустанно,
Ведь чувства страховать – затея зряшная,
Ни Библии не сдюжить, ни Корану.

И все-таки мечта мне ближе истины,
И как кораблик, со стихией споря,
В жестокий шторм отчалю я от пристани
Спасения искать в открытом море.
Лозанна, 1993

Какая грусть, конец аллеи
Где так привольно нам шагало,
Где обнимали небо ели,
И не дышала в спину старость.

Какая грусть, конец дороги,
Где было все – и пот, и песни,
Где мы брели, сбивая ноги,
Куда не ведая, но вместе.

Богов лепили и ломали,
И слезы путая с улыбкой,
Друзьям и недругам прощали,
Границы в общем очень зыбки.

Аллея, где имелся мощный стимул
Существования на свете,
Где были мы необходимы
Друг другу, и врагам, и детям.

Где нам всего казалось мало,
Законный повод для печали,
И счастье близко так лежало,
Что мы его не замечали.

Как хорошо, не будет снова
Всех этих стычек за главенство,
Поход окончился крестовый
Потерей Времени и Места.

Какая грусть, конец аллеи,
Как это просто и как странно,
Мы слишком поздно повзрослели,
Мы повстречались слишком рано.
Лозанна, 1993

Сдул ответы и вопросы «быть не быть?»
Налетевший с гор ливанских ветерок,
Хорошо на этом свете братцы жить,
Даже просто задержаться на часок.

Я сижу в Ерусалиме на холме,
Ни кипы, ни четок, словом без креста.
Кто заплачет об ушедшем обо мне?
Я бы лично делать этого не стал.

Будет временем захватанный листок,
Что потомок мой надменный подберет,
Пробежит зевая пару этих строк,
И вздохнет с улыбкой: »Мне б его забот».
Израиль 2007

Увядания грустные признаки
На окошко судьба намела,
Вот и все, и явились сызнова
Все задумки мои и дела.

Губы женские, руки мамины,
И клеймо мое, и звезда,
Все что было мне в жизни загадано,
Разошлось по местам и годам.

Было муторно, было весело,
Трели птичьи, крысиный визг,
Муравьем подымался по лестнице,
Что вела, разумеется, вниз.

По капризу Фортуны нежданному,
В роковом перестройки году
В почву брошен я был иностранную,
Где с тех пор все никак не взойду.

Где свершилось, что было обещано
Мне когда-то в начале пути –
Упустил я любимую женщину,
Чтобы любящую обрести.

Где с реальностью слито желание –
Ниагара, Пигаль, Колизей,
Где призвание есть, и признание,
Но увы – ни детей, ни друзей.

Синяками меня изукрасило,
Прежде чем до конца разобрал –
Я не тот за кого выдавал себя,
И не тот за кого принимал.

Увядания грустные признаки,
Вот и все, и последний мой суд,
Но отходят в смущении призраки -
Знать, отсрочку мне снова дают.
Лозанна, 1993

Год 2008

Годы – мера ненадежная,
Как узоры на окне,
Сколько их, меж пальцев прожитых,
Где-то числится на мне.

Сколько смеха, пота, лени,
И задумок, и могил,
И конечно же мгновений,
Тех что не остановил.

Потому-то в час мой судный
И в грязи, и на коне,
Занят в праздники и будни
Собиранием камней.

Чтобы каждым Новым Годом,
Под предлогом под любым
Жизнь встречала нас у входа
По иронии судьбы.

К новому 2007 году

Как хорошо, проснувшись летом,
Взглянуть в оконное стекло –
Там новогодние приметы
К порогу время нанесло.

Нас учит век на честном слове,
Дорогой дальней и кривой,

И день грядущий нам готовит,
И год, две тысячи седьмой.
Где за разлукой будут встречи,
И юность больше не уйдет,
А беды столь же долговечны
Как планов наших громадьё.

Где завсегда к обеду ложка,
Где друг отличен от врага,
По чьим неведомым дорожкам
Так хорошо бы прошагать.

К делам благим от клятв поспешных
Воздушный путь, судьбы шитьё.
Любви последняя надежда,
Как верить хочется в нее!

«В день рождения в подарок
Сочиню себе стишок...»
Народное
Прошлое тянет словно Итака,
Лот, обернися назад –
Взрослые дети от первого брака
Видеть меня не хотят.

С песней веселой не в ногу, по краю,
Между пиров и могил,
А в подворотне шпаной поджидают
Светлого завтра шаги.

Завтра из внуков, любви и недугов,
Буднично как остров Крым
Старость взойдет квадратурою круга,
Лучиком золотым.

Наедине ли с собою, со всеми...
Там Незнакомки черты
В ритме, кружащем пространство и время,
Выглянут из темноты.

И от души или просто по знаку,
Только пойдут до конца
Взрослые дети из прошлого брака,
Не отличишь от отца.
Женева 27.4.2008

Лене и Юре

Этот сон навевает бессонницу,
Эта явь оживает в мечтах,
К завершению партия клонится,
Как сказать о застойных годах?

Не имперских - своих, кровно прожитых.
Не для денег и славы, а чтоб
Проступило далекое прошлое
В тонкой рамке из роз и хрущоб.

Гнусь под ношею непомерною,
Знать кишка тонка на замах –
Чтобы дети от брака от первого
Не в злобе прочли, а в слезах.

И строчу, и пытаюсь заново
От судьбы уйти и суммы.
Долгий путь к себе С. Хазанова,
Сон, где вместе как прежде мы.
Монтеррей, Мексика 2008

Авиньон

Лене

Сей Папский сын, седой, ветрастый,
Небес заложник Авиньон,
В июле он - повеса страстный,
И блеском рампы ослеплен.

Что потерял ты, веры остров?
Что ищешь в буре перемен?
Здесь на неведомых подмостках
Следы неожиданных мизансцен.

Клокочет город словно кратер,
Секрет успеха в общем прост,

Так создаются лучший театр
И самый длинный в мире мост.
Зима придет, ветра задуют,
Пустые сцены клонят в сон,
И Папы тихо торжествуют,
И на распутье Авиньон*.

И ждет июля что есть мочи,
Где снова оперно красив,
А повезет – и мост закончит,
Но это – боже упаси.

Году 2009

Сладко-горького выпало поровну,
Но маячит несбывшимся сном –
Как назло и обидам и гонору
Ты войдешь с перебитым крылом.

Детским смехом растают мечтания,
Не сойдутся в пасьянсе пути,
От отчаянья и до раскаянья
Жизнь прожить, от себя не уйти.

Безвременья герои и пленные,
Ни ума не нажив ни палат,
Ждем – пождем, что потомки надменные
Нас поймут, пожалеют, простят.

Деловыми слышем и двужильными,
Но прикроем глаза и летим
Наугад, с перебитыми крыльями,
Вдаль от прошлого, следом за ним.
Женева. Декабрь 2008

Оффе

Мне столько лет что прежде и не снилось,

* Авиньон – старинный город на юге Франции, некогда убежище Римских Пап, с сильными ветрами и знаменитым мостом, доходящим лишь до середины реки. Сейчас каждый июль здесь проводится театральный фестиваль, самый большой в Европе.

А сны как слезы детства коротки,
И если жив
то лишь твоею милостью,
Физическим законам вопреки.

Такие весны выпало приветствовать,
Прорваться через столько душных зим,
Вот отчего в своем (каком?) Отечестве
Всего дороже прошлогодний дым.

Мой век (опять какой?) дал в сумме трещину,
Размыта сумма переменой мест,
Как Моисею в край давно завещанный,
Идти к тебе вовек не надоест.

Судьба на блюде и дорога скатертью,
На планах – могоновид или крест,
По дням рожденья словно указателям
Бреду сквозь поле минное чудес.

Геенной избалованный и кушами,
Одно прошу – была бы только прыть
Крылатый миг
нам на двоих отпущенный
Кем, почему и для кого
прожить.
Женева 27.04.09

Шестеро птенцов, и двое старших –
Зверь как в сказке, прямо на ловца –
Метят вдохновенно и бесстрашно
В яблочко адамово отца.

Для потехи целят, для примера,
Порицаний выше и похвал,
В ногу с песней – за царя и веру,
И презренный вроде бы металл.

Яблоко – от Змея до Париса,
Ньютон в шишках, Телль – за арбалет
Яблоко – раздор, познание, вызов,

Котишься куда ты столько лет?

Я не Телль. Судьбой своей доволен,
У советских – собственная статья,
Мир – один, переменились роли,
Дай мне пьесу эту доиграть.
Монреаль Июль 2009

Чем больше новых лиц, тем меньше вех.
Случайности оформились в обычай –
Еще один хороший человек
Которому я напрочь безразличен.

Коль в грязь лицом – уж лучше с высоты.
Вопрос в ребро при каждой новой встрече –
Зачем опять страну своей мечты
Покину по-джентльменски, незамечен?

Как вол пахать, аорты на разрыв,
Нажив металл, пещеры, скалы, крохи,
Но суждено уйти не наследив
В текущей исторической эпохе.

Взлетать ко дну и погружаться ввысь,
И наугад в кисельном гнать тумане,
В надежде вечной что шальная жизнь
Еще разок помянет и поманит.
Монреаль Июль 2009

20 лет в Швейцарии

Двадцать лет, отнюдь не мушкетеры,
Мы боролись на своих двоих
За луга швейцарские и горы,
Прописаться, чтобы среди них.

Поменяв одежду, кожу, имя,
Поперек судьбы и колени,
Для своих в итоге став чужими,
Для чужих не выбившись в свои.

А когда с ножом подступит старость,
Вывернуть карманом жизнь свою.
Глянь, кукушка, сколько нам осталось
Пировать у бездны на краю?

Звездочеты, пахари и воры
Скучены у времени в гостях...
А спасибо нам за эти горы
Скажут дети, двадцать лет спустя.
Женева 28 октября 2009



Елена Матусевич

Рассказы

Пенстейшен



ын велел в аэропорту сразу садиться на поезд и ехать до Пенстейшен. Только смотри, говорит, там две Пенстейшен, ты не выйди на не той, они на одной и той же линии. Объявят Пенстейшен, а ты сиди, ни за что не выходи, там такой район... Запомни, говорит, я тебя знаю, «на первой не выходить, на второй выходить». Сижу, твержу: «На первой не выходить, на второй выходить; на первой не выходить, на второй выходить». Еду, шевелю губами. Вот она, не та. Не пойду, «на первой не выходить, на второй выходить; на первой не выходить, на второй выходить». Считаю станции. Вышла на той. Тащусь, волочусь, сумка едет, но плохо. Сын – мальчишка, про лестницы ничего не сказал. Лестница вниз: тыр, тыр, тыр. Вагон, еду. «Извините, я туда еду?» Нет, не туда. Не в ту сторону села. Всего и есть две только стороны, но я не в ту. Лестница вверх: тыр, тыр, тыр, лестница вниз: бум, бум, бум. Все, поднять не могу. Руки не слушаются. Стою, пропадаю у всех на виду. Народ течет, все знают куда. Я тоже теперь знаю, но поздно. Молодой негр в полосатом: «Вам помочь?» «Ой, спасибо, спасибо!» Поднял, одной рукой донес, прыг, прыг, прыг, поставил, исчез. Бум, бум, бум, надо на другую сторону улицы, переход, красный свет, зеленый свет. Лестница вниз. Стою. Если только вниз столкнуть? Авось долетит... Нет, так ведь скатится, упадет на кого-нибудь, убить может, дна-то лестнице не видно... Стою. Папа с сыном, оба в очках. Папа подхватывает сумку, хоп, хоп, хоп вниз, проталкивает меня в магнитную дверь,

мы почему-то не платим, но нас много и все так проходят в эту дверь. Ставит сумку на платформу. «Ой, спасибо, спасибо!» «Не за что». Сын с восторгом смотрит на папу. Папа смотрит на меня поверх очков: «Я с вами проеду несколько остановок, вам через три после меня». «Спасибо, спасибо» «Не за что». Едем. Папа читает толстую библиотечную книгу. Мальчику лет десять, такой серьезный, тоже носом в книжке. У них одинаковые безупречные головы в мелких, аккуратно подстриженных кудряшках. Я смертельно боюсь с ними расставаться. «Теперь просто», ободряет меня интеллигентный папа. Я не верю, мои способности к рациональному мышлению остались в аэропорту. Кажется, у меня слезы в глазах. Мальчик смотрит на меня с недоумением. Он дома. Считаю остановки, лезу посмотреть схему метро, тяну шею, встаю на цыпочки, вожу пальцем в воздухе, шурю глаза, морщу лоб, мешаю всему вагону. На меня не обращают внимания, в метро всегда полно полоумных. Юная богиня с африканскими косичками и веселыми бусинками в них, шепчет мне прямо в ухо: «Да вы успокойтесь, я там тоже выхожу». Я благодарю, горячо, искренне и страстно. Ей смешно. Из ее сумки торчит учебник органической химии. «А мы выйдем?» Ей опять смешно: «Тут все выходят». Правда. Поток студентов выкатывается на платформу. Волоку сумку. Опять лестница, верха не видно. Последняя. Стою. Подскакивает маленький, сухонький старичок с завитыми пейсами, и храбро хватается за ручку сумки. Я не верю своим глазам, не даю, тяну обратно. Куда ему! Он сердито трясет широкополой черной шляпой и двумя руками рвет сумку на себя. Я заискивающе предлагаю компромисс: тащить вдвоем, с двух концов. Обиделся, покраснел весь, засверкал глазами. Сумку не выпускает. Вспоминаю отчима, который страшно расстроился, когда пьяный десантник (в первый раз в жизни!) отказался с ним подражаться, из снисхождения к возрасту. Отпускаю сумку. Инстинктивно закрываю глаза. Все, сейчас оба скатятся на платформу, сумка сверху, старичок снизу. Его самого в эту сумку свободно уложить можно. Открываю глаза: тащит, тащит! Двумя руками, задом наперед, нащупывая ногой, не

глядя, следующую ступеньку. Сначала сам, потом сумка, сначала сам, потом сумка. На подлетевшего помочь парня посмотрел так... Доташил. Стоит, весь в поту, бледный, гордый. «Спасибо, спасибо» «Что вы, что вы». Уходит нетвердой походкой, шатаясь, но с высоко поднятой головой. Вливается в бродвейский поток. Стою, озираюсь. Ярко светит солнце. Приехала. Колумбийский университет. Нью-Йорк.

Синди или чудо-ослик

Папа Синди умер в тот же год, что и Буся. За год до этого они, еще здоровые, но, наверное, уже носившие в себе свою скорую смерть, встретились в первый и последний раз. Папа Синди, оклахомский фермер, никогда, кроме Корейской войны, не покидавший своей фермы, и моя бабушка, родившаяся до революции и прожившая всю жизнь в Петербурге. Бусе было 82, Папе Синди 64. Папа Синди никогда не видел иностранцев, а Буся первый раз в жизни была не только в Америке, но и за границей вообще, не говоря о том, что она никогда до этого не летала на самолете. Этот беспрецедентный подвиг она совершила ради меня, своей возлюбленной внучки.

Синди и ее мать Мэри-Су приходили убирать в дом моего отца. Ферма не давала, несмотря на каторжный труд, достаточно дохода и по воскресеньям две женщины ехали в город убирать дома. Синди и ее семья принадлежали к христианской общине. Ни церкви, ни священников у них не было. Каждое воскресенье вся община собиралась для чтения и обсуждения Библии. Фермеры знали Святое Писание буквально наизусть, и оно стало для них основой и плотью их повседневной жизни. В Америке принято смеяться над «Поясом Библии» из-за консервативных нравов, навязчивого прозелитизма и религиозного фанатизма. С этим мы, конечно, встречались тоже. Какие-то баптисты, например, подарили, ничего не понявшей Бусе, шоколадных крестов, приведших ее и всех нас в полное замешательство: и выбросить нельзя, и есть кресты не мог решиться даже мой неверующий еврейский муж.

У фермеров же наших была вера живая и животворящая. Они помогали нам, чем могли, и я 10 лет еще спала под подаренным ими хлопковым одеялом, пока оно не истлело. Когда приехала Буся, наши фермеры пригласили нас посмотреть ферму. У них были прекрасноокие коровы, такие же красно-коричневые как земля Оклахомы и руки индейца Чарли. Коровы эти пушистые, кудрявые, с длинной мягкой шерстью, и сказочно красивые. Когда Синди подъехала на своем грузовичке к стаду, коровы, узнав ее, столпились вокруг машины, выталкивая впереди себя, в середину круга, совсем маленьких телят. «Что это они делают?» спросила я, видевшая коров так близко в первый раз в жизни. «Это они своих новорожденных мне показывают, хотят, чтобы я похвалила». И Синди хвалила, каждую нетерпеливую мать, удивлялась, восхищалась, ласкала, гладила по мягким головам, трепала курчавые челки, смотрела в огромные, теплые, с длинными пушистыми ресницами глаза, пытливо заглядывавшие ей в лицо. На меня коровы не обращали внимания, но я стояла так близко, что не могла не чувствовать их теплого дыхания. Меня охватил какой-то нестерпимый стыд и почти религиозный трепет. Мне казалось, что я подглядываю в чужую диковинную, трепещущую жизнь, в чужую любовь и нежность. Тут Синди, заметив мое волнение, спросила, не хочу ли я их погладить. «А что, можно?» «Конечно, можно, развеселилась Синди, это они вас боятся, но я им сейчас скажу что ты друг, что ты со мной». Синди тихо шептала коровам, что меня не стоит опасаться, и одна из них, самая молодая, вытянула мне навстречу голову. Мягкое прозрачное пушистое ухо задело мой локоть. Я перестала дышать и коснулась ее огромной, рыжей, доверчиво склоненной головы. Тепло из головы поднялось вверх по плечу и сладостно наполнило все мое существо. Встреча с коровами стала одним из самых сильных впечатлений моей жизни. Я не стала вегетарианкой, но говядину есть с тех пор как-то не могу.

Смотрите, как они вас любят.

Конечно, и я их люблю.

Так как же вы их...?

А, нет, мы телят продаем, они породистые, мы их не режем, папа бы никогда не смог.

А как же когда они старые становятся?

Ну, засмеялась Синди, на это у нас дом престарелых есть, я вам сейчас покажу.

Домом престарелых оказался довольно большой загон, где паслись одна старая лошадь в яблоках и пожилой бык, чей заслуженный отдых охраняла совсем дряхлая бледно-серая, как будто вылинявшая собака, как выяснилось, абсолютно слепая.

Это – любимая лошадь моей младшей сестры, а это любимая собака папы. На пенсии. Ей нужно чувствовать себя нужной, вот мы ее сюда и поместили.

Так дорого, наверное, их содержать?

Да нет, они и едят-то уже мало. Сколько проживут, столько проживут. Они нам послужили, теперь мы им, а то, как же?

Собака умерла через год, вместе с хозяином. Папа Синди, крепкий, жизнерадостный, пышущий здоровьем человек, умер от белокровья. Как сказала Синди, ушел к Господу. У меня осталась его фотография. Он сидит, весело улыбаясь, в кабине своего грузовика. На первом плане сияющая Буся, с ослепительно снежными волосами, с солнечным венчиком вокруг головы и в белом платье в горошек, гладит благодарно поднявшую слепую голову собаку. Все счастливы. И никого их больше нет.

Болезнь папы Синди разорила семью. Бесстыжие врачи до последнего обещали малограмотным фермерам скорое выздоровление и не дали забрать умирающего отца домой. Каждый день в больнице стоил несчастным состояние. Он так и умер в ненавистой больнице, не увидев и не попрощавшись с взлелеянной им землей и со своими «пенсионерами». Последовавший счет за несостоявшееся лечение сразил его жену наповал. Была продана и ферма, и дом когда-то так понравившейся Бусе. Синди взяла мать к себе.

Но тогда, тогда, все были живы, все были счастливы. Синди повезла нас смотреть их угоды. Это тогда Буся увидела ослика. Ослик был очень большой, почти с лошадью,

таких в Европе не бывает. Как выяснилось, ослик был на работе и на очень ответственной. Ему было поручено охранять телят от койотов, а также не позволять коровам разбредаться. Как объяснила Синди, ослики гораздо эффективнее собак, так как крупнее, сильнее и «ответственнее». К тому же они отличаются редким бесстрашием и решаются «перечить» даже быкам. «С ним я могу быть совершенно спокойна. Коровы его очень уважают, объясняла Синди, и не безобразничают. А собак они презирают». В Оклахоме ослики-пастухи никого не удивляют, а вот Бусю сие явление потрясло до глубины души. С коровами она была знакома с детства, когда, спасаясь от ужасов революции и гражданской войны, жила с родителями в глухой деревне. А вот об осликах-пастухах она никогда даже не слышала. Когда ее спрашивали об ее поездке в Америку, она, прежде всего, рассказывала, с неизменным восторгом, о чудо-ослике.



Владимир Матлин

Из России с надеждой,

в Россию с любовью

Повесть

Оглавление

1. Праздник мимозы
2. Праздник пирожков
3. Есть указание...
4. «Падишах»
5. Семейный обед
6. Обед с друзьями
7. Между надеждой и любовью
8. Решение на десяти листах
9. «Очень страшно...»
10. Жертва капиталистической системы
11. Книга как товар
12. Нью-Йорк – Москва – Нью-Йорк
13. Тикун Олам
14. В Россию с любовью
15. Из России с надеждой

1. Праздник мимозы



самого утра ему повезло: у входа в метро смуглые усатые люди (позже их стали называть «лицами кавказкой национальности») продавали мимозу. Растолкав покупателей, Полин всунул в смуглую руку два рубля и получил букетик желтых комочков. Всю дорогу от Речного вокзала до Лермонтовской в переполненных вагонах он выполнял сложные маневры с целью сохранения букета: поднимал его над головой, прятал за спину, укрывал на груди... В то же время мысленно он распределял и

перераспределял праздничные подношения: если мимоза начальнице, то конфеты Ксюше, а шоколад Наде. (Плитка шоколада и коробка конфет лежали в портфеле). А можно так: цветы Наде, шоколад Ксюше, конфеты начальнице. Так, пожалуй, лучше: начальница, по прозвищу Товарищ-Парамонова, получает солидную коробку трюфелей, Наде – романтические цветы, символизирующие весну, а Ксюше просто знак внимания в виде шоколадки. Да, так будет правильно.

На выходе у Лермонтовской к нему привязался лысый субъект с голосом трагического актера. Он умолял Полина перепродать ему букетик:

– Вы не представляете, молодой человек, как это мне необходимо. Вы заплатили за эти цветы три рубля, не более того, а я готов дать вам тридцать! Притом вы составите счастье целой жизни. Умоляю! – говорил он с трагическими переживаниями.

Тридцать рублей были для Полина в то время немалые деньги – пятая часть его месячной зарплаты, но он перестал бы себя уважать, если бы поддался соблазну.

Хотя по календарю это был обычный рабочий день, только канун праздника, в редакции с утра уже никто не работал. Сотрудники сбивались в стайки в коридорах, слонялись из комнаты в комнату, отыскивая еще не поздравленных и не расцелованных сотрудниц. Из зала заседаний, украшенного плакатом «8 марта – международный женский день», доносилось уютное позвякивание посуды. Полин сразу включился в праздничную суету.

Ксюша сидела на своем месте, в приемной главного редактора. Полин поздравил ее и чмокнул в круглую щечку.

– Спасибо, – ответила Ксюша, не отрываясь от печатной машинки. – Положи туда, в ящик.

Полин приоткрыл ящик и увидел там с десяток точно таких же шоколадных плиток, как та, что он держал в руке. Видимо, весь мужской состав редакции рассуждал сходным образом...

– Кто там? – мотнул он головой в сторону кабинета.

– Да Ромуальдыч засел с утра. Тут уж столько народу на очереди...

Ромуальдычем почему-то прозвали секретаря парторганизации Семена Рафаиловича Рахмаловича. «Это надолго», – решил Полин и пошел разыскивать Надежду.

На месте ее не было, хотя пальто ее висело в углу. Полин завернул свой букет в газету и стал ходить из кабинета в кабинет, рассчитывая где-нибудь наткнуться на Надю. Спрашивать повсюду, не знаете ли, где Кружко, было неудобно, и так по редакции ходили сплетни насчет их отношений, поэтому в каждом кабинете (редакторы сидели по три-четыре человека на комнату) он поздравлял женщин, обменивался со всеми шутками, выслушивал новые анекдоты, смеялся, строил со всеми догадки относительно целей визита Ромуальдыча к Товарищ-Парамоновой, затем переходил в другой кабинет, где повторялось все то же. Часа за два он обошел всю редакцию, но Нади Кружко не нашел. С трудом скрывая досаду, он поплелся в свою комнату, как вдруг услышал ее голос, доносившийся с лестничной площадки. Он поспешно снял газетную обертку с букета и бросился к лестнице, составляя на ходу игривую поздравительную фразу, что-то вроде «самой женственной женщине среди женщин нашей преимущественно женской редакции»... Но то, что он увидел, заставило его забыть поздравление.

Из двух слившихся в поцелуе фигур одна без сомнения принадлежала Надье. Полин дернулся, попятился назад и укрылся за углом коридора. И тогда только задался вопросом «а с кем?..». Высокий, лысоватый, в сером костюме... да это же Подпыхин! Ну и нашла... Тоже мне – герой романа, от одной фамилии тошно становится. Правда, некое несомненное достоинство у него было – по крайней мере, в Надиных глазах: он был холостым в отличие от остальных сотрудников мужского пола, добивавшихся ее благосклонности. Включая Полина...

Праздничное настроение улетучилось. Полин прокрался в свою комнату, где по счастью никого не было, сел за свой стол и отвернулся к окну. Невидящим взглядом он смотрел на грязный весенний снег за окном и глубоко

дышал, пытаюсь унять сердцебиение. Измена Нади больно ранила. Но позволю – какая же это измена? Какое он, Полин, имеет право на эту женщину? Так она и скажет, если он полезет к ней объясняться: «Какое ты имеешь на меня право? Ты, Саша, женатый человек, а мне уже двадцать девять... Мало ли что между нами было, это ничего не значит!»

Эту фразу – «ты женатый человек, а мне двадцать девять» – Саша слышал от нее много раз. Нет, не стоит объясняться. Надо делать вид, что ничего не случилось, и спустить все на тормозах... если только хватит у него духа. А какой еще выход? Разводиться, что ли? Оставить жену с дочкой и жениться на Надежде Кружко? Ему вспомнились многочисленные романы этой редакционной Мессалины: Стукалов, Ленка Фридман, и этот, который уволился в прошлом году... Странное дело, подумал Полин, когда он влюбился и добивался ее чуть ли не год, его это не смущало...

Дверь в комнату шумно распахнулась, Полин неохотно обернулся и увидел Ромуальдыча. Волнение и лихорадочное возбуждение проглядывали через его обычную маску твердокаменной партийной серьезности.

– Полин, Саша, зайти ко мне. Разговор есть. Прямо сейчас.

Встревоженный вид и то, что партсекретарь впервые назвал его по имени, озадачили Полина. Он выбрался из-за стола и пошел по коридору в партком. Ромуальдыч прикрыл за ним дверь, указал ему место за длинным столом, а сам сел в председательское кресло на торце. Некоторое время сосредоточенно смотрел на ноготь большого пальца, потом прокашлялся и угрюмо буркнул:

– Ну ты знаешь что произошло.

Полин первым делом подумал о Наде. Хотя вряд ли из-за Надкиных романов партийные инстанции так бы взволновались.

– Что вы имеете в виду? – осторожно спросил он.

– Ты действительно не знаешь? Вайнштейн. Подал заявление.

– Какое заявление?

Ромуальдыч посмотрел на него, как на полного идиота:

– В Израиль, на постоянное жительство.

Вайнштейн? Вот те и на! Воистину: в тихом омуте...

– Скажи мне правду, Полин. Он с тобою делился?

Между прочим, обращение на «ты» не свидетельствовало ни о дружеской близости, ни о доверии, а было принадлежностью партийного стиля.

– Да боже упаси! Что вы, Семен Ромуальдыч... то есть Рафаилович! Мы с ним еле знакомы. С какой стати он будет со мной откровенничать?

– Слушай, Полин. Ты хоть и не член партии, но я тебе доверяю. – Ромуальдыч привстал со своего кресла и придвинулся к собеседнику. – Ты понимаешь, как может отъезд этого Вайнштейна отразиться на всех нас? Ты догадываешься, что я имею в виду?

Нет, Саша не догадывался. «На всех нас»? Как это нужно понимать? Кто это «мы»? Сотрудники редакции? Или только часть их? Неужели секретарь парткома Рахмалович вспомнил, что он не только секретарь, но и...

– Что я слечу, это уж само собой. Но плохо будет и тебе, и другим... Ты понимаешь? Поэтому я тебя прошу... очень прошу: побеседуй с ним как следует. Жестко. Что мол ты, сволочь, затеял? О других ты не думаешь? Отговори его во что бы не стало. Иначе разгонят. Издательство, скажут, идеологический фронт, а тут засели... И попрут всех этих... которые потенциально... Попрут под каким-нибудь предлогом. Понимаешь?

Полин поерзал на стуле, поглядел по сторонам:

– Поговорить-то можно, я не отказываюсь. Только с какой стати он меня послушает?

– Ты объясни ему, ты поговори с ним как... как... – Ромуальдыч покраснел, зажмурил глаза и произнес еле различимым шепотом: – как еврей с евреем.

На банкет, посвященный Международному женскому дню, Полин не остался: не хотел встречаться с Кружко. Когда в середине дня весь состав редакции дружно устремился в зал заседаний к сервированному столу, Полин задержался в кабинете, незаметно надел пальто и

выскользнул на улицу. Злополучный букет мимозы он снова завернул в газету и повез домой – поздравить жену.

В вагоне было тесно, и ему опять приходилось всячески маневрировать, чтобы не смяли букет. В какой-то момент ему повезло: освободилось место. Он плюхнулся на сидение, положил букет на колени и прикрыл его портфелем. И тут же увидел справа от себя Вайнштейна. Тот тоже сидел согнувшись, прикрывая портфелем пакет из серой бумаги. Их взгляды встретились, оба они через силу улыбнулись.

– Вы тоже сбежали? – спросил Полин, хотя это было и так очевидно.

– Да, воспользовался, сегодня можно раньше уйти.

Оба замолчали. Полин не обманул партийное руководство, когда сказал, что они с Вайнштейном мало знакомы. Этот сдержанный, суховатый человек неопределенного возраста не вызывал желания сойтись поближе, или просто поболтать, рассказать анекдот. Работником он считался серьезным, знающим. Его областью была научно-популярная литература. Он всегда держался особняком, одевался странно – во все темное, никогда не принимал участия в совместных трапезах в обеденный перерыв и всегда спешил домой, где его ждала жена и трое детей. Трое детей по тем временам в московских условиях считалось невероятным изобилием, над ним и его женой за глаза посмеивались: «плодовиты, как кролики». Полин за годы службы в редакции, кроме «здрасьте» и «до свидания» не сказал с ним, кажется, ни слова. И тем не менее, Вайнштейн как будто даже не удивился, когда Полин его попросил:

– Мне нужно с вами поговорить. Но не здесь. Давайте выйдем на следующей остановке. Я постараюсь не задерживать вас долго.

Вайнштейн кивнул головой, и на «Библиотеке им. Ленина» они вышли.

– Это правда? – спросил Полин, когда они вышли на перрон и уселись рядом на скамейку.

– Что именно?

– Насчет заявления на выезд. Не то, чтоб Полин рвался выполнить партийное задание, но ему было любопытно: до тех пор ему не приходилось беседовать с живым «подавантом».

Вайнштейн ответил не сразу. Он помедлил, бережно укладывая свой пакет на скамейку:

– Яйца, два десятка, жена просила, – объяснил он смущенно. И тут же совсем другим голосом: – Да, это правда, мы подали заявление на эмиграцию в Израиль. Вы, наверное, хотите знать, как это делается? С чего начать? Какие документы?

Полин нервно оглянулся: не слышал ли кто...

– Нет, нет, что вы, мне это не нужно, мне это и в голову не приходит, – поспешно произнес он. – То есть не подумайте, что я вас осуждаю или там как-нибудь ... Я считаю, что каждый должен отвечать за себя, верно?

– Не совсем, – покачал головой Вайнштейн. – В Талмуде сказано, что евреи еще отвечают и друг за друга.

При слове «талмуд» Полин вздрогнул, но не оглянулся – сделал над собой усилие.

– А что... вы читали ... этот... эту книгу?

– Да. Могу вам подарить, когда буду уезжать.

Он почти что улыбнулся, увидев испуг собеседника.

– Нет, я никуда отсюда не уеду, – громко сказал Полин. – Какая ни есть – это своя страна. Здесь все свое, знакомое, а там...

– Послушайте, я вас не уговариваю ехать, это вы заговорили об отъезде. – В голосе Вайнштейна послышалась ирония. – Живите здесь, где все знакомо. А я от этого знакомого хочу уехать.

– Вы уедете, а у нас будут неприятности. Об этом вы подумали?

Вайнштейн внимательно посмотрел на Полина.

– Видите ли, антисемитизм начался в этой стране не из-за моего отъезда.

– Но теперь у него появится оправдание.

Вайнштейн снова покачал головой:

– У антисемитизма нет и не может быть оправдания. Он не зависит ни от свойств евреев, ни от их поступков.

Антисемитизм целиком определяется свойствами самих антисемитов – больше ничем. Так что уеду я или нет – неприятности у вас в этой стране все равно будут.

– Продолжать этот разговор бесполезно, мы говорим на разных языках, – сказал Полин и поднялся навстречу прибывающему поезду.

Так они расстались, не попрощавшись.

Дома Полина ждала неожиданность: Люба уже вернулась с работы.

– Нас раньше отпустили в честь праздника, – сказала она, выходя из кухни в прихожую. – А Машу забирать только через час.

Тут она увидела в руках мужа веточки мимозы, завернутые в газету. Ее всегда бледное лицо порозовело, она спросила тонким голосом:

– Мне, да? Спасибо.

Саша молча протянул ей мимозу вместе с газетой.

– Я боялась, что ты забудешь... Ты в последнее время стал такой... такой... безразличный.

На ее глазах выступили слезы.

2. Праздник пирожков

Только пройдя через проходную и ступив в лифт, Полин вспомнил, что сегодня во второй половине дня будет банкет по поводу сорокалетия выхода в эфир. И точно, в главном помещении, где были установлены телетайпы, мониторы и копировальные машины, уже сдвигали столы – пока еще голые, не покрытые скатертями, но длинные, вместительные, готовые принять на себя обильную еду и выпивку. Три-четыре женщины толпились около столов, доставая из картонных ящиков посуду. «Очень хорошо, – подумал Полин, – пусть трудятся здесь. В эфире все равно от них проку немного».

Он прошел в дальний конец огромного помещения, где невысокими перегородками были выкроены из пространства закутки для каждого сотрудника – «кубики», как их называли. В каждом таком «кубике» был компьютер, монитор, стационарный магнитофон и множество кассет, папок, книг, а также всякие личные вещи, отличавшие один

«кубик» от другого. У Полина, к примеру, стоял на столе портрет его пятилетнего сына, названного на американский манер *Alex Junior*, Саша-младший. На каждой стене – большие строгие часы, постоянно напоминающие, что время мчится, а программа должна быть в эфире вовремя, секунда в секунду.

Какой сегодня день? Среда. Значит, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» – обзор общественной, политической и культурной жизни мегаполиса. Выходит в эфир в три часа. Время, вроде, есть, хотя особенно прохладиться не рекомендуется. Тем не менее, он достал из шкафчика большую синюю кружку с надписью *Voice of Liberation* и не спеша пошел в дальний конец коридора. Там у кофейного автомата, как у деревенского колодца, собрались посудачить несколько сотрудников русской редакции. Полина они встретили смешками:

– Кому банкет, а кому вкалывать.

– Невезуха, Алекс, а?

– Ладно, за час всего не выпьют и не слопают, – отшучивался Полин. – А вы, ребята, скрипты бы пораньше закончили ради праздника.

– Не горячись, родимый, все будет вовремя, – сказал Игорь Гагарин.

– Или чуток позже, – вернул Жора Гуляцев.

Ева погладила Алекса по плечу:

– Не нервничай. Бутылку пива мы тебе припрядем. И конечно пирожок.

Пирожок в русской редакции был больше, чем пирожок – это был символ редакции, предмет особой гордости. Из-за этих пирожков и, конечно, обильной выпивки под селедочку на праздники в русскую редакцию стекались все народы, населяющие нью-йоркский отдел радиостанции – от братских советских республик до Зимбабве и Индонезии. Все флаги в гости к нам...

Тайну приготовления настоящих русских пирожков и вымоченной в чае селедки хранили пожилые дамы из старой русской эмиграции. Злые языки говорили, что на службе их держат исключительно за эти таланты, поскольку ничего другого они делать не могли, но это было

неправдой. Держали их на службе по другой причине. Дело в том, что сотрудники радиостанции *Voice of Liberation*, «Голос Освобождения», по своему правовому положению были приравнены к государственным служащим, а это значило, в частности, что работника радиостанции практически нельзя было уволить ни при каких обстоятельствах. Когда-то очень давно, лет сорок назад, их взяли на работу, несмотря на жуткое произношение и отсутствие всякого образования – просто потому, что никого другого не было. А эти дамы по-русски вроде бы говорят, а что это за русский язык, американское начальство знать не могло... Так они и сидели здесь с тех пор, жаря пирожки, вымачивая селедку в чае и накапливая стаж для пенсии. По этой самой причине, из-за огромного стажа, уволить их нельзя было даже в случае сокращения штатов: в американских государственных учреждениях действует принцип «первым сокращают того, кто пришел последним». А селедочно-пирожковые дамы пришли первыми...

Полин вернулся в свой «кубик», удобно уселся в кресло, улыбнулся фотографии Саши Младшего и собрался было сделать глоток кофе, как зазвонил телефон. Сдержанный голос секретарши сказал: «Джеймс вызывает вас».

– Может, после программы? Я сегодня делаю «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

– Нет, сейчас. – Секретарша была лаконична и непреклонна.

Джеймс Олсток возглавлял Советский отдел, ему подчинялись редакции всех братских республик. Человек он был спокойный, работу свою старался выполнять с минимальным напряжением и в дела редакций без крайней необходимости не вмешивался: может быть оттого, что не зная языков, боялся попасть в глупое положение. Занимался он главным образом отношениями с разными государственными и общественными организациями. Так было и на этот раз.

– Алекс, тут есть небольшое дело... ну, касательно пиара. Кофе хотите, у меня свеженький? Как хотите... –

Джеймс сделал паузу, отделявшую неофициальную часть от сугубо официальной. – Я вам уже говорил, еврейские организации жалуются, что мы им недостаточно внимания уделяем.

– Как же недостаточно? – взвился Полин. – Одних интервью с руководителями Еврейского комитета за этот год...

– Ну, вы считаете много, они считают мало... Это субъективно. Во всяком случае ссориться с ними не стоит... вы понимаете? А дело такое: В Нью-Йорке находится делегация какой-то израильской организации... как ее? – он посмотрел свои записи, – «Алия ми-Руссия». Вчера делегация была в Вашингтоне, встречалась с конгрессменами, сегодня встречается здесь с мэром города. В общем, их пребывание мы должны осветить, понятно? Пожалуйста, никаких возражений. Мне уже тут дважды звонили... Сегодня, непременно сегодня. По-моему, самое простое было бы взять интервью у кого-нибудь из членов делегации, говорящих по-русски. Там есть такие, я справлялся.

– Но помилуйте, уже двенадцатый час, в три нужно в эфир выходить, а ни одного готового материала, – взмолился Полин. – Да и поручить интервью некому, все заняты.

– А вы сами езжайте, здесь недалеко – отель «Падишах». Извините, я это не понимаю: больше трех часов до выхода программы, и вы не можете взять простенькое интервью по-русски. Вы же профессиональный журналист, или я ошибаюсь? Никаких возражений не принимаю, все!

Полин почувствовал, что долгие упорствовать нельзя. «Черт с ним, выкручусь как-нибудь», – подумал он.

Джеймс Олсток приподнялся с кресла:

– Значит, все ясно: отель «Падишах», члена делегации зовут... сейчас, сейчас, я где-то записал... Ага, вот: Шимон Бен-Рахмани. Он говорит по-русски. Звоните ему немедленно, он ждет. И продиктовал номер телефона.

3. Есть указание

Ромуальдыч оказался прав в своих предсказаниях: отъезд Вайнштейна имел для сотрудников редакции тяжелые последствия. Конечно, не для всех сотрудников, а для части; некоторые даже выгадали, заняв освободившиеся должности... Путем сложных комбинаций по слиянию и разделению отделов, их сформированию и расформированию, удалось избавиться от значительного числа неугодных лиц. Все они были уволены ввиду реорганизации и сокращения штатов – в полном соответствии со статьей 47 Трудового кодекса РСФСР.

Планировал и проводил эту масштабную операцию не кто иной, как Ромуальдыч. Делал он это хитро, даже изощренно – комар носа не подточит... По редакции ходил он мрачный, с невидящими глазами, на приветствия сотрудников еле отвечал, а Полина, что называется, в упор не видел. Как будто не было у них никакого разговора, как будто не просил его поговорить с Вайнштейном «как еврей с евреем». Всем своим видом Ромуальдыч давал понять, что ничего хорошего Полина не ожидает, и что он, Ромуальдыч, не пощадит его ни при каких обстоятельствах, нечего надеяться. А тот их разговор лучше забыть, его не было. И вот настал день, когда Полина вызвали в отдел кадров. Беседа была вежливой, можно сказать, сочувственной. Так мол и так, реорганизация отдела, слияние-разливание, ваша должность сокращается.

– Но почему именно моя? – пробовал сопротивляться Полин. – На этой работе сидят еще три редактора, почему именно меня?..

– А потому что у такого-то вашего коллеги кандидатская степень, – он считается работником более высокой квалификации, разъяснили ему. А другой работник имеет больший стаж, а третья – мать-одиночка, и при равной квалификации она имеет преимущество, таков наш гуманный закон.

Полину пришлось признать гуманность нашего закона и с тем покинуть кабинет начальника отдела кадров. И редакцию, где он проработал к тому времени одиннадцать лет...

Так Александр Полин, выпускник факультета журналистики с шестнадцатилетним стажем работы по профессии, женатый, отец двенадцатилетней дочери, на сороковом году своей жизни оказался безработным. Вскоре он понял то, о чем и раньше догадывался, о чем ему шепотом говорили со всех сторон: что с его данными устроиться на работу по специальности невозможно. Под «данными» подразумевалось, конечно... все понимали, что подразумевалось...

За годы работы Саша Полин, человек общительный, завел, многочисленные знакомства в издательствах, в газетах, в журналах, на радиостанциях. И вот теперь эти добрые знакомые вполне искренне готовы были помочь с устройством на работу – тем более что квалифицированные люди нужны были повсюду. Но всюду происходило одно и то же: очередной знакомый представлял Полина своему руководству, Полин производил хорошее впечатление, руководство с энтузиазмом говорило о будущей совместной работе, затем документы Полина для оформления передавались в отдел кадров... и тут начиналось что-то странное. О нем как бы забывали, его переставали замечать, а когда он сам являлся к некогда приветливому руководству, то оно (руководство), пряча глаза, смущенно лепетало что-то невнятное: произошла, дескать, ошибка, на самом деле все должности заняты, и приема на работу в этом году не будет. И в будущем тоже...

Позже Саша понял, что при первом знакомстве обманное впечатление производила его фамилия: неосведомленным людям казалось, что она от слова «поле». Но когда документы попадали к специалистам в отделе кадров, те быстро устанавливали беспощадную правду... После того, как такое (с небольшими вариациями) произошло в шестой, в седьмой, в десятый раз, Полин пал духом. Не удивительно... Он уже не обзванивал знакомых и полужнакомых, не ездил по редакциям, а больше сидел небритый дома, читал переводные романы и пил кофе. Люба, которая с самого начала старалась его подбодрить, тоже приуныла, и теперь не столько подбадривала, сколько утешала мужа: «проживем, не умрем с голоду, родители

помогут», «как-нибудь устроишься», «не падай духом, посмотри, на кого ты похож».

Люба относилась к мужу бережно, стараясь лишний раз не напоминать о его унижительном положении безработного, но иногда просила помочь ей в домашних хлопотах. Однажды, это было уже на седьмом месяце его безработной жизни, она попросила забрать Машу с «продленки»:

– У меня совещание перенесли на четыре, и я боюсь, не успею забрать до половины шестого. А если не забираешь вовремя, они такое устраивают... И ребенка отчитывают, будто ребенок виноват.

И вот в тот день, около шести часов, Полин шел с дочкой от троллейбусной остановки к дому. Маша больше не желала ходить за руку, «как маленькая», и шла на шаг впереди отца. Он смотрел сзади на острые лопатки, шевелившиеся под курткой, на чахлые косички, перевязанные синей ленточкой на затылке, и мучительная жалость сдавливала ему горло. Что он может сделать для этого существа, напоминавшего бледный росток комнатного цветка, что он может сделать для нее в этой жизни, где сам он никто, как есть никто? Как он может ее защитить, когда он сам беспомощен, как ребенок?..

И тут его громко окликнули по имени: «Саша! Саша!». Голос показался таким знакомым... Он вздрогнул, напрягся, застыл, не смея оглянуться. «Саша!» – вторично позвали, и он оглянулся: да, это был тот самый голос, это была Надя Кружко.

От неожиданности он потерял дар речи, молча смотрел на нее в полной растерянности, а она, напротив, улыбалась, как ни в чем не бывало, как будто они по-прежнему виделись каждый день. Подошла Маша и молча уставилась на незнакомую женщину.

– Это, я полагаю, Маша? – спросила Надежда светским тоном. – Я не думала, что ты такая большая.

Полин обрел, наконец, дар речи:

– Это тетя Надя, мы работаем вместе. Вернее, работали... Познакомься.

Маша хмуро кивнула и отвернулась.

– Я знаю, что дела твои... без изменений, – сказала Надя.

– Не стоит о моих делах говорить, – махнул рукой Полин. – Что там у вас, какие новости?

– Ничего особенного, все то же, – протянула она, и вдруг оживилась. – Да, это ты слышал? Ромуальдыча турнули.

– Как это? Из секретарей?

– И из секретарей, и из редакции вообще. Все, с концами! Нет Ромуальдыча! – Она не скрывала торжества. – Он думал, разгонит людей, так его самого оставят. Хотел, мерзавец, откупиться за счет других... Я даже не представляла себе, что среди ваших такие мерзавцы попадают. Ведь сам же... – Слово «еврей» она не произнесла. Вообще, в тот период слово это постепенно стало выходить из обихода советских людей: оно звучало как-то нехорошо, неприлично, что ли. Даже оскорбительно.

– Мама уже дома? Она нас ждет? – вклинилась в разговор Маша.

– Сейчас, Машенька, подожди. У меня важный разговор с тетей Надей.

– Давайте я вас провожу, – предложила Надя. – Где ваш дом?

Они втроем, Маша впереди, папа и тетя Надя следом, пошли по улице в направлении дома.

– Я слышала, что у тебя нигде не получается. При другой обстановке такого работника, как ты, схватили бы с руками-ногами.

– При другой обстановке?

Она с сожалением посмотрела на него:

– Что ты – не знаешь? Это же все говорят: не берут, нигде не берут. – Она старательно опускала неприличное слово. – Есть негласная установка... Я тебе скажу... между нами, конечно. Я в воскресенье у мамы свою сестрицу и ее благоверного видела. Он у нее «кадровик» – существует такая профессия. Так этот «кадровик» весь вечер говорил: да, есть установка: не брать их. Счастлив при этом был, не знаю как... Ничтожество полуграмотное.

Конечно, Полин и раньше догадывался, но вот так впрямую... Да еще от Нади, от лица, так сказать, нейтрального... Он остановился посреди тротуара.

– Что же делать?

Надя быстро взглянула на него:

– Другие находят выход, – проговорила она вполголоса. – Вайнштейн, например.

– Да ты что, в своем уме? – возмутился Полин. – Я? Я? Никогда, ни в коем случае.

– Ну и дурак, – сказала Надя все так же тихо. – Эх, была бы я... (чуть не сказала неприличное слово в женском роде)... на твоём месте... Ни минуты бы не сомневалась.

– У нас в окне свет, – возникла Маша. – Мама дома, ждет нас. Пошли скорей.

– Подожди, – одернул ее Полин. – Мы здесь о важных делах.

– Ладно, ладно, идите, мама ждет, – заторопила Надя – А ты мне позвони, мы продолжим. Телефон не забыл?

– Не забыл, – ледяным тоном сказал Полин. – До свидания.

И он с дочкой пошел к подъезду. Но не успел он пройти и десяти шагов, как Надя нагнала его и прерывисто зашептала:

– Я знаю, за что ты зол на меня. За Подпыхина, знаю. Ты пойми меня раз в жизни. Мне этот Подпыхин – до фонаря, но мне двадцать девять, а ты женат, вот у тебя дочка.

4. «Падишах»

Отель «Падишах» действительно находился недалеко, в районе пятидесятих улиц, и Полин добрался туда на такси минут за десять. Из вестибюля он позвонил по номеру, который ему записал Джеймс Олсток, отрекомендовался корреспондентом «Голоса освобождения», и хмурый мужской голос в ответ проговорил: «Да, да, спускаюсь».

Полин облюбовал столик с креслами в дальнем конце вестибюля. Чтобы не терять времени, тут же распаковал магнитофон и принялся было устанавливать микрофоны,

но его прервал мужской голос, произнесший над его головой по-русски:

– Вы, наверное, меня ждете? Я Шимон Бен-Рахмани, из Израиля. А вы...

Он осекся, когда Полин поднял глаза. Да и Полин несколько секунд не мог выговорить ни слова, увидев перед собой Ромуальдыча...

– Кто? Шимон? Бен-Рахмани? – выговорил он наконец.

– А что? Всем олим предлагают сменить свои галутные имена на подлинные еврейские, – уверенно, даже с вызовом сказал бывший Семен Рахмалович. – А мне особенно и менять не пришлось: Семен это и есть Шимон, а фамилия того же корня, что и прежняя, означает «милостивый», «милосердный».

Полин залился недобрый смехом:

– Милостивый? Ну совсем в точку!..

Ромуальдыч насторожился:

– Что ты этим хочешь сказать?

– Перестаньте мне тыкать, здесь вам не партком! – взорвался Полин. – Я там наслушался вашего коммунистического хамства, хватит! Здесь извольте вести себя...

– Слушай, Полин, не забывайся, – сурово произнес Ромуальдыч. – Я здесь представляю дружественную страну, меня ваши конгрессмены принимают...

– А мне плевать! Они не знают, кто вы такой, а я знаю. Я всем расскажу, что вы там вытворяли. Что вы на самом деле за еврей...

– Я живу в Израиле, в еврейском государстве, а не в сытой Америке, как ты.

– Всех евреев с работы выгнал, настоящий погром устроил! Милосердный Бен-Рахмани... Израиль представляет.

Полин накалялся все больше. Он дрожал от напряжения, налился малиновым жаром, брызгал слюной:

– Шкура продажная, приспособленец! Вчера – коммунист, сегодня – сионист. Завтра, если понадобится – нацист...

Со стороны казалось, он вот-вот кинется на ненавистного ему пожилого солидного господина. Так это выглядело в глазах посторонних людей, поглядывавших на спорящих. Кто-то предложил вызвать полицию. Прибежал администратор отеля в синей с золотом униформе.

– Господа, господа, – лепетал он, хватая за руки то одного, то другого. – Пожалуйста, не здесь. Прошу вас. Давайте пройдем ко мне в кабинет. Господа!

– Их бин Израиль, их бин Израиль, – апеллировал к нему Ромуальдыч, тыча себя в грудь большим пальцем.

– Ты Израиль?! Сволочь ты партийная! – заорал Полин и запустил в Ромуальдыча магнитофоном. Два дюжих швейцара по сигналу администратора схватили Полина под руки и поволокли к выходу. Он вырывался и орал по-русски:

– Сволочь партийная! Сволочь!

У Ромуальдыча из разбитого носа ручьем текла кровь.

5. Семейный обед

Лифт карабкался вверх не спеша, то и дело останавливаясь и выпуская на этажи солидных мужчин и их солидных жен, составлявших население этого солидного дома, прозванного «генеральским», хотя жили здесь чиновники штатских министерств. Саша поглядывал на бледное, напряженное Любино лицо.

– Боишься? – спросил он шепотом, наклонясь к жене.

Она пожала плечами:

– Ничего хорошего не жду...

На десятом этаже они подхватили с двух сторон Машу и вышли из лифта.

Дверь открыла Елизавета Афанасьевна. Она по очереди облобызала всех троих. Глаза у нее были заплаканные, и она хлюпала носом.

– Руки мытые? Тогда сразу к столу, – провозгласила она бодрым тоном, плохо подходившим к выражению ее лица.

Дмитрий Андреевич был сдержан. Он кивком поздоровался со всеми и предложил садиться. Елизавета

Афанасьевна тут же захлопотала, принялась накладывать еду в тарелки.

– А где Виктор? – недовольно спросил Дмитрий Андреевич, и крикнул громовым голосом: – Виктор! Виктор! Тебя все ждут!

Виктор появился мрачный. Не поздоровавшись и ни на кого не глядя, сел за стол.

Дмитрий Андреевич налил вина всем, кроме Маши («А тебе яблочного сока. Пойдет?»), и предложил выпить за семейную встречу.

– За мир в семье! – неожиданно вставила Елизавета Афанасьевна. Все сделали вид, что не слышали.

Обед продвигался от закусок к борщу и далее к говяжьим котлетам. За столом царила напряженная тишина, изредка прерываемая Машиным капризным голосом: «Салат не буду! А мне не нужны витамины!» «Я рыбу терпеть не могу!». Виктор подливал себе вина и становился все мрачнее.

Наконец, когда убрали со стола мороженое и посуду, Дмитрий Андреевич, чертя пальцем узоры на скатерти, сказал:

– Что ж, давайте поговорим. – Он поднял глаза на Полина, и во взгляде его было такое горе, что Саше стало не по себе. – Ну, устроил ты нам... Вон Лиза третий день плачет, я, признаться, ночи не сплю... Ладно, ладно, это наши чувства, они вас не интересуют. А что я могу сказать, как говорится, по сути дела? Если ты, Саша, не находишь себе места в нашей стране – скатертью дорога, езжай в свой Израиль или куда там... Но одно условие: езжай один, без Любы и Маши, их мы тебе не отдадим.

– То есть как? – чуть не поперхнулся Саша. – Это моя семья... моя жена и дочь. Как же можно...

– Ты что, папа?... – сказала Люба и заплакала.

– У меня тоже семья, и я обязан о ней думать. Вы понимаете, что я сразу же полечу со своей должности, а может быть и из партии? Ну ладно, черт со мной, мне уже пятьдесят четыре года – жизнь позади... с вашей точки зрения. Но вот сидит Виктор. Он на будущий год кончает институт международных отношений, у него отличные

перспективы. Во всяком случае, до сих пор так казалось... А на что он может рассчитывать при сестре в Израиле? Вы об этом подумали?

– Мы можем не в Израиль, а в Америку, – поспешно сказал Саша.

– Это не поможет. В деле все равно будет записано: «Выехала на постоянное жительство в Израиль». Нет, Саша, так не получится.

– Об этом нужно было думать раньше, когда она выходила замуж за еврея, – сказал Виктор, не поднимая головы. – Я тогда говорил, так мать на меня: «Как ты можешь? У них любовь». Теперь вот извольте любить...

– Ладно тебе, ты умней всех... – прикрикнул Дмитрий Андреевич на сына. – В общем, чтобы не устраивать здесь дискуссий, давайте так: если ты, Саша, едешь один, я даже помогу тебе, у меня связи. А если будешь упорствовать, не уедешь никогда. Запомните оба: никогда. Ни я, ни Лиза согласия на отъезд не дадим, а без нашего согласия вас не выпустят.

– Но постойте, – беспомощно развел руками Полин, – без жены и дочки меня тоже не выпустят. Получается...

– Конечно не выпустят. Придется развестись. Да, если так приспичило ехать, разводись!

– Что значит «приспичило»? – плачущим голосом заговорил Саша. – Я же не по своему желанию, а просто мне здесь работать не дают, семью кормить не могу. Живем на то, что Люба зарабатывает. Вы, спасибо, подкидываете... Так же невозможно! А нигде не берут, вы прекрасно знаете. Я в десятки мест пытался, и не с улицы, а через знакомых...

– И правильно, что не берут, – зло сказал Виктор. – А как же вас брать? Сегодня возьмешь такого вот, а завтра он в Израиль подается.

– Ты путаешь причину со следствием, – вмешалась Люба. – Они уезжают, потому что им ходу не дают.

Виктор саркастически захохотал:

– «Ходу не дают!» Ты скажешь... Да посмотри вокруг: везде они, везде. И всего мало. Теперь вот – за границу желают.

Дмитрий Андреевич хрястнул кулаком по столу:

– Хватит! Не тебе, щенку, решать, кто в чем виноват.
– И к Любе более спокойно: – Я все понимаю, дочка: это твой муж, отец твоего ребенка, у вас семья. Но и ты пойми: я не могу позволить разрушать нашу жизнь. Если вы не хотите расставаться, надо зажаться и терпеть. И ждать: все время что-то меняется. Да, зажаться и терпеть в надежде на перемены или на счастливый случай. А материально как-нибудь перебьетесь, мы вас не оставим.

– Ничего себе перспектива: ждать и ждать, авось как-нибудь... – Саша сидел бледный, лоб в испарине. – Пока что становится все хуже, только хуже. Вы, Дмитрий Андреевич, сами это знаете. Тут еще Афганистан, да еще этот президент, ковбой безмозглый. Нет, лучше не станет. Что же мне делать – так всегда и жить на средства тестя?

– Он так не может, он этого не вынесет, – Люба обращалась к отцу. – Пойми это, прошу тебя. Пожалуйста, папа!

Дмитрий Андреевич покачал головой:

– Наш разговор буксует на месте. Вы настаиваете на своем, а я вам говорю, что согласия не дам. Это все, точка. Продолжать разговор нет смысла.

Тяжелую паузу разорвал громкий плач: уронив голову на стол, Елизавета Афанасьевна содрогалась от рыданий. Первым к ней подскочил Виктор, стал гладить голову, спину, приговаривая:

– Мам, мам, ты что? Успокойся, я тебя прошу, мам...

– И вдруг в сторону сестры: – Все из-за тебя, дуры! Еврей тебе понадобился...

6. Обед с друзьями

Каждый входил примерно с одной и той же фразой:

– Я запарковал там на свободном месте. Это ничего?

Последней прибыла Ева.

– Я запарковалась...

– Все в порядке, – перебил ее Полин. – У нас тут свобода и демократия, паркуйся, где хочешь. Не как у вас в городе.

Полины жили в пригороде, в Нью-Джерси, в собственном доме, который они купили три года назад.

– Все в сборе? – крикнула Надя из кухни. – Тогда просим гостей за стол. У меня все готово.

Гостями были сослуживцы Полина: Игорь Гагарин, Джо Латски и Ева Арони. Когда все расселись вокруг обеденного стола, Саша достал из холодильника два запотевших графина: один с бледно-желтым, другой с оранжевым напитками.

– Никакие мелкие и крупные неприятности, – провозгласил он, – не помешают нам выпить за здоровье гостей. Это перцовая, а это рябиновая.

– Где рябину достали? – оживился Игорь. Он слегка грассировал. Впрочем, когда ему сказали, что в России грассирование не отличают от картавости, он грассировать по радио перестал. Вообще-то Игорь до смешного, как-то даже анекдотично был похож на аристократа, и непонятно, он действительно таким родился или наслушался анекдотов и вошел в роль. Притом подлинность его происхождения не вызывала сомнения. По-аристократически широкий, беспечный и эгоцентричный, в свои сорок с чем-то лет был он холост и любил повторять, что жениться никогда не поздно и всегда рано.

– В Канаде набрали, – пояснила Надя, накладывая всем салат. – В прошлом году. Сашка как увидел рябину, все, говорит, дальше не поеду. Остановил машину и полез на дерево. Не слез, пока не оборвал до последней ягодки. Где, говорит, я в Нью-Йорке рябину найду?

Все дружно захохотали, представив себе Сашу Полина, сидящего на ветке дерева. И гости, и Надя держались подчеркнуто весело, всячески давая понять Саше, что не стоит вешать нос, пока неизвестно, как повернется дело, все еще может обойтись. Хотя Саша уже вторую неделю не работал: он был отстранен от должности до вынесения заключения специальной комиссии. Комиссия должна была решить вопрос, может ли Полин оставаться на радиостанции после того, что произошло в отеле «Падииах».

Как ни хорохорились гости, как они ни делали вид, что это не так уж серьезно, а разговор то и дело возвращался к больной теме. Друзья изо всех сил старались подбодрить Сашу.

– Я приведу простой довод, – говорил Джо Латски. – За сорок лет существования радиостанции ни один ее сотрудник не был уволен по инициативе администрации. Почему ты должен стать исключением?

Такой довод казался ему неотразимым. Обычно к его мнению прислушивались, поскольку Джо был в этой компании единственным прирожденным американцем, коренным «нью-йоркером». Русский язык он выучил в юности из любви к коммунизму. «Только за то, что им разговаривал Ленин», – щеголял Джо знанием советской литературы. С возрастом Джо поумнел. Это случается не со всеми, но с Джо такое случилось, он поумнел, любовь к коммунизму кончилась, а русский язык на очень приличном уровне остался.

Однако данный его аргумент не показался убедительным, по крайней мере Полину.

– Знаешь, аналогии и прецеденты – это не доказательства, – сказал он уныло.

– Да не занудничай, – одернула его Надежда. – Я уверена, что все обойдется.

– Не турухай! – подбадривал Игорь. – Нигде наша не пропадала!

Князь Гагарин любил употреблять жаргонные выражения, которых набрался от новых эмигрантов, но не всегда произносил их правильно: ведь ничего подобного ему не доводилось слышать ни в русской школе в Белграде, ни на историческом факультете в Кембридже, ни в Сорбонне, где он защищал диссертацию на тему «Политические последствия похода Наполеона в Россию в 1812 году».

Когда Надя подала баранину и под баранину еще выпили, Саша сказал:

– Это все так: я совершил проступок при исполнении служебных обязанностей. Признаю. Но неужели совсем не имеет значения личность, так сказать, потерпевшего? Ведь это же мерзавец, каких мало даже

среди коммунистов. Пусть Надю спросят, что он вытворял на работе, как выгнал из редакции всех евреев.

– Да, – кивнула Надя, – все это при мне было. В отделе технической литературы замом был Леня Фридман. Так они, чтобы его убрать, объединили отдел технической литературы с научно-популярным отделом, можете представить себе такую глупость? Это все его идеи, Ромуальдыча.

– А теперь он приезжает в составе израильской делегации. Как это можно вынести? Я конечно не оправдываю свой поступок, но все же...

– Вы знаете, вот это как раз меня не удивляет – ну, что приехал в составе делегации, – сказала Ева. – Я там семь лет жила, в Израиле, ребята знают, – пояснила она специально для Нади, – я видела, как плавно вчерашние коммунисты становятся неистовыми сионистами. Вместо цитат из Маркса, цитаты из Талмуда, а так... та же односторонность, нетерпимость...

Игорь сокрушенно покачал головой:

– Вот я вас здесь слушаю и думаю: да, сильна советская власть, если даже евреев смогла превратить в такое... Просто не верится. У нас в семье евреев считали необыкновенно стойкими, независимыми, целеустремленными. Конечно, в России всегда был антисемитизм, но это удел черни. В нашей семье евреев уважали.

Он с улыбкой оглядел присутствующих, допил свою рюмку и сделал паузу, словно не решаясь продолжать. Но все же заговорил снова:

– Существует такое семейное предание. В Орловской губернии, среди перелесков и рожиц, воспетых нашим земляком Тургеневым, находится белый каменный особняк – родовое имение Гагариных Ручьи, где родились почти все мои предки, начиная с середины восемнадцатого века. Нынче в нашем орловском имении, говорят, санаторий обкома партии... Да, так в восьмидесятых годах девятнадцатого века в этом особняке жил мой прадед, которого звали точно, как меня: Игорь Васильевич Гагарин. Видимо, управлял имением он плохо: мужики работать не

хотели, дохода имение не приносило. И тогда прадед вспомнил, что в другом его имении, около Чернигова, дела идут отлично. А управляющим состоял там некий Моисей Лазаревич Бронштейн. Кстати, его родственник, кузен или племянник по имени Давид Бронштейн, тоже управлял чьим-то имением в Николаевской губернии. Управляющий он был превосходный, но вот сына вырастил... Слышали, наверное: Лев Давидович Бронштейн-Троцкий... Так о чем я? Да, о прадеде. Вот он уговорил этого самого Моисея Лазаревича переехать в орловское имение. Добился разрешения от властей (евреям запрещалось жить в Орловской губернии), и новый управляющий с женой и всеми домочадцами прибыл в Ручьи. Талантливый, видимо, был организатор, этот Моисей Бронштейн, и человек образованный – недаром в Германии учился. В два года повернул хозяйство, на третий уже появился доход. Ну, и свою выгоду, должно быть, не забывал: такой себе каменный дом отгрохотал, подстать барскому. В нем сейчас санаторий райкома партии... Прадеду, бывало, соседи пеняют: гляди, что твой жид творит, на какие такие средства? Ворует, небось. А прадед: конечно, ворует, а кто не ворует? Свой русский, что ли, не ворует? Но только русский сначала украдет, а остальное развалит. А этот понимает, что сначала хозяйство наладить нужно, а уж потом воровать... Вот каков был прадед. А большие всего на свете он любил парижскую жизнь. На это шли почти все доходы со всех имений. Так и жил между Парижем и Орловской губернией. Приедет, проживет в Ручьях недолго – и в Париж. А дома остается беременная жена, Ольга Кирилловна. Тонкой души была женщина, очень страдала от беспутства своего мужа. Сидит взаперти одна, даже поговорить не с кем. Только лишь управляющий с докладом заходит ежедневно, это вся social life. И вот такая со временем история вышла. Прадед засиделся в Париже дольше обычного. Приехал, наконец, домой, а дома сюрприз: прибавление семейства, мальчик родился. Стал прадедушка в уме подсчитывать: странно получается. То есть если поверить, что мальчику полгода, то может оно и получается. Но мальчик выглядит таким маленьким, месяца

на два, от силы на три. И тогда уже никак не получается... А у кого узнаешь? От местного попа ничего не добьешься: всегда пьян, а в записях его черт ногу сломит. Не расспрашивать же деревенскую повитуху. Вот при таких-то обстоятельствах и появился на свет Божий мой дедушка Владимир Игоревич, царство ему небесное. – Князь перекрестился и снова обвел веселым взглядом притихших сотрапезников. – Так может быть вы и правы, когда говорите, что я карртавлю, а не грассирую?

Это замечание вызвало взрыв смеха. Все наперебой стали комментировать семейную историю Гагариных, стараясь превзойти друг друга в остроумии, и только Ева серьезно заметила:

– Двести лет живут евреи рядом с русскими, как можно всерьез говорить о чистоте расы?

– А история эта возымела неожиданное продолжение, – сказал Игорь, и все сотрапезники обернулись к нему. – Сами понимаете, что прадед своими подозрениями ни с кем не делился, но молва все равно каким-то образом распространилась... ну как пикантный анекдот или сплетня. Эта сплетня пережила прадеда, и все время преследовала деда: вот смотрите, какой настырный, прямо как жид. Недаром говорят, что на самом деле его отец... и так далее. Это ведь как кто воспринимает: можно сказать, настырный, как еврей, а можно: смелый и дерзкий, как все Гагарины... Да, дедушка дожил до революции, видел, как разграбили наше имение в Ручьях. Сам чудом уцелел. Дом Бронштейна, кстати, тоже не пощадили, но старика уже не было на свете, а два его сына, Борух и Залман Бронштейны, воевали в рядах Красной Армии. Их расстреляли позже – как родственников Троцкого. Дедушка воевал в Добровольческой армии, а потом оборонял Крым от большевиков, там и погиб. Его жена, то есть бабушка, с четырехлетним сыном на руках, сумела сесть на корабль и уплыть в Турцию, а потом в Сербию. Там, в Белграде, и вырос мой отец, там и я родился. А вот отец мой успел еще родиться в Ручьях...

– Последний князь Гагарин, родившийся на русской земле, – заметил Полин.

– О, не говори, никто не знает, как еще повернется, – протянул Игорь, и все посмотрели на него с недоумением: что он имеет в виду? На что можно теперь рассчитывать? А он продолжил: – Так вот, рос папа в Белграде. Нуждались они ужасно, еле перебивались, бабушка чем-то торговала, давала уроки, даже перчатки шила... ну обычная эмигрантская история. Я конечно, имею в виду нашу эмиграцию, а не вашу... Но папа все же учился, перед самой войной получил диплом инженера, женился на русской, тоже эмигрантке. В общем, жизнь налаживалась. Но тут – война, немецкая оккупация. В русской общине раскол: одни за немцев, другие против. Пошла жуткая вражда, просто война междоусобная. И вот кто-то из недоброжелателей доносит на папу, что он-де сын полуеврея, то есть на четверть еврей; среди эмигрантов, мол, это хорошо известный факт. Папашу для объяснений вызывают в гестапо. Он сразу сообразил, что ничего здесь доказать не сможет, и что эта нелепая сплетня столетней давности обернется для него роковой. Вряд ли станут немцы разбираться, какие были отношения у бабки с ее управляющим. Отправят в концлагерь, и конец... И он в тот же день, как получил повестку, смотанул в горы. Нашел партизан, с трудом убедил их принять в отряд: они не слишком доверяли русским эмигрантам. Храбро воевал и погиб с оружием в руках. Мне был тогда один год... А финал этой трагической истории несколько комический. – Он снова выпил водки, вытер салфеткой усы. – Ты, Алекс, на этой рябиновой разбогатеть можешь, верно говорю... Да, так вот, недавно, уже в наши дни, какие-то израильтяне решили установить мемориальную доску югославским евреям, погибшим в борьбе с нацистами. Каково же было мое удивление, когда я нашел там имя моего отца. Видимо, чтобы убедить партизан принять его в отряд, он сказал, что немцы преследуют его как еврея. Что было, кстати, правдой. Так и внесли в документы, а потом выбили на мемориальной доске по-сербски и на иврите: «Князь Гагарин». Наверное, авторы проекта посчитали, что это сербское имя: Князь.

И тут его прервал какой-то посторонний звук. Все обернулись к двери. На пороге столовой стоял белокурый мальчик и кулачком протирал глаза. Синяя пижама смялась и перекрутилась, из-под пижамы проглядывал живот.

– Ты почему не спишь? – бросилась к нему Надя.

– Я... я... хочу пить, – отвечал Алекс-младший.

Саша-старший посадил его на колени, гости наперебой пытались с ним заговорить, но он сонно тер глаза, ярко-синие от цвета пижамы.

– Не давай ему из своего стакана, – сказала Надя и извлекла из шкафа пластмассовый стаканчик.

Мальчик медленно цедил воду, пить ему явно не хотелось. Полин погрузил свое лицо в белесые завитки на его затылке и, как замороженный, вдыхал этот ни с чем не сравнимый нежный запах, запах счастья; тревожные мысли о будущем, одолевавшие его в последние дни, не то, чтобы ушли, но отступили на задний план.

7. Между надеждой и любовью

Большинство сотрудников редакции, где одиннадцать лет проработал Саша Полин, были женщины. Среди них попадались молодые и хорошенькие, но слава самой привлекательной женщины, «мисс редакции», прочно оставалось за Надеждою Кружко. Высокая, статная, кареглазая блондинка, она, деликатно выражаясь, не прятала своих женских достоинств, и когда, бывало, шла по коридору, слегка шевеля этими достоинствами, мужчины, вышедшие покурить, прерывали на полуслове свои разговоры и провожали ее протяжными липкими взглядами. Притом была она неплохим, старательным работником, что хотя бы частично искупало в общественном мнении ее скандальные романы с женатыми сотрудниками редакции.

Она пришла в редакцию прямо со студенческой скамьи, было ей тогда двадцать четыре года, и все мужчины редакции (ну, почти все – за исключением таких, как Вайнштейн) разделились на открытых и тайных поклонников. Саша Полин оказался во второй категории: он не мог соперничать с замом главного редактора Стукаловым. Хорошо еще, что главным редактором была

женщина... Даже парторг Ромуальдыч, говорят, проявлял в направлении Нади какие-то робкие поползновения, впрочем страх испортить партийную карьеру удерживал его в строгих рамках.

Смех смехом, а со временем Полин осознал, что влюблен не на шутку. Любовь эта была тайная и мучительная. Он изнывал от ревности – сначала к Стукалову, потом к Ленке Фридману, потом к тому типу... как его?... который уволился. У него буквально сердце обрывалось, когда случайно в коридоре или на лестнице видел, как Ленка прихватывал ее за талию или пониже...

Но и позже, когда она неожиданно его заметила и выделила из других, их связь не приносила Саше радости. Он мучился своим обманом, необходимостью постоянно врать жене и что-то скрывать от обеих. Прибегая вечером домой после бурного свидания с Надькой, он должен был притворяться голодным, хотя только что отобедал за ее столом, рассказывать, что происходило на вечернем заседании, которого на самом деле и не было; притворяясь смертельно усталым, ложиться спать пораньше, пока Люба возится с Машей... Конечно, Люба не могла не заметить, что он всеми силами уклоняется от того, что принято называть супружескими обязанностями. Иногда он ловил на себе испытующие и недоумевающие Любины взгляды и старался отвечать на них притворно-беззаботной улыбкой: в чем, мол, дело, дорогая?

Притворство и ложь, притворство и ложь... как это на самом деле надоело!

Правду сказать, Надежда вела себе достаточно тактично в том смысле, что ничего от него не требовала и понимала сложность его ситуации. Даже как будто оправдывалась:

– Пойми меня, мне ведь скоро двадцать девять... Я нормальная баба, все что я хочу – мужа, детей, семью. Сидеть с детьми дома, готовить мужу обед, принимать гостей по субботам, летом выезжать на дачу куда-нибудь в Подрезково... Думаешь, мне так интересна просветительная литература по медицине и здравоохранению?... А думаешь, мне эти мужики так уж нужны? Что в них хорошего? Ну Стукалов хоть на вид ничего, представительный мужчина,

но ведь скучный, как профсоюзное собрание. А Фридман – просто дурачок, невзрослый какой-то. Ты, Сашенька, единственный стоящий, но ты женат... А мне скоро двадцать девять. Мне надоели их комплементы, эти ухаживания из-за угла, чтобы жена не узнала... Я семью хочу, а они... только бы ухватить за...

После того памятного женского праздника, когда он увидел Надьку в объятиях Поддыхина, Полин твердо решил порвать с ней. Первое время было трудно, очень тянуло назад... Он старался избегать ее в коридорах редакции, но от этого еще больше думал о ней: где она сейчас, куда идет, по какому коридору, в какую комнату... Вскоре его сократили «ввиду реорганизации» и он больше не ходил на работу. На него навалились другие мысли и заботы, страх за будущее, и он, ну не совсем перестал, но хотя бы реже думал о ней. Однако все опять вернулось после этой случайной встречи возле дома, когда он Машу забирал с «продленки». Кстати, Надежда позже призналась, что караулила его возле дома целую неделю.

– Я чувствовала себя виноватой. Из-за Поддыхина.

Расставаясь, Надя просила звонить. Он решил не звонить, два дня боролся с собой, на третий позвонил.

– Это не телефонный разговор, – сказала Надя, – нам надо встретиться и поговорить.

Они встретились... и все возобновилось. Все вернулось с новой силой. Теперь Полин не был связан расписанием рабочего дня, мог приходить в любое время, стоило ей только отпроситься с работы. А к тому времени, когда возвращалась с работы Люба, он уже был дома.

Так было и в тот раз. Вернее, так должно было произойти. Он вернулся от Надежды домой около пяти, то есть примерно за час до прихода жены. Он насторожился, когда обнаружил, что дверь в квартиру захлопнута изнутри – ведь три часа назад, когда уходил, он запер ее снаружи. Саша крадучись вошел в квартиру и позвал Любу, потом Машу. Никто не отозвался. Он заглянул в столовую, в кухню, в ванную – никого. Оставалась неосмотренной только спальня. Может, легла отдохнуть и уснула? Уже нервничая, он вошел в спальню и увидел Любу, лежащую на

кровати. Она не спала, это сразу было видно: рука безжизненно свисала с кровати, голова неудобно запрокинута, на ней были туфли и платье, в котором она ходила на работу.

Полин закричал, подскочил к кровати и начал тормошить. Люба не подавала признаков жизни. Он кричал «Любушка! Что с тобой?», пытался приподнять ее, посадить – все напрасно. Боже мой, что же делать? Что нужно делать в таком случае? Скорая помощь! Он набрал знакомый всю жизнь номер и запинаясь проговорил:

– Моя жена... не знаю, что с ней. Скорей приезжайте. Лежит без сознания. Что? Дышит? Не могу понять. Скорей приезжайте. Не реагирует ни на что. Нет, не болела, утром была на работе. Скорей приезжайте.

Но вопросы продолжались – ненужные, бессмысленные вопросы. Наконец, адрес был записан и угрюмый голос приказал: «Отоприте дверь и ждите. Сейчас приедут».

Приехали, действительно, скоро. Двое: один пожилой, небритый, в форменной фуражке, другой совсем юный, с розовыми ушами. Старший бегло осмотрел Любу, потрогал руку, шею, оттянул веки, заглянул в глаза. И резюмировал:

– Еще жива. Когда это с ней произошло?

– Не знаю. Меня не было дома. Я только пришел и вот увидел...

В это время молодой санитар протянул что-то старшему. Тот взглянул и покачал головой:

– Все понятно: отравление снотворным. Пузырек возьмем с собой, покажем. – И Полину: – Раньше это за ней наблюдалось?

– Что именно? – не понял тот.

– Раньше, говорю, были такие случаи? Покушалась раньше на самоубийство?

При слове «самоубийство» Сашу начала колотить дрожь.

– А почему вы думаете... – пытался он возразить. – Может, просто не рассчитала...

– Ну да, не рассчитала... Вот же, смотрите, она распечатала пузырек и тут же почти все проглотила. – Он показал Саше пробку и бумажную ленточку, которой пузырек был запечатан. – Записки не оставила?

– Нет, не видел...

Пожилой поговорил по телефону и скомандовал напарнику:

– Пошли-пошли! Срочно...

Они переложили Любу на носилки и понесли к выходу.

– Вторая градская, – бросил пожилой санитар на ходу. – Приезжайте скорее, положение серьезное.

8. Решение на десяти листах

Письмо на бланке извещало, что комиссия по рассмотрению жалобы израильского гражданина Шимона Бен-Рахмани на действия сотрудника радиостанции Алекса Полина подходит к концу и решение будет объявлено тогда-то в кабинете начальника Советского отдела, куда Полину надлежит прибыть со своим адвокатом.

Адвокатом Алекс не обзавелся, так что он прибыл в назначенное время один. Это было ровно через три недели после отстранения его от работы.

У кабинета Джеймса Олстока его поджидал группа сочувствующих – те же Гагарин, Латски, Ева Арони, еще две-три пожилые дамы из хранительниц пирожковых традиций, а также несколько человек помоложе. Алекс где-то на периферии сознания с удовольствием отметил, что водораздел притяжений-отталкиваний, существующих в каждом социуме, проходит в их редакции не по этническому или религиозному признаку, а на основе естественных человеческих симпатий. Собравшиеся у кабинета сотрудники искренне сочувствовали ему, а были здесь люди, попавшие в Америку в разные годы и разными путями.

Едва Алекс появился, сотрудники окружили его плотным кольцом. Ева протиснулась вплотную и зашептала:

– Ну что? Тебе что-нибудь уже известно?

– Да нет, – ответил Алекс громко, чтоб все слышали. – Ничего пока не знаю. Надеюсь, скоро объявят.

– Мы тут пытались секретаршу расколотить, – подал голос Гагарин. – Ни слова, упорная такая.

– Послушайте, Алекс, что я вам скажу, – выступила из задних рядов Эльвира Теофиловна. – Я уверена, что вы напрасно волнуетесь. Руководство департамента заинтересовано отделаться от этой пренеприятнейшей истории и сохранить вас как ценного работника.

Но, видимо, не все разделяли ее оптимизм.

– В любом случае держи себя в руках, не наговори лишнего, – осторожно посоветовал Джо Латски.

Жора Гуляцев, беглый моряк, был настроен радикально:

– Да плевал ты, Сашок, на это начальство с высокого дуба! В случае чего – в суд пойдешь, там восстановят и еще с их взыщут за вынужденный прогул. Не бе, я точно говорю.

– В суд... – протянула Ева. – Где он деньги возьмет на адвоката? Знаешь, сколько они дерут...

– Никаких денег не нужно, – категорически возразил Жора. – По трудовым делам профсоюз дает своего адвоката. Бесплатно. Я точно говорю.

Но не пришлось Алексу Полину воспользоваться дружескими советами Джо: его никто не собирался выслушивать. Напротив, слушать должен был он.

Прежде всего Джеймс Олсток, убедился, что все приглашенные явились и заняли места. В число приглашенных не входили друзья Полина и просто любопытствующие, зато присутствовали два сотрудника отдела кадров, заместитель директора радиостанции, местный профсоюзный организатор и представитель израильского консульства.

Заключение комиссии было изложено на десяти листах, и чтение заняло около получаса. Джеймс Олсток читал подчеркнуто бесстрастным голосом, делая паузы для глотка воды. Содержание заключения вкратце сводилось к тому, что такого-то числа сотрудник русской редакции радиостанции «Голос Освобождения», государственный

служащий тринадцатой категории, занимающий должность редактора, Алекс М. Полин получил от начальника Советского отдела задание провести интервью с членом делегации, представляющей израильскую общественную организацию «Алия ми-Руссия», израильским гражданином Шимоном Бен-Рахмани. Прибыв в отель «Падишах» и встретившись с господином Рахмани, Алекс Полин признал в нем бывшего коллегу по работе в одном из московских издательств и начал упрекать его за какие-то поступки, совершенные господином Бен-Ами в период совместной работы в Советском Союзе и якобы несправедливые по отношению к нему, Полину. На это господин Бен-Рахмани резонно заметил, что встретился с Полиным для интервью, а не для выяснения личных отношений, и что интервью это имеет существенное политическое значение, о чем говорит тот факт, что данную израильскую делегацию принимали в Вашингтоне высокопоставленные члены правительства и американские конгрессмены. На это Алекс Полин заявил с вызовом, что ему «плевать на конгрессменов». Все более возбуждаясь, он обзывал господина Бен-Рахмани оскорбительными словами (по-русски) и угрожал опорочить его имя в Америке и в Израиле. Разговор принял характер общественного скандала. Прибывший к месту происшествия старший администратор отеля «Падишах» Хосе Рамирес пытался призвать Полина к порядку, но тот, возбуждаясь все более, бросил принадлежащий радиостанции магнитофон марки «Сони-5000» в лицо господина Бен-Рахмани, причинив ему телесные повреждения, относящиеся к разряду легких. По распоряжению старшего администратора Алекс Полин был насильственно выдворен из отеля.

Все эти факты подтверждаются показаниями потерпевшего Бен-Рахмани, старшего администратора отеля «Падишах» Хосе Рамироса, заключением судебно-медицинского эксперта города Нью-Йорка Кеннетом Чень Хо и не отрицаются показаниями самого Алекса Полина, который говорит, что совершил эти поступки против лица, подвергавшего его преследованиям в Советском Союзе.

Изучив факты, комиссия приходит к выводу, что поступок сотрудника русской редакции Алекса Полина подлежит решительному осуждению. Ситуация усугубляется тем, что поступок совершен государственным служащим правительства США в момент выполнения его официальных функций и направлен против представителя дружественной иностранной державы. Своими действиями Алекс Полин нанес ущерб престижу радиостанции «Голос Освобождения» и едва не привел к международным осложнениям. К тому же, не выполнив задания, он сорвал в тот день программу «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

Все это заставляет комиссию прийти к выводу, что Алекс Полин не обладает достаточным чувством ответственности, политическим мышлением и гражданским сознанием, необходимыми для работы в иностранном радиовещании.

В дополнение к заключению комиссии Джеймс Олсток огласил приказ директора радиостанции, которым Алекс Полин увольнялся с работы без всякой денежной компенсации за вынужденный трехнедельный прогул, и письмо с искренними извинениями господину Шимону Бен-Рахмани, организации «Алия ми-Руссия» и израильскому консулату в Нью-Йорке.

В полной тишине, при гробовом молчании присутствующих Полину были вручены под расписку копия заключения комиссии и копия приказа об увольнении.

9. «Очень страшно...»

На третий день пребывания Любы в больнице, Полин извлек из почтового ящика письмо на свое имя. Почерк на конверте был Любин. Неужели из больницы, как это может быть? Он поспешно вскрыл конверт, и неровные строчки запрыгали в его дрожащих руках:

«Мне сказали, что это верное средство, если проглотить весь пузырек. Сейчас я так и сделаю. Письмо я посылаю специально по почте, чтобы попало в руки тебе, больше никому. Пусть родители думают, что я не смогла сделать выбор, не смогла расстаться ни с тобой, ни с ними.

Так им будет какое-то утешение. Но ты должен знать, что причина не в этом, а в твоём предательстве. Ты предал нашу любовь, обманываешь меня долгое время, не думай, что я не замечаю. И сейчас, когда я пишу это письмо, ты у нее, а потом приходишь, как ни в чем не бывало, и врешь, врешь, врешь... Ты перестал быть тем человеком, которого я так любила, мне за тебя стыдно. Что я могу сделать? Устраивать скандалы я не умею, да и бесполезно. А как можно с таким человеком отправиться в неизвестность? Я тебе больше не верю. Я долго думала и решила, что лучше мне уйти. Безумно жалко Машеньку, но надеюсь на родителей, они вырастят. Ни в чем тебя не упрекаю. Сомневаюсь, что ты будешь счастлив с этой женщиной. Не знаю, как подписать. Всегда подписывалась "Твоя Любовь", а теперь?.. Не твоя? Не любовь? Вот и все. Очень страшно...»

Полин испугался – это была его первая реакция на Любину записку. На предсмертную Любину записку, ведь она верила, что очень скоро умрет... Он скомкал бумагу и бросил на стол. Значит, насчет Надьки она все знает... И может быть, уже давно. Откуда? Может, сама что-то почувствовала. А скорее кто-нибудь из редакции мог стукнуть, мало ли у Нади недоброжелателей...

Родителям Люба, похоже, рассказывать не собирается. Значит, в их глазах причиной по-прежнему будет предстоящий отъезд. Впрочем, и этой причины достаточно, и так они волком на него смотрят... В первую ночь, когда Люба была между жизнью и смертью и они четверо сидели возле ее палаты, Виктор улучил момент и с глазу на глаз сказал:

– Ты запомни: если она умрет, тебе не жить. Так и знай.

Саша оторопело посмотрел в его полные ненависти глаза.

– Чего смотришь? Не знаешь, что ты виноват? Ты и твой проклятый Израиль...

Саша отошел в сторону и остаток ночи старался не встречаться с ним взглядом.

Но что теперь будет между ним и Любой? Он не может не ехать, он уже всем сказал, что подает заявление на

эмиграцию, что собирает документы. На него уже смотрят, как на эмигранта.

Да, ситуация...

Он снял трубку и позвонил Наде на работу.

– Что случилось? – спросила она, услышав его встревоженный голос.

– Она все знает. Люба. Ну, насчет нас...

– Она сама тебе сказала?

– Ну, можно считать, да.

– И как реагирует?

– Плохо. Очень плохо.

Последовала долгая пауза. Может быть, Надя собиралась с мыслями, а может, ждала, когда сотрудница за соседним столом займется делами и перестанет прислушиваться. Потом заговорила очень тихим, но твердым голосом:

– Что я могу сказать? Поступай, как считаешь нужным. Я ничего не прошу и тем более не требую. Я не хочу быть виновной в развале твоей семьи. Мой совет: послушай свое сердце и поступай, как оно велит... Если ты решишь остаться с женой и дочкой, так тому и быть. Я это пойму. Если же... Ты знаешь: я готова ехать с тобой куда угодно.

Посещение больных разрешалось с двух часов, и к этому времени Полин был в палате. Люба занимала крайнюю койку. Это обстоятельство давало известное преимущество: подслушивающий сосед был только с одной стороны, поскольку с другой была стена.

Люба встретила его испытующим взглядом. Но выглядела она лучше, чем вчера. «Пошла на поправку», – отметил про себя Саша и поздоровался.

– Письмо мое получил? – спросила она в ответ.

– А Любаша сегодня молодцом, по коридору гуляла, – радостно сообщила бабуся с соседней койки. – Ей сейчас питание главное. Витамины, сметанку...

Полин и с ней поздоровался и придвинул стул к Любиной койке.

– Да, получил... Но все равно это не причина, чтобы... поступать, как ты поступила.

– Об этом ты судить не можешь, – отрезала Люба. – Но раз так получилось... раз уж я осталась жить, давай решать, что делать.

– Или клубнички свеженькой, – настаивала бабуся. – Только где ее нынче достанешь?

Саша через силу улыбнулся бабусе и еще ближе придвинулся к Любе.

– По-моему, мы могли бы наладить нашу жизнь, если бы уехали. Как и планировали.

– Я тогда еще не знала, когда согласилась с тобой ехать... Нет, Саша, я просто тебе больше не верю. Ты так гадко врал... Я теперь ничего не пойму, где правда, где вранье. Ты в самом деле пытался на работу устроиться или... ходил развлекаться – даже этого не знаю... Ты новый, незнакомый мне человек. И я не хочу с тобой жить.

Полин видел, как дрожали у нее губы.

– Сейчас ты обижена, рассержена. Сгоряча ты можешь принять неверное решение. Давай подождем несколько дней и опять поговорим.

– А ты что ж ей поесть не принес? Совсем ничего! – бабуся повысила голос. – Это не дело. Ты же ей муж.

Полин резко обернулся:

– Мамаша, дайте поговорить! Пожалуйста! У нас тут свой разговор, а вы каждую секунду... Право нехорошо...

– Да говори себе сколько хочешь, – обиделась бабуся. – Кто тебе запрещает? Я только говорю, что питание ей теперь требуется.

Полин наклонился к Любиному уху:

– Давай сохраним наш брак. Ради Маши, хотя бы. Уедем. Новые места, новая жизнь. Я обещаю тебе, что это не повторится... поверь мне, больше никогда...

– Ну да, – Люба горько усмехнулась. – Этой там не будет, так найдется другая. Я не верю в твои клятвы. Ты лжец. Давай лучше обсудим, как это сделать по возможности безболезненно для Маши.

Саша опустил голову, уткнулся лицом в ладони и некоторое время молчал. Потом заговорил с жаром:

– Но ведь бывает, что человек споткнется, оступится, упадет... что же он не может выправиться? Даже

государство прощает уголовников, а я все-таки не убил и не ограбил... Ну, получилось так... по слабости...

– Это я про тебя поняла: ты слабый человек, ты не выдерживаешь ни давления, ни искушения. И трусоват к тому же. Нет, Саша, я не хочу с тобой жить. Продолжать наш брак невозможно.

Они оба замолчали. Она прикрыла глаза, а Саша отвернулся к стене. Так прошло несколько томительных минут. Слышно было только бабкино недовольное ворчание.

Паузу прервала Люба:

– Давай кончать этот разговор. Я хочу от тебя одного: когда через два дня я вернусь из больницы домой, тебя там не должно быть. Совсем. Я найду, как объяснить Маше твое отсутствие. Квартира все равно моя, от моей работы, останется нам с Машей. Зато материальных претензий я предъявлять тебе не стану. Захочешь повидаться с Машей, я препятствовать не буду. Оформляй развод, раз тебе нужно ехать. Я все подпишу.

Она помолчала и добавила:

– Вот и все... Иди, мне нужно побыть одной.

Саша поднялся и не оглядываясь пошел к двери. Ему послышались позади сдержанные рыдания.

Раз так, то пусть так и будет, думал Полин в вагоне метро по дороге домой. По крайней мере, это ее инициатива, не он ушел из семьи, а жена его прогнала. Вот и все. Он ощутил вдруг непонятную легкость, почти что радость. Начинается новая жизнь с новой, любимой женщиной, в другой стране, среди других людей. А сорок лет – это вовсе не поздно...

В тот же вечер он собрал свои пожитки и перебрался к Надежде.

10. Жертва капиталистической системы

Жора Гуляцев оказался прав: профсоюз, действительно, выделил своего адвоката в помощь Алексею Полину. Первый разговор адвокат назначил Полину в Макдональдсе на Седьмой авеню, недалеко от вокзала Пенн Стейшн.

Навстречу Алексу из-за стола поднялся необъятных размеров человек со спутанной шевелюрой, плавно переходящей в бороду, и представился:

– Бен Хаймович. Зови меня просто Бен, я терпеть не могу эти «мистеры-шмистеры».

Он усадил Полина напротив себя за стол.

– Извини, у меня обед (было два часа дня), я буду есть, пока мы говорим.

Своим внешним видом и манерами Бен являл полный и законченный антипод лоценой фигуре американского адвоката. На столе перед ним выстроилась целая шеренга гамбургеров, которые он и поглощал один за одним на протяжении разговора, вытирая руки о линялую джинсовую куртку. «Где он находит одежду такого размера?» – мелькнуло в голове у Саши.

– Есть хочешь? Ну, как хочешь. В общем, я ознакомился с твоим делом. Что тебе сказать? Ситуация типична для сегодняшней американской жизни. Что происходит? Крупный капитал и Рейган, его ставленник, ведут тотальное наступление на права трудящихся. Насчет авиадиспетчеров ты знаешь, конечно. Это, только начало, а куда это движется, нетрудно догадаться. Ты оказался маленьким камушком под колесами огромной правительственной машины, тебя переедут, даже не заметив. Они тебе никогда не простят, что ты осмелился высказать свое мнение, несхожее с правительственным. Да еще по поводу сионизма – их верного прихлебателя. Я понимаю, как дико тебе это все видеть – ведь ты приехал из социалистической страны, где власть принадлежит трудящимся. – На этом месте Полин попытался что-то сказать, но был остановлен своим красноречивым адвокатом. – Знаю, ты хочешь услышать, что нам делать. Объясняю. Прежде всего, не нужно их бояться. В суде нужно прямо в морду им сказать, кто они есть, и потребовать конституционных свобод для трудящихся. То есть для тебя. Ты жертва капиталистической системы. Увидим, посмеют ли они отказать.

«А если посмеют?» – подумал Полин, но сказать вслух не решился. Вместо этого он спросил:

В деле есть потерпевший, некий Шимон Бен-Рахмани. Не должны ли мы в суде рассказать, что это за тип? Ведь, в конце концов, меня обвиняют в том, что я, вместо того чтобы взять у него интервью, дал ему по морде. Разве не интересно суду будет узнать, что в редакции, где я когда-то работал, он возглавлял кампанию по изгнанию евреев? Что я должен был почувствовать, увидев его в составе израильской делегации?

Хаймович покачал головой, развернул очередной гамбургер и сказал:

– Алекс, не будь таким наивным. Этот твой... как его?.. он же сионист. Неужели ты до сих пор не понял, что сионисты – худшие враги трудящихся масс? Вот он и изгонял с работы трудящихся евреев.

Довод этот произвел на Полина странное впечатление, как и вся беседа. Своим недоумением он поделился с Латски. Разговор был по телефону, на работе они больше не встречались.

*– Как его фамилия? Хаймович, ты сказал? Уж не сын ли Марвина Хаймовича? Его папаша-миллиардер на паях с Советским Союзом содержит американскую компартию. Так что твой Бен может позволить себе эти игры: они-то с папашей знают, что их денежкам ничего не угрожает: национализация банков в Америке случится не скоро... А сказать тебе, на чем старый Хаймович сделал свои миллиарды? На этих... как это по-русски? Такое смешное слово... По-английски *conduit*. В сороковых годах, в связи с возвращением из Европы наших доблестных вооруженных сил, эта продукция была в большом спросе. Он сообразил и открыл фабрику. На своих изделиях, говорят, печатал изображение серпа и молота...*

Но Полину было не смешно, его ничто не веселило. Адвокат не внушал ему доверия, но что делать? На другого не было денег, а задаром... будь доволен тем, что дают. Он с тревогой ожидал суда. И надо сказать, худшие его опасения подтвердились.

На заседании суда Бен рвал и метал. Он обличал крупный капитал и правительство Рейгана, поставивших себе целью отнять у трудящихся остатки их прав. Судья,

молодая негритянка, смотрела на Бена расширенными глазами, но прервать его не решалась, дабы самой не выглядеть ставленником крупного капитала. В заключение своей речи Бен потребовал восстановить Алекса Полина на работе, оплатить ему вынужденный прогул и сверх того выплатить компенсацию за нервный стресс и переживания в сумме шестисот тысяч долларов. Как адвокат исчислил эту сумму, почему страдания Полина оценивались в шестисот тысяч, а не больше, не меньше – осталось невыясненным. Судье это было безразлично, поскольку она категорически отказала Полину в восстановлении на работе, а увольнение его нашла законным по причине грубого нарушения трудовой дисциплины, нанесения им ущерба репутации работодателя, срыва радиопрограммы и еще чего-то, что отсутствовало даже в приказе об увольнении.

После суда Бен поймал Полина в коридоре и призывал его не падать духом и обжаловать решение. Алекс еле отделался от своего защитника. Он не хотел больше трепать нервы и выступать в роли жертвы капиталистической системы. А кроме того, он-то понимал, что на самом деле виноват...

И снова Полин оказался безработным. Только утешать его и подбадривать должна была не Любовь, а Надежда... Но Надя сама очень скоро впала в мрачное настроение.

Первые десять недель Полин имел право на пособие по безработице; этого хватало, чтобы платить по ссуде за дом и оставалось на ежедневную жизнь, так сказать, без излишеств. Но десять недель прошли до странности быстро...

На что Полин мог рассчитывать? До поступления на «Голос Освобождения», когда они только прибыли в Америку, он около года проработал на складе электронной аппаратуры. Сначала сортировал детали, потом паковал готовую продукцию, потом его повысили: он сидел в конторе и выписывал наряды.

В то время Полины снимали крошечную однокомнатную квартирку, Надя была на последних

месяцах беременности и сидела дома. Но вот что поразительно: того, что он тогда зарабатывал, каким-то образом хватало... Правда, когда родился Алекс-младший, за родильный дом заплатил штат, а коляску со всем младенческим приданым подарил хозяин предприятия, где Полин работал. Однако если бы он пошел на такую работу сейчас, они бы могли свести концы с концами: одна ссуда за дом проглатывает около двух тысяч в месяц, а еще бесконечные ремонты их старенького «Форда». Да и жить они привыкли свободно, не так, как тогда...

А какая работа могла принести Полину сколько-нибудь приличную зарплату? Пойти в одну из местных русских газет или на радио? Тоже деньги мизерные, да и попасть трудно – столько понаехало пишущей братии. Куда же податься? Как прокормить семью, как сберечь дом? Ведь попробуй пропустить месячную плату – банк тут как тут... Можно, конечно, сделать то, что делают очень многие эмигранты: пойти на курсы программистов. Но кто будет кормить семью, пока учишься на этих самых курсах? И потом: менять профессию в сорок семь лет, осваивать всю эту заумь, к которой нет ни малейшей склонности...

Для Полина настали унылые дни. С утра он уезжал в город, ходил по редакциям русских газет и радиостанций, получал от них иногда какие-то задания. Днем встречался с кем-нибудь из бывших сослуживцев, за едой в закусочной обсуждал свои дела и выслушивал редакционные новости. Потом ехал домой, гулял с сыном, по заданию Нади ездил в супермаркет. (Надежда все никак не могла сдать экзамен на водительские права). Вечером писал статейки для русских газет, и на следующее утро все повторялось.

И вот однажды во время встречи в *Manhattan Bagel Cafe* Ева Арони сказала:

– Я тут слышала... может, ты заинтересуешься. Есть один человек, у него бизнес – русскими книгами торгует. Так он ищет помощника, который бы разбирался в этом деле... ну, в русских книгах. Тебе бы это могло подойти, мне кажется. Где я записала его телефон? А вот... Зовут его Исаак, и его номер...

Полин послушно записал номер. Подходил к концу шестой месяц его безработного состояния. Пособие сколько можно продлевали, но, в конце концов, оно кончилось, статейки в русских газетах приносили гроши, скромные сбережения быстро истощались, финансовый крах приближался... Но еще хуже было то, что Полин постепенно терял надежду. Будущее ему виделось как некая черная дыра космического масштаба. Он продолжал еще автоматически искать работу, звонить по объявлениям, ходить по редакциям, но за всем этим он ощущал приближение к черной дыре...

Нечто похожее чувствовала и Надя. Она ходила по дому мрачная, нечесаная, но в отличие от мужа, не подавленная, а раздраженная. Ей казалось, что Саша не достаточно активен, что было отчасти правдой.

– Ну не получается с этими газетами и радиостанциями, – говорила она ему, – так пойди куда-нибудь на простую физическую работу, лишь бы приносила деньги на жизнь. Развози пиццу, коси траву... мало ли что. А ты киснешь, как баба... Мне это безденежье уже во... Свои московские тряпки ношу семилетней давности. Я сама бы работать пошла, но с кем ребенка оставить? На няньку истратишь больше, чем зарабатываешь.

В такой вот ситуации, ни на что особенно не надеясь, Полин позвонил этому самому Исааку. Назвал себя, объяснил, по какому поводу звонит. Исаак отреагировал неожиданно:

– Как вы сказали? Полин? Саша Полин? Так мы с вами знакомы, вместе работали когда-то. Я Исаак Вайнштейн, помните?

Еще бы. Саша помнил и Вайнштейна, и их последний разговор в метро на станции «Библиотека им. Ленина» по заданию Ромуальдыча... то есть господина Бен-Рахмани. Что Саша сказал тогда Вайнштейну? Что-то вроде того, что здесь его страна, и он никуда не уедет. Да...

– Извините, – сказал Полин и замолчал, не зная что делать дальше: положить трубку или продолжать разговор.

– Вот так неожиданность, – проговорил Исаак Вайнштейн. – Но я слышал, что вы работаете на «Голосе»?

– Работал... А вот теперь ищу...

– Ну хорошо. Вы человек сведущий в книжных делах, я знаю. Давайте потолкуем. Когда можете ко мне приехать? Мой офис в Бруклине.

На следующий день с утра Полин поехал в Бруклин. Исаак Вайнштейн встретил его на пороге своего офиса, который вернее было бы называть складом. Он арендовал брошенный жилой дом, каких было немало в этом районе.

– Здесь у меня на сегодня около семнадцати тысяч томов. – Он водил Полину по комнатам дома, как по музейным залам. – Полки я сам соорудил – доски и кирпич; не особенно красиво, зато дешево и надежно. Здесь словари, справочная литература, информатика. Там дальше художественная литература, в основном, детективы. Что делать? Подстраиваюсь под вкусы потребителя. Но есть и настоящая литература. Вот здесь, на нижних полках, русская классика, еще дальше – поэзия. Вот историческая литература, там – популярные книги по здравоохранению... Помните, у нас в издательстве ими занималась Надежда Кружко?

Саша смутился:

– Это моя жена... сейчас.

– Да что вы? – не очень удивился Вайнштейн. – Поклон от меня. В общем, сами видите: товар есть, продавать нужно. И все время добирать, обновлять фонд. Сейчас в связи с этой их перестройкой там открываются огромные возможности. Только поспевай. Рассылаем книги по почте, а принимаем заказы по интернету и по почте. Хорошо бы и по телефону, но тогда много времени придется проводить в офисе. Учтите, рынок здесь расширяется: ведь теперь эмигрируют из России не только евреи...

– Я был уверен, что вы живете в Израиле.

– Мы там жили год, но вот пришлось переехать. – Вайнштейн явно не хотел продолжать эту тему.

– Да нет, я только думал, что религиозные евреи... их религиозный долг...

– У евреев есть лишь один религиозный долг: учить и исполнять Тору. А это можно делать где угодно, хоть в Антарктиде, – решительно сказал Вайништейн. – Так что вы скажете по поводу участия в моем бизнесе?

Этот несколько суховатый человек вызывал доверие. Саша поведал ему свою историю изгнания с радиостанции, и в конце откровенно сказал:

– Положение отчаянное. Не знаю, как прокормить семью, чем платить за дом...

Вайништейн почесал под ермолкой голову и вздохнул:

– Да, понимаю. Вам нужна работа с приличной оплатой – и немедленно.

– Именно, – уныло согласился Саша.

– Честно говоря, я имел в виду другое, когда позвал вас сюда. Мне нужен партнер, а не служащий. Разницу понимаете? Партнер – такой же собственник этого бизнеса, как и я, поэтому зарплату не получает, а делит со мной доход. Конечно, при условии, что он вложит в бизнес какие-то деньги. На эти деньги мы могли бы закупить новые книги, здесь кое-что оборудовать. Но у вас, как я вижу... Да, положение...

Он надолго замолчал, что-то, видимо, подсчитывая в уме. Полин молча ждал его решения, понуро опустив голову.

– Значит так, – сказал Вайништейн наконец, – партнер из вас не получится. Но и оставить вас в таком положении нельзя. Попробую платить вам зарплату. Небольшую, гораздо меньшую, чем вам платили на радио, но все же... Туго, но прожить можно.

И он назвал сумму, которую Полин не получил бы ни на сортировке электронных деталей, ни на доставке пиццы, ни в штате русской газеты.

– Согласны? Работать придется много, предупреждаю, очень много. Экспедитор у меня есть, книги по почте отправляет, но принимать и оформлять заказы придется вам. И других всяких дел полно. До недавнего

времени мне жена помогала, а сейчас она рождает, надолго выйдет из бизнеса...

– Это четвертый? – Полин вспомнил редакционное шушуканье насчет семейной жизни Вайништейна.

– Пятый. Слава Богу, пятый.

Всегда серьезное лицо Вайништейна помягчало и расплылось в широкой улыбке.

11. Книга как товар

Все было так, как обещал Вайништейн: невероятно много работы и скромная, но стабильная зарплата. Приезжал Полин в офис в девять утра (причем дорога занимала около полутора часов) и крутился там до семи-восьми вечера.

Надо сказать, что и сам Вайништейн вкалывал вместе с ним и даже больше: он еще работал по воскресеньям. Зато в пятницу он уходил домой сразу после полудня и в субботу магазин всегда был закрыт.

Уставал Полин на работе зверски, но все же работа была не противная: русские книги, его профессия и хобби. С Вайништейном они ладили, хотя разница мировоззрений и темпераментов иногда давали о себе знать.

Однажды Вайништейн сказал Полину:

– Вчера у меня была любопытная встреча. Один человек хочет вступить к нам в бизнес партнером. Некто Хаймович.

– Бен?

– Нет, Марвин. Старый еврей, приехал в Америку ребенком лет семьдесят назад из «Гродно губерния». Говорит по-русски. Правда, довольно смешно.

– Он коммунист, и сын его тоже. Этот Марвин, мне рассказывали, содержит на свои деньги американскую компартию.

– Я так и подозревал... Мне он предложил вложить в мой бизнес деньги с условием: я буду продавать коммунистическую литературу на русском языке. Сочинения Ленина, «Капитал» Маркса и прочее такое...

– Надеюсь, вы послали его к той самой матери... Он же понимает по-русски.

– Почему? С какой стати? Пусть себе пылятся в дальней комнате, есть они не просят. Кто их будет покупать, кому нужны сегодня Вовка-морковка и Маркс? Сегодня по Европе бродят совсем другие призраки... Смотрите на книги трезво, без идеологической предвзятости: книги – это товар, наш бизнес. А деньги он готов вложить приличные. Мы на них в России столько книг купим... И здесь расширимся, второй этаж отремонтируем под офис, еще один компьютер заведем. Каталог будем печатать систематически. Нет, я не собираюсь отказывать товарищу мистеру Хаймовичу.

Полин картинно развел руками:

– Ваше дело, вы хозяин. Только я бы не стал. Что вы – забыли коммунистов? Попадете к нему в зависимость, он себя покажет. Потребует убрать с полки Солженицына, заменить его сочинениями Брежнева.

– Но ведь я тоже не простофиля, я такой контракт составлю, что он у нас не покомандует.

Контракт, видимо, был составлен и деньги вложены. Начался ремонт второго этажа, появился еще один компьютер, и была нанята секретарша принимать заказы по телефону. Дело явно разворачивалось.

Прошло несколько месяцев. Однажды под вечер Вайнштейн позвал Полина к своему столу (они уже сидели на втором этаже) и сказал:

– В России сейчас тьма новых книг выходит, самое время закупать. Но на расстоянии трудно ориентироваться, нужно быть там, на месте, говорить непосредственно с издателями. Я ехать никак не могу: здесь каждый день что-то решать приходится, и жену не могу оставить с новорожденным. В общем, я просил бы вас поехать в Россию. Недели на две – осмотреться, установить контакты, купить, что сочтете нужным. Что скажете?

У Саши чуть сердце не выскочило. В Россию? Кто бы мог предположить? Ведь уезжали навсегда... Прошло семь лет, и вот... в Россию!

Вечером он преподнес эту новость Наде. Она отреагировала спокойно: в Россию, так в Россию. Почему не съездить?

– Маму мою навестишь, она там совсем обнищала.

Надина жизнь сильно изменилась с тех пор, как она получила водительские права. Она больше не сидела взаперти, а с самого утра, отправив Сашу на работу (он ездил в Бруклин на поезде и метро), усаживала Алекса Младшего в автомобильное детское кресло и уезжала в город. Возвращалась к вечеру, к приходу мужа. Готовила наспех какую-нибудь еду, укладывала сына спать, а через час-другой и сама отправлялась в постель.

Что она делала в городе целыми днями? Главной ее страстью стали «трифты», Thrift-shops – магазины поддержанных вещей, где действительно можно купить что-то хорошее по очень низкой цене. Она изучила, наверное, все «трифты» на Манхэттене. Иногда поздним вечером, когда Саша клевал носом перед телевизором, она вдруг появлялась в комнате в новом наряде, делала перед ним несколько па и спрашивала:

– Как? Ничего? Шесть долларов...

Надин гардероб разросся до небывалых размеров. В тех же «трифтах» несколько раз ей удавалось купить за гроши какое-нибудь украшение, или фарфоровую чашку, или вазочку, которые затем она перепродавала по более дорогой цене антикварным магазинам. Серьезных денег это, конечно, принести не могло, но двадцатка-тридцатка глядишь и прибудет. Ее собственные, кровные... И тратила она их в тех же «трифтах».

Еще она стала захаживать в редакцию «Голоса Освобождения», повидать «наших».

Хоть поговорить с кем-нибудь, а то целыми днями одна и одна, – объясняла она Саше.

Работой его она была недовольна:

– Что это за деньги? Ты вкалываешь, как папа Карло, а что он тебе платит? Только-только чтобы не сдохнуть. От него дождешься, знаю я его...

К предстоящей поездке Саши отнеслась положительно. Но сама не проявляла ни малейшего

желания съездить в Москву, хотя там оставались мама и сестра.

12. Нью-Йорк – Москва – Нью-Йорк

...Об этом моменте Саша думал непрерывно с того самого дня, как согласился ехать в командировку в Москву. Да, встреча с прошлым, с местами, где прошло детство и молодость, и все такое... И люди тоже: за семь лет отсутствия не могли же все его забыть. Но самое главное, что владело всеми его мыслями, что первым пришло ему в голову, когда услышал о поездке в Россию, о чем он думал, засыпая и просыпаясь во время перелета Нью-Йорк – Москва, что не оставляло его ни на минуту, когда под хмурым октябрьским небом он ходил по сырым московским улицам, была Маша, дочка, образ которой никогда не уходил из его памяти, а теперь поднялся на поверхность, вышел на первый план. Худенькая бледная девочка с постоянным насморком, волосы завязаны синими ленточками, острые лопатки под слишком короткой курточкой... Какой она стала? Девятнадцать лет – это взрослая женщина! Что она знает о своем отце, как относится к нему? Может, не захочет даже разговаривать...

Конечно, он помнил номер своего московского телефона, и по вечерам в гостинице мучился, раздираемый сомнениями: позвонить? Не стоит? Скорей всего они живут все там же, откуда у них возьмется новая квартира? Хотя могли съехаться с Любиными родителями. Тогда новые жильцы (ведь в России телефон остается вместе с квартирой) тогда новые жильцы скажут, где их искать. Но скорей всего, они все еще живут по прежнему адресу. Трубку снимет, допустим, сама Маша. Что он скажет? «Маша, это твой папа». А она в ответ «Не знаю никакого папы» и бросит трубку... А если Люба подойдет, что сказать тогда? Так он сидел в номере, часами глядя на белый телефонный аппарат, а потом вставал и выходил на улицу, гулял по знакомым местам, и думал, думал, думал...

...Или может быть, прямо явиться к ним в квартиру? Все же выгнать человека из дома труднее, чем бросить трубку... Но тут приходит такая мысль: он заявляется в

квартиру, а там Любин новый муж. Ведь могла же она выйти замуж, ей всего тридцать два было, когда они расстались.

А между тем деловая цель его командировки осуществлялась вполне успешно. Он связался с несколькими издательствами и торговыми фирмами, которые в ту пору появлялись, как грибы после дождя. В России явно происходил книжный бум, при том что интеллигенты сокрушались, дескать, сократились тиражи серьезных книг и растут тиражи детективов. Но легко можно было увидеть, что в огромном числе выходит все то, на что семьдесят лет был наложен цензурный запрет – романы, биографии политических деятелей, воспоминания художников и артистов – и это жадно поглощается. У Полина глаза разбегались – так все бы и скупил. Его сдерживал Вайнштейн, с которым он чуть ли ни ежедневно говорил по телефону, но и он приходил в трепет, когда слышал имена таких авторов, как Мейерхольд, Колчак или Троцкий.

В одном недавно возникшем издательстве произошла неожиданная встреча. Он зашел без предварительного звонка, просто оказался рядом, и попросил вежливую секретаршу спросить главу издательства, не сможет ли принять. И подал свою визитную карточку торгового представителя фирмы New York – Moscow Books Trade. Через секунду из кабинета раздался крик: «Саша! Полин! Заходите!».

За столом сидел Стукалов, бывший заместитель главного редактора, с которым они проработали много лет. У Нади был когда-то с ним скандальный роман, это тоже Полин помнил...

– Вот так неожиданность! – Стукалов вышел из-за стола и двинулся навстречу Полину с раскрытыми объятиями. – Столько лет ни слуха, ни духа, и вдруг собственной персоной... Ну как вы там, за океаном?

Они сели в кресла в углу кабинета, секретарша подала им душистый чай, какого Саша ни разу не пил за семь лет в Америке, и они наперебой стали задавать друг другу вопросы. Издательство Стукалова только

разворачивалось, но перспективы, считал он, были отличные.

– Сейчас особый интерес к мемуарной литературе, – говорил он, солидно держа чашку на весу. – От дневников Геббельса до застольных бесед Фаины Раневской – все раскупается. Детективы, конечно, тоже и всякие сентиментальные романы, особенно переводные. Боюсь только, как бы бумага не подорожала, а так огромные дела можно делать. Ну, и люди, конечно, нужны подходящие, с этим у меня запинка, честно говоря...

– Как это? В Москве нет книжных людей? – удивился Саша.

– Полно, все время пороги обивают. Но незнакомого с улицы брать страшновато, а из знакомых... Помните нашу главную редакторшу?

– Товарищ-Парамонову?

Стукалов вздохнул:

– Попробовал с ней работать, ничего не вышло. Не вписывается в новую жизнь. Сейчас у меня работает Подпыхин. Помните? Между нами говоря, я не очень доволен. Он старается, но что-то... Культуры не хватает, литературный вкус примитивен.

И вдруг просияв улыбкой:

– Вот если бы вы пошли ко мне...

– Я? Помилуйте, я живу в Нью-Йорке. О чем можно разговаривать?

– Это я на всякий случай. Некоторые ведь возвращаются...

В этот же день решил столь мучительный для Саши вопрос насчет контакта с дочкой. Придя вечером в гостиницу, он как всегда осведомился в регистратуре, нет ли для него каких-либо сообщений.

– Вас тут спрашивали, – сказала дежурная, – девушка какая-то. Вон та, вон...

Полин обернулся. За его спиной стояла хорошенькая темноволосая девушка и пристально смотрела на него.

– Вы Александр Миронович Полин? Я... я Маша.

В таких ситуациях у людей случаются инфаркты. Полин сжал дочку в объятиях и громко, безудержно

зарыдал. Маша гладила его по волосам и пыталась успокоить.

– Ну что ты, папа, что ты...

Публика поглядывала на эту сцену с нескромным любопытством.

– Давай поднимемся в номер, – сказал Полин, вытирая слезы с бороды.

– Ты шутишь! Меня не пропустят, женщине нельзя в номер к мужчине.

– Ханжи чертовы, – буркнул Полин. – Давай тогда здесь посидим, я в себя приду. А потом решим, куда идти. Вон там, там посветлее, я хочу тебя разглядеть.

Они сели в кресла посередине мраморного вестибюля и некоторое время молча разглядывали друг друга.

– Я знаю, как ты выглядишь, – сказала Маша, – я твою фотографию в мамином столе нашла, разглядывала потихоньку. Только там ты без бороды.

– А ты красивая получилась.

Маша засмеялась и покраснела:

–С твоей стороны так говорить нескромно, ведь я похожа на тебя. Все говорят.

– Кто – все?

– Мама, бабушка, даже дядя Виктор, когда разозлится на меня.

– Все живы? Расскажи про всех. Нет, про себя сначала.

– Что про себя? Учусь на первом курсе медицинского. Такую немодную профессию выбрала. Но посмотрим... Мама в бизнесе, дела у нее идут.

– Не замужем?

– Нет, пока нет. Бабушка побаливает, особенно с тех пор, как дедушка умер. А он как раз не болел, а просто... ну, не мог пережить того, что в стране происходит. Горбачева ненавидел, а еще больше – Ельцина. От огорчения умер... хотя с медицинской точки зрения это нонсенс... Кто еще? У Виктора не ладится, в штат индела не попал, назначения за границу не получил. В общем, пробавляется переводами с английского.

– Как вы живете материально?

– Хорошо. Особенно по сравнению с большинством... Мама в частном бизнесе, они нефть куда-то вывозят. Она ведь геолог, нефть – ее специальность. Зарабатывает хорошо, бабушке и Виктору помогает, без нее они просто бы не выжили. Про себя расскажи. Ты женат?

Значит, она про Надежду ничего не знает... Значит, Люба не сказала... Он не сразу ответил, потрясенный этим открытием.

– Да, у меня семья. У тебя семилетний брат в Америке. Алекс-младший.

– Твоя жена американка? Вы говорите между собой по-английски?

– Русская. И Алекс говорит по-русски. Пока что. На будущий год пойдет в школу, тогда уж наверняка перейдет на английский. Кстати, как ты узнала, что я в Москве?

– А маме кто-то из ваших общих знакомых сказал: «Знаешь, Сашка Полин в Москве». Мама интереса не проявила, а я вот стала звонить по издательствам и нашла. Ты мой папа, и всегда будешь папа...

Идти в ресторан Маша отказалась, заспешила домой. Они условились встретиться через день здесь, в вестибюле, и вместе пообедать. Саша предложил отвезти ее домой на такси, но она отказалась.

– В часы пик до Речного вокзала... Я на метро доеду втрое быстрее.

Он проводил Машу до станции метро и, прощаясь, задал томивший его вопрос:

– Как ты думаешь, Люба захочет встретиться со мной?

– Не знаю, – она отвела взгляд в сторону. – Я не совсем ее понимаю. Наверное, она чувствует себя плохо, что разрушила тогда семью, не поехала с тобой, предпочла родителей мужу. Я ее не осуждаю, но...

В Нью-Йорке была ясная осенняя погода. В аэропорту Сашу встречал Вайнштейн – не из сентиментальности, а потому что Саша тащил с собой кучу книг. Исаак был доволен результатами Сашиной поездки.

Нади дома не оказалась, они с мальчиком, видимо, уехали в город, но и претензий к ней не могло быть: Саша не сообщил часа прилета. Она, возможно, ждет его позже. Позже к вечеру, когда зазвонил телефон, он схватил трубку с уверенностью, что это Надя, но услышал мужской голос:

– Привет Алекс, с благополучным возвращением. Это Гагарин. Здесь вот Надя с сыном, я их сейчас привезу к вам домой. Повидаемся, поговорим.

И он повесил трубку.

Что-то было непонятное в этом звонке. Почему говорила не сама Надя? И потом... что значит «я их привезу»? Полин сбегал вниз по лестнице и заглянул в гараж. «Фордик» стоял на месте. На чем же Надя уехала в город?

Они появились примерно через час. Маленький Алекс подбежал к отцу, а Надя и Гагарин продолжали стоять в дверях. Лица у них были какие-то странные: без улыбки, как будто смущенные и в то же время недовольные. Саша хотел обнять Надю, но она повернулась боком, вроде бы отстранилась, а Игорь сказал:

– Нам нужно поговорить. Втроем.

Они не садились, продолжали стоять.

– Разговор, предупреждаю, неприятный. В общем, чтобы не тянуть резину, скажу сразу: мы с Надеждой любим друг друга и хотим жить вместе. Надя, скажи ты.

– Саша, не сердись, так получилось. Я не хочу причинять тебе боль, но сердцу не прикажешь, ты это сам испытал. – Надя через силу подняла на него глаза. В глазах было смущение, больше ничего. – Ты хороший человек, и давай расстанемся по-хорошему. С сыном будешь общаться, сколько хочешь, и вообще... постараемся сохранить добрые отношения.

«Вот оно, возмездие, – пронеслось у него в голове. – За Любу, за дочку... за все». Вслух он ничего не сказал.

– Я понимаю: ты ошельмован такой новостью, – заговорил снова Игорь. – Но решать, собственно, ничего не надо. Ваши материальные отношения выглядят очень просто: Надя с сыном переезжают ко мне, в мою квартиру, а этот дом с имуществом и машиной остается тебе.

Разумеется, ты обязан выплатить Наде половину стоимости дома, частями или как... Об этом можно договориться. Теперь, насчет сына. Тебе предлагается такой выбор: или ты платишь алименты до восемнадцати лет, или отказываешься от родительских прав, и я его усыновляю. Он будет моим сыном и будет носить мое имя.

– Князь Гагарин? – спросил Саша, приходя в себя. – Он ведь по отцу еврей.

– Не беда, у Гагариных это уже бывало... – невозмутимо парировал Игорь. – Я не прошу тебя давать сейчас все ответы. Подумай, и поговорим еще. А сейчас, Надюша, бери ребенка и поехали домой.

Тут только Полин вспомнил, что в спальне не видел ее личных вещей...

13. Тикун олам

Должно было пройти некоторое время, пока Алекс Полин осознал всю глубину потери. Ни жены, ни сына – один...

Внешне жизнь его мало изменилась: он все так же вставал в семь утра, наспех завтракал и отправлялся на работу в Бруклин. Там под водительством Вайништейна вкалывал весь день, вечером в темноте возвращался к себе в Нью-Джерси, в пустой дом, потерявший сразу свой уют, тепло и привлекательность. Он наспех съедал какой-нибудь ужин из полуфабрикатов и ложился спать.

И это было самое неприятное, потому что горькие мысли заставляли его полусонного врасплох, и жалили особенно глубоко. В полусне он уличал неверную жену и вероломного друга в коварстве и вспоминал о благородстве Любы, выгораживающей его перед дочкой. Но его внутренний обличитель припоминал ему, как он обманывал жену, изоциренно и долго, как довел ее до самоубийства и бросил с ребенком.

Что влекло его так неудержимо к Надьке? Ну, честно! Назови это, наконец, своим именем: похоть. Обыкновенная мужская похоть – низкая примитивная... и всеильная, как сама биологическая жизнь... Захваченный этой страстью, он потерял всякую способность здраво

рассуждать, не говоря уже о моральных устоях. Горькие мысли одолевали его, и чтобы избавиться от них, он переворачивался на другой бок, впадал в забытие, и тогда в полудреме появлялись яркие видения: он видел Надьку и Игора, как она извивается в пароксизме похоти, охает и визжит, кусая его за ухо, и спазмы животной страсти подбрасывают ее тело. Он слышал ее голос, ощущал ее запах, чувствовал ее прикосновения...

В семь утра он вставал, наспех завтракал, и день повторялся сначала...

Разговаривать ему было не с кем, его бывшие сослуживцы перестали ему звонить, а сам он не решался напомнить о себе, мучительно стесняясь своего положения брошенного мужа. Впрочем, они тоже, рассуждал он, наверное, опасаются своим появлением разбередить его рану.

И вот однажды, одурев от одиночества, он заговорил о своих делах с Вайништейном, который ни словом не давал понять, в курсе ли он Сашиных дел.

– Вы, знаете, – сказал Полин как можно непринужденнее, – я с женой расстался.

– Я слышал об этом. Но никаких подробностей не знаю. – И спохватившись: – Я не расспрашиваю вас, не поймите так, что я хочу узнать подробности.

– Да какие там подробности, история обычна до пошлости. Влюбилась в моего приятеля, друга дома, так сказать, и ушла к нему, прихватив сына. Вот и все подробности...

Вайништейн переминался с ноги на ногу, не зная что сделать: продолжать разговор или уйти. Он стоял с папкой возле Сашиного стола, куда подошел на секунду для уточнения данных. Было восемь часов вечера, рабочий день кончался.

– Пожалуйста, посидите со мной несколько минут. Я хочу рассказать вам...

Исаак сел на соседний стул, и Полин, сам того не ожидавший, стал подробно рассказывать ему всю свою историю: все-все подряд, от женитьбы на Любе до ухода

Нади. Вайништейн слушал внимательно, слегка кивая головой в знак понимания.

– Как буду жить без семьи? Чем дальше, тем труднее... Исаак, позвольте вас спросить. Вот вы человек религиозной морали, что бы вы сделали на моем месте?

Вайништейн почесал голову сквозь ермолку, протер зачем-то очки и снова надел их.

– Как вам объяснить? – начал он. – Прежде всего, человек религиозной морали не может попасть в такое положение.

– Ну а если все же так случилось? Допустим, человек стал религиозным, уже, когда это произошло. Что ему делать?

– Я не раввин, я простой человек, который пытается рассуждать в меру своих знаний... Я думаю, вам бы следовало вернуться к Любе и умолять ее о прощении.

– Я не уверен, что люблю ее, – в Сашином голосе послышалась растерянность.

– Вот! это как раз и лежит в основе ваших заблуждений. Не имеет никакого значения, есть ли в ваших чувствах то, что вы именуете любовью. Не поймите так, что я против любви. Я только говорю, что любовь не есть то, что вы думаете. Сейчас вы, естественно, спросите, что же такое любовь. Вкратце так: любовь – священное чувство, данное людям Свыше, но любовь священна только тогда и постольку, поскольку соответствует Божественным законам. Это значит, любовь направлена на создание семьи и выполнение касающихся этого института заповедей Торы. И прежде всего заповеди «плодитесь и размножайтесь». Именно в таком контексте наша религия признает правомерными половое влечение и страсть: не как самоцель, а как средство. Супруги, понимающие, что они вместе не для забавы, а для выполнения Божественных заповедей, – такие супруги относятся друг к другу иначе, ведут себя в семье иначе. – Исаак неожиданно улыбнулся: – Что, напугал я вас?

Саша поерзал на стуле:

– Сразу это понять трудно. Тем более, принять. Что я скажу Любе?

– Важнее, что вы скажете себе. Если вы убедитесь, что обязаны вернуться к Любе, вы найдете, что ей сказать.

– Но почему к ней? Как это вытекает из сказанного?

– Потому что ей вы причинили зло, которое нужно по возможности исправить.

– Замолить?

Вайништейн отрицательно замотал головой:

– Этого не достаточно. Бог не даст вам прощения, пока вы не загладили свою вину перед обиженным вами человеком, в этом особенность еврейской морали и ее отличие. В иудаизме нельзя просто покаяться и за это быть прощенным. Согрешивший обязан совершить конкретные действия, чтобы изгладить из Вселенной последствия своего греха. Это вытекает из концепции Тикун Олам.

Но и без всякой концепции Саша чувствовал, что кроме дочки и бывшей жены, у него никого в мире не осталось...

14. В Россию с любовью

– В том-то и дело, что все главное оказывается там: преданная дочка, – для убедительности Полин загибал пальцы, – великодушная женщина, которая была хорошей женой, интересная престижная работа, школьные друзья... Я уже не говорю о родном языке, культуре, в которой вырос, любимом городе, где прошла вся жизнь... Все самое дорогое, самое любимое там. От чего я уехал? От коммунизма и от антисемитизма. Больше нет ни того, ни другого... ну, на государственном уровне, по крайней мере. Понимаешь? Я не ругаю Америку, я благодарен и хорошо к ней отношусь. То, что мне здесь не повезло, – это моя личная проблема, я это понимаю. Так у меня сложилось. Что теперь делать?

Саша остановился, внимательно посмотрел на Джо. Тот вздохнул и отвел глаза. Они стояли в густой толпе на Восьмой авеню, недалеко от 34-й улицы. Толпа

валила в Мэдисон Сквер Гарден, где в восемь часов начинался какой-то матч.

– Давай отойдем в сторонку, здесь невозможно разговаривать, – предложил Джо. И когда они нашли более спокойное место у магазинной витрины, сказал: – Ты говоришь со мной, как будто оправдываешься: извини, что я подумываю о возвращении в Россию. Это неправильно со всех точек зрения. Мы, американцы, выросли на идее, что каждый живет там, где ему лучше. На протяжении всей нашей истории люди валом валили в Америку. Почему? Потому что здесь им лучше. Ты думаешь, что тебе сейчас лучше будет жить в России, так езжай туда – это нормально, логично. Я не признаю иррациональную привязанность к стране, где тебе плохо. Поэтому я хорошо понимал советских евреев и участвовал в движении за их право на эмиграцию. В скольких я демонстрациях мерз и жарился у здания ООН, у советского консульства, у Аэрофлота... Но вот ты пришел к выводу, что в России тебе будет лучше. Кто имеет право тебя отговаривать? Или осуждать?

В общем, это был ответ, которого Саша и ждал от Джо Латски, когда просил встретиться с ним хоть на минутку после работы. До этого он так же накоротке поговорил с Евой Арони. Но тот разговор был совсем другим.

– После всего, что там с нами было? После всех этих издевок, унижений, насмешек... Обрати к анекдотам про Абрама и Саррочку? Тебя давно не называли жидовской мордой или маланцем? Не понимаю тебя. Миллионы людей рвутся в Америку, а ты вдруг в обратном направлении... Лучше подумай, как устроить свою жизнь здесь, а не убегай. Попробуй уговорить дочь, чтобы переехала. Разве в Америке нет медицинского института?

– Пробовал, – безнадежно махнул рукой Саша. – От мамы и бабушки, говорит, не уеду.

– А что касается жены... – Ева тонко улыбнулась. – Видишь ли, я думаю, что понимаю женщин лучше, чем ты. Люба тебя никогда не простит, а Надька... прошу прощения, я хочу сказать княгиня Гагарина... погуляет-

погуляет и может еще вернуться. Сдается мне, из Игоря мужа не получится: он заскорузлый холостяк. Ты гораздо лучший муж, к тому же отец ее ребенка. Мы, женищины, такие... Сама была замужем два раза как минимум.

Ева посмотрела на него внимательно:

– А вообще, ты решение уже принял, я это чувствую. Просто ты хочешь, чтобы кто-то сказал тебе, что ты прав. Тогда зря ты спрашиваешь меня, поговори лучше с Джо. Он деликатен, как все американцы, и не станет тебя отговаривать. На мой взгляд, ты делаешь глупость: евреям в России не место.

После встречи с Джо Саша почувствовал, что хватит собирать мнения, пора что-то решать. И действовать.

Некоторое время назад он подал прошение в российское посольство о восстановлении российского гражданства. И вот спустя какой-то срок, уплатив некоторую сумму долларов, гражданство он получил. Но это еще не был решительный, бесповоротный шаг, он еще не прошел, как говорят американцы, точку, за которой нет возврата. Следующим шагом была продажа дома. И опять же: дом нужно было продавать так или иначе, чтобы отдать Наде половину его стоимости. Такого требования закона. Дом был выставлен на продажу, нанят агент по продаже недвижимости, и через месяц, примерно, нашелся покупатель.

И тогда встал простой вопрос: где жить, когда дом будет продан? Половина денег за дом достанется ему – по его расчетам, где-то тысяч десять, после того как банк возьмет свое и Надя свое. Конечно, он сможет на какое-то время, до отъезда, снимать квартиру в городе. Хотя на Манхэттене безумно дорого... Можно в Бруклине, поближе к работе.

В этот период его хлопот Полину неожиданно позвонила одна из бывших сотрудниц Эльвира Теофиловна. Он был очень тронут, когда она сказала:

– Я знаю, Александр, что вы дом продали, в Россию уезжаете. Если вам негде жить, пожалуйста, вы можете остановиться у меня в квартире, в Гринвич-Вилладже.

Тесновато, но комнату я вам выделю. А мой преклонный возраст, надеюсь, оградит нас от нежелательных пересудов... Я должна сказать, что восхищаюсь вашим поступком. Мы всегда считали, что находимся вне России временно, до окончания большевистских беспорядков. А теперь все русские люди должны вернуться на Родину. Как жаль, что я по возрасту и болезням не могу следовать вашему примеру!

Вайништейн тоже во всем шел навстречу. Он установил для Полина гибкое расписание дня, отпускал с работы, когда тому нужно было оформлять продажу дома или расторжение брака, позволял звонить Маше в Москву по служебному телефону. Полин как-то снова заговорил с ним о своем отъезде в Россию, и Вайништейн дал понять, что с его точки зрения возвращение может быть оправдано только одним: стремлением загладить вину перед женой и дочкой.

Он же, Исаак Вайништейн, отвез Полина в аэропорт, а пока Саша сдавал багаж, появились Ева и Джо. Они оба были в хорошем настроении, Ева непрерывно смеялась, ее продолговатые темные глаза просто сияли.

– Жаль, что ты не задержался месяца на три хотя бы, – сказал Джо. – На свадьбе бы гулял.

– На чьей свадьбе? – не сообразил Саша.

Ева прыснула:

– На нашей. Мы с Джо женимся.

– А ты уезжаешь, – добавил Джо.

– Ребята... – слова застряли у Саши в горле – От всей души... Вы будете счастливы, я уверен.

Он обнял их сразу вдвоем. Как это он не заметил, что у них роман? Наверное, недавно началось, уже после его увольнения.

– Мы решили не делать big splash, – сказала Ева. – Скромненько, у кого-нибудь в частном доме. Устроим хулу с ребе, прием человек на пятьдесят, танцы обязательно. Может, приедешь?

Перед самым контролем Ева взяла Полина за руку, отвела в сторону и, прервав смех, сказала всерьез:

– Мне жутко неудобно. Помнишь, я тебе натрепалась, что дважды была замужем?

– Дважды как минимум – так ты сказала.

– Ну, это ерунда. Сейчас, на самом деле, в первый раз. И надеюсь – в последний. В тридцать четыре года – в первый раз. Даже как-то неудобно... Я не утверждаю, что до сих пор девственница, но замужем не была.

– Вступать в брак никогда не поздно, но всегда рано. Так говаривал князь Гагарин. И доказал это на деле.

Ева помрачнела.

– Ты зол на него? Скажи правду.

– Больше на нее... Но какое это имеет теперь значение?

Ева посмотрела внимательно в его исхудавшее, угасшее лицо. На ее глазах выступили слезы. Она порывисто обняла Сашу и шепнула:

– Прости нас с Джо. Я понимаю, каково тебе, а мы тут... Правду говорят: счастье эгоистично.

И Саша Полин улетел в Россию.

На московских улицах все еще лежал снег, прохожие месили ботинками ледяные лужи, наземный транспорт работал скверно, но Полин ничего этого не замечал. Он снял номер в дешевой гостинице в районе Выставки. На самое короткое время, надеялся он, пока подыщет постоянное жилище. Он активно смотрел объявления о сдаче квартир, но цены были такие... подстать Манхэттену. Правда, в одном из последних телефонных разговоров Маша намекала, что-де в крайнем случае она и мама могут перебраться к бабушке, а он поживет временно в их квартире. Однако к этому варианту он решил прибегнуть уж действительно, в крайнем случае.

Прежде всего начать работать, поскольку привезенных денег явно надолго не хватит. И здесь Полина постигло первое разочарование. Стукалов принял его любезно, но в работе отказал.

– Я же не знал, что вы приедете, – оправдывался он, жестикулируя чашкой чая. – Вы так решительно отказались в тот раз. Я недавно взял человека и прогнать его не могу. Да и не хочу: он хорошо работает, знает дело.

Позвольте, вы же с ним прекрасно знакомы: Леня Фридман. Из нашей редакции, помните?

Да, он помнил Фридмана. «Второй раз перебегает мне дорогу», – подумал Саша, имея в виду Ленкин роман с Надей Кружко. Впрочем, на Леню он не сердился.

Получив отказ у Стукалова, Саша занялся восстановлением старых знакомств. Как правило, это были люди, через которых он однажды, еще до эмиграции, пытался устроиться на работу. Но тогда его не брали как... ну, известно по какой причине. Теперь же не стало тех начальников, тех отделов кадров, тех партторгов, которые гнали Полина, и его «данные» больше недостатком не считались. Но устроиться на работу легче тоже не стало, потому что почти не осталось тех учреждений, куда он пытался тогда поступить, а те, что остались, владели жалкое существование. Коммерческие же «структуры» (вошло в моду это слово, причем в неправильном значении) людей со стороны почти не брали. Бизнес требует личного доверия, объясняли Саши. Но все же эта ситуация в принципе отличалось от той, советской, коммунистической, и Саша продолжал поиски.

С дочкой он поддерживал связь, в основном, по телефону, причем звонила она – во избежание случайного контакта с Любой. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Маша заговорила сама о его жилищных делах. В это время он снимал комнату в пятиэтажке в Коньково-Деревлево.

– Я поговорю с мамой насчет временного переселения к бабушке, чтоб тебе пока пожить в нашей квартире. В конце концов, тогда, до отъезда в Америку, ты имел право на эту жилплощадь, но все отдал нам с мамой. Так что было бы справедливо, если бы теперь мы с мамой помогли тебе. На какое-то время, пока начнешь работать и сможешь снять что-нибудь получше. Верно?

Целыми днями Полин бегал в поисках работы, а по вечерам одиноко сидел в пятиэтажке в этом самом Коньково-Деревлево. Хорошо еще, что был телефон.

Полин попытался разыскать старых школьных друзей. Когда-то в старших классах он близко дружил с

тремя одноклассниками. Они проводили вместе много времени, и как обычно в таких случаях их называли мушкетерами: Бодров, Хвостов, Сыркин и он, Саша Полин. Очень разные по характеру ребята, из очень непохожих семей, они были по-настоящему дружны, и свой союз сохранили и после окончания школы. Саша помнил, что они провожали его в Шереметьеве, но за все семь лет в Америке не слышал о них ни слова.

Удивительно устроена наша память: то что запомнил в детстве, помнишь всю жизнь. Саша вспомнил телефоны школьных друзей, хотя не мог вспомнить своего недавнего служебного телефона на радиостанции или у Вайнштейна в офисе...

С третьей попытки дозвонился до Бодрова. Флегматичный Бодров даже не удивился его появлению. Монотонным голосом без интонаций он рассказал, что Хвостов умер два года назад от цирроза печени.

– Пил по-черному, – пояснил Бодров. – А Сыркин давным-давно в Израиле. Уехал – будто в воду канул. Так что мы с тобой двое остались. Давай встретимся, вспомним друзей.

Но встречаться не хотелось, не хотелось выслушивать печальные истории и рассказывать свои...

А тут еще куда-то запропастилась Маша, его единственная связь с жизнью. Несколько дней не звонила. И он решился позвонить сам, чего обычно избегал.

Ответил голос, который он сразу узнал. Сердце подпрыгнуло и заколотилось.

– Люба, это я, Саша.

Он замолчал, не в силах продолжать. Люба тоже молчала. Наконец, он проговорил:

– Я Маше звоню. Можно поговорить с Машей?

– Нет, нельзя, – звенящим голосом ответила Люба.

– Маша не может подойти к телефону.

– Как это? Нет дома, что ли?

– Она не хочет с тобой говорить. Почему? А потому что я рассказала ей правду. Я выгораживала тебя все эти годы, говорила, что ты не виноват, что это я не решилась ехать. Но теперь мне все это вышло боком. –

Люба говорила возбужденно, со слезами в голосе. – Из-за квартиры. Она стала меня упрекать, что я не соглашаюсь переехать к маме и дать тебе пожить в нашей квартире. Ты, говорит она мне, перед нами виновата, ты разрушила семью, меня оставила без отца, а теперь не хочешь пойти ему навстречу. Я не выдержала и рассказала правду. Все-все, как было. И про эту Надю Кружко, и про... и про снотворное... Даже свое письмо показала. Ты его тогда скомкал и выкинул, а я подобрала. Конечно, она была потрясена. Сутки плакала, в институт не ходила. Он, говорит, второй раз обманул – на этот раз меня. Притворяется, говорит, что это мама виновата. То есть я. А я больше не могу брать все на себя, я так дочку потеряю... В общем, забудь нас, как ты забыл тогда, и больше не звони.

И Люба повесила трубку.

Полин долго сидел возле телефона, глядя перед собой невидящим взглядом. Стемнело, но он не включал свет, продолжал сидеть в темноте. Потом медленно оделся и вышел на улицу.

Ярко светила луна, но грязный весенний снег не переливался волшебным светом. Унылые ряды пятиэтажек тянулись, казалось, до самого горизонта. Полин постоял, потоптался на месте, и побрел по ледяным лужам вдоль улицы. Сам не зная, куда...

15. Из России с надеждой

Несмотря на ранний час, в просторном зале Шереметьево было оживленно. Молодоженов Полиных пришла провожать довольно пестрая компания. Надина мама, скромная пожилая женщина в черной вязаной кофте, стояла в сторонке и тихо плакала.

– Мам, ты что? – подходила к ней время от времени Надя.

– Дык ведь когда теперь увидимся?..

– Не плакать, а радоваться надо, – говорила ей старшая дочка, Надина сестра, и добавляла шепотом: – В Америке будет жить. В Америке...

Ее муж «кадровик» тоже пришел. Он заблаговременно получил на это разрешение начальства, но все равно чувствовал себя, как говорят французы, не в своей тарелке. Он никак не мог решить, должен ли на прощанье обнять свояченицу, или достаточно будет помахать рукой. Полина он старался вообще не замечать.

Из редакционных сотрудников пришел всего один человек – Ленья Фридман. С неизменной веселостью он говорил:

– Ведь все равно неизвестно, за что они тебя прихватят. Я вот боялся сюда идти, а потом вспомнил, что дома у меня самиздатовский Джилас. Откуда знать, к чему они придерутся скорее?..

Говорил он громко, бравируя своей смелостью, которую некоторые понимали иначе. Уж не провокация ли под видом легкомыслия...

Неожиданно пришли три Сашиных школьных товарища: Бодров, Хвостов и Сыркин. Длинный мрачноватый Бодров все время хмурился и молчал, коренастый крепыш Сыркин был возбужден и повторял одну и ту же фразу: «Ты, Сашка, молодец. Завидую твоей смелости». Третий друг, очкарик Хвостов, сказал, обращаясь почему-то к «кадровику»:

– Да-с, разъезжаются евреи, факт. Идет процесс...

«Кадровик» испуганно посмотрел на него и спрятался за спину жены.

Когда пассажиров, улетающих рейсом на Вену, пригласили на посадку, Хвостов неожиданно извлек из висевшей на плече сумки бутылку шампанского и стал раздавать всем присутствующим пластмассовые стаканчики, банки из-под майонеза, керамические кружки.

– Что за проводы без тостов? – приговаривал он.

– Посошок, посошок на дорогу! – охотно загудела компания. Посуды хватило на всех.

Пробка вылетела с громким хлопком, тепловатое вино наполнило убогие бокалы, и Хвостов сказал:

– Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни; время находить, и время терять... Уезжают евреи из России, это факт. Если этот процесс

экстраполировать на двадцать лет, то все! – кончатся евреи в России, как кончились мамонты и селедка иваси. Ни одного не останется. Кому-то это нравится, а мне лично жалко. Как так – без евреев? Это значит ни Райкина, ни Ильфа, ни Раневской, ни Жванецкого... Даже Мааса и Червинского не будет. Это же скучно, господа! А где выход, я спрашиваю. А выхода нет, потому что это – исход... Дело не нашего ума и не нашей воли. Так что выпьем, друзья, за отъезжающих и пожелаем им всяческой радости в их новой жизни.

Никто ничего не понял, но все охотно выпили за отъезжающих.

– Раз уж исход, пусть уезжают, – высказался молчавший дотоле Бодров. – Но что обидно – лучших наших женщин увозят, самых красивых.

И под общий смех полез обниматься с Надей. Все остальные тоже пошли с ней обниматься, даже «кадровик».

Пассажиров вторично, более настойчиво, пригласили на посадку, и Полин заторопился. Еще раз наскоро обнял каждого и почти уже ступил за символическую границу, как к нему подошел «кадровик» и, не глядя в глаза, сказал:

– Хорошо вам, евреям. А ж зависть берет...

Полины прошли контроль и успели издали помахать провожавшим. Когда они расположились рядом в глубоких креслах и самолет медленно покати по бетону, Надя шепнула мужу на ухо:

– Кажется, не сон. Сбылось... До последней минуты не верила. Спасибо тебе, спасибо.

Она с чувством поцеловала его в щеку. И опять на ухо:

– У меня новость. Я беременна. Десять недель примерно.

Он вскрикнул, схватил ее руку и стал целовать.

– Милая! Милая!

А когда самолет побежал на взлет, Полин, задыхаясь от волнения, сказал:

– Все будет хорошо, я уверен. Надежда со мной!



Семен Резник

Роман века

**Давид Гай. Среди круговращения земного...
История одной семьи. М.: Знак, 2009. 752 с.**



Роман века? Не слишком ли комплиментарен заголовок рецензии? Думаю, что нет. Хотя бы потому, что это не оценка, а только констатация факта.

Когда Давид Гай рассказывал мне о замысле этого широкого эпического полотна, я отнесся к нему с известной долей скептицизма. Не слишком ли широк замах? Охватить важнейшие мировые события целого столетия, провести через них десятки героев – как тут не сбиться на скороговорку!

Автору удалось этого избежать. Хронологические рамки повествования превышают сто лет, но время в романе – это не непрерывный плавный поток. Оно дискретно, импульсивно, движется молниеносными взрывными бросками, и не обязательно только вперед, но часто назад.

Персонаж, от чьего лица ведется рассказ – в нем угадывается сам автор, его даже зовут Давидом, – нельзя считать главным героем романа. Будем называть его героем-рассказчиком. В книге вообще нет главного героя: персонажей много, они приходят и уходят, уступая место другим, которые позднее тоже уходят в небытие. Разворачивается широкая панорама жизни трех поколений одной разветвленной семьи. Герои вовлечены в круговорот крупнейших исторических событий, которые в основном и определяют их судьбы.

Повествование начинается в июле 1980 года.

Преуспевающий московский журналист Давид Гольдфеде́р, победив на конкурсе, премирован творческой командировкой. Он отправляется в маленькое, забытое Богом и людьми приднестровское местечко Рыбница, неподалеку от Кишинева, где когда-то жили его предки.

Затем повествование переносится в апрель 1903 года, в город Кишинев. Юные герои этого повествования Рувим Гольдфеде́р, его друг Яков Левит и сестра Якова Эстер оказываются в горниле печально-знаменитого еврейского погрома. Они чудом избегают смерти, но случившееся становится определяющим фактором их дальнейшей судьбы.

Они не хотят оставаться в стране, где возможны такие зверства, и через несколько лет, преодолевая множество препятствий, уезжают в Америку. Рувим, как можно было ожидать (но при совершенно неожиданных обстоятельствах), женится на Эстер, становясь родоначальником американской ветви семьи Гольдфеде́ров.

Автор очень ярко описывает и нелегкий, полный опасных приключений путь в Америку, и жесткие условия выживания в бурлящем Нью-Йорке 1910-20 годов. Повествование ширится, в нем появляются новые персонажи. Один из ведущих героев, Яков Левит (брат Эстер), в погоне за легкими деньгами, связывается с преступным миром и попадает в тюрьму на восемь лет, где происходит процесс его нравственного и религиозного перерождения. Его босс гибнет в бандитских разборках. А старший сын Рувима и Эстер Наум, увлекшись утопическими идеями, уезжает в Советский Союз строить социализм. Некоторое время работает на инновещании, рассказывая угнетенным трудящимся Запада о счастливой жизни народа в Стране Советов. Но едва он начинает избавляться от иллюзий, как его настигает *карающая рука*. Он гибнет в застенке НКВД. Его младший брат Велвел становится офицером американской армии.

Не менее трудно, хотя и совсем по-другому складываются судьбы тех, кто остался в России. Их втягивает круговорот революции, анархии, гражданской войны, кровавых чисток периода «строительства социализма

в одной отдельно взятой стране». Иосиф Гольдфедер – младший брат Рувима, отец героя-рассказчика, как и его племянник Наум, тоже попадает в мясорубку ГУЛАГа, но ему удается чудом выскользнуть из нее в период «малого реабилитанса», когда партия «исправляла перегибы» ежовщины. Потом он воюет «за родину, за Сталина» на фронтах Второй мировой. И в то же самое время на Западном фронте, в составе американской армии, воюет с нацистами его племянник Велвел. Его теща (бабушка героя-рассказчика, она же бабушка американца Велвела), оставшаяся в Рыбнице, оккупированной германорумынскими войсками, гибнет вместе со всеми обитателями еврейского гетто, созданного и затем ликвидированного нацистами.

Рассказчик, по всем внешним данным преуспевающий московский журналист, в начале 1990-х, то есть уже из постсоветской России, тоже уезжает в Америку. Здесь ему удастся разыскать и установить контакт со своим двоюродным племянником Роном Гольдфедером, внуком Рувима и Эстер. С его помощью он по крохам восстанавливает историю американской ветви большой семьи, не стесняясь дополнять воображением неизбежные пробелы в фактическом материале. Особую достоверность роману придает обмен письмами между Роном и Давидом, вкрапленными в ткань повествования.

Нет смысла, да и невозможно пересказать содержание этого многопланового, почти энциклопедического повествования, доведенного автором до наших дней. Действие стремительно перемещается не только во времени, но и в пространстве. Из Москвы оно переносится в Рыбницу, из Кишинева в Нью-Йорк, из Одессы в Шанхай, из американской тюрьмы в советскую, из подмосковного поселка Раменское в Пентагон.

Постепенно, на глазах читателя, отмирает, отсыхает российская ветвь рода Гольдфедеров. И постепенно же расцветает и наливается соками американская. Не знаю, ставил ли автор перед собой такую сверхзадачу, или так получилось само собой: ведь хотя в романе, как во всяком художественном произведении, многое дорисовано

авторским воображением, но в основу положены реальная судьба одной большой (его собственной!) семьи, повторившей судьбы тысяч, десятков тысяч таких же еврейских семей.

Россия все ближе подходит к черте, когда можно будет сказать, что она *свободна от евреев*. Кто-то этого ждет с вожаделенной радостью, кто-то с досадой и горечью. Автор не выносит оценок, он только рассказывает о своих героях.

Эпилог романа символичен. Он датирован 27 июня 2009 года. Дата проставлена с педантичной точностью. Между тем, если обратиться к выходным данным книги, то можно узнать, что она была подписана в печать 11 марта 2009 года; окончена, стало быть, еще раньше. То есть действие в эпилоге происходит примерно через полгода после того, как автором была поставлена последняя точка. Здесь описано то, чего еще *не* произошло. Герой-рассказчик, без малого двадцать лет проживший в Америке, приезжает в свое родное подмосковное Раменское, идет на кладбище, откапывает из могилы своих родителей урну с их прахом и перевозит ее в Штаты, чтобы перезахоронить в Калифорнии, где уже куплена земля для него самого и его потомков. Эпилог прописан с особой тщательностью, насыщен достоверными реалиями, так что ни на миг не покидает иллюзия, будто все это происходит в действительности. Таков впечатляющий символ, венчающий это повествование. Такова неосуществленная, но, видимо, очень желанная мечта автора.



Об авторах



Мирон Амусья – профессор теоретической физики,
Иерусалим



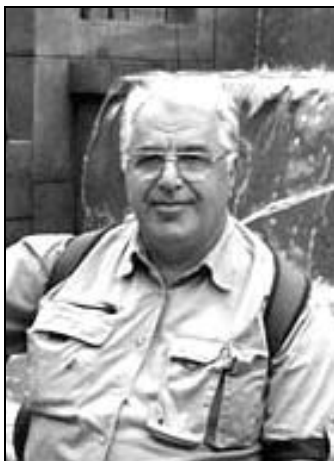
Марк Перельман – профессор теоретической физики,
Иерусалим



Александр Избицер – пианист, литератор, режиссёр
музыкального театра



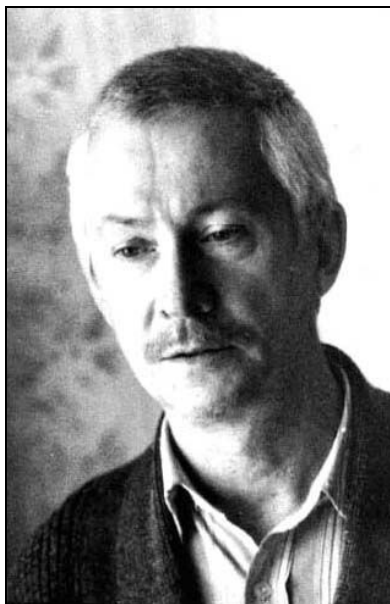
Йегуда Векслер – Музыковед, переводчик. Автор
нескольких книг. В Израиле с 1979 г.



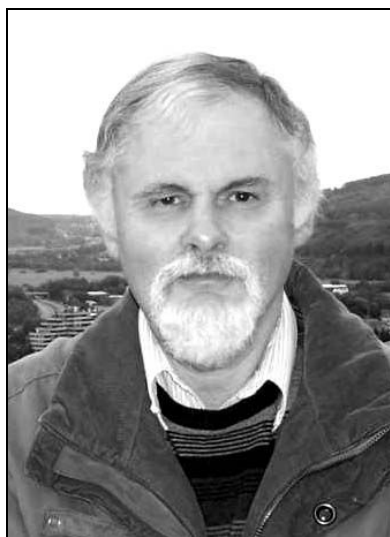
Валерий Койфман – лектор и автор статей на темы искусства, экскурсовод по городам, музеям и выставкам



Люсьен Фикс – переводчик, журналист, радиокомментатор.
Автор книги «В эфире "Голос Америки"»



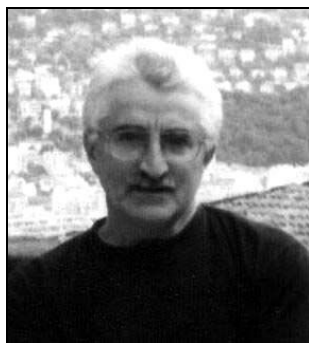
Иванченко Игорь – Автор одиннадцати художественных книг. Член Союза российских писателей



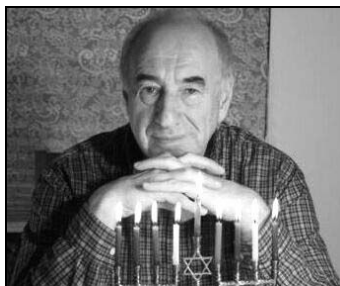
Александр Гордон – профессор физики, автор книги «Еврейские вариации» и научных статей, рассказов и стихов



Владимир Ляховицкий – артист эстрады, партнёр Аркадия Райкина, скончался в 2002 году в городе Регенсбург



Исай Шпицер – член СПЛ, автор сборников стихов «Прозрение» «Не подводя итоги...»



Борис Кушнер – профессор математики Питтсбургского университета, поэт, публицист



Серж Хазанов – поэт, писатель, автор книг, написанных по-французски, участник международных книжных ярмарок



Елена Мазур-Матусевич – автор книги «Золотой век французской мистики», выставяющийся художник



Владимир Матлин – автор пяти сборников рассказов и повестей, опубликованных в Америке и России



Семен Резник – писатель, историк, журналист. С 1982 года живет в США

Журнал «Семь искусств», Январь 2010
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2009, 367 стр. 13,09 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины